ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК

1975



Сергей Ефимович Малов

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК 1975



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1978

4
Т 98

Сборник, посвященный памяти выдающегося советского тюрколога С. Е. Малова, содержит широкую подборку статей по различным проблемам тюркологии. Некоторые статьи подготовлены на базе докладов на Тюркологической конференции в Ленинграде (июнь 1975 г.), другие написаны специально для данного сборника.

Т $\frac{70100\text{-}051}{013(02)\text{-}78}$ 164-77

Памяти
Сергея Ефимовича
Малова
посвящается

...Уважение к памяти и заслугам отошедших в вечность деятелей... является необходимым исполнением нашего культурного долга и дает, кроме того, повод продвинуть вперед начатые, но далеко не законченные их дела.

А. Н. Самойлович

СОДЕРЖАНИЕ

И. В. Кормушин, Д. М. Насилов

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ С. Е. МАЛОВА

Выдающийся русский тюрколог член-корреспондент Академии наук СССР Сергей Ефимович Малов, столетие со дня рождения которого скоро отметит научная общественность, оставил по себе добрую славу труженика. Неторопливо, размеренно жил и работал Сергей Ефимович, но результатом его почти полувековой деятельности явились более десятка объемистых книг, более сотни статей. Ныне, обращаясь к обширному наследию С. Е., мы без труда видим две основные линии его научного творчества: изучение древнетюркских памятников и исследование современных тюркских языков, причем главным образом языков Центральной Азии.

С. Е. родился 16 января 1880 г. в Казани в семье профессора Казанской духовной академии, получившего почетное звание протоиерея, Евфимия Александровича Малова. Отец рано начал приобщать его к тюркологическим занятиям, видимо мечтая подготовить себе преемника на занимаемую им кафедру татарского языка, этнографии татар и «истории среди них христианского просвещения». С 5-го класса духовной семинарии (т. е., очевидно, с 1898 г.) С. Е. начинает изучать татарский язык, продолжая заниматься им и в высшем духовном учебном заведении — Духовной академии, в которой он учился в 1900—1904 гг. В последние два года учебы в академии С. Е. в приватном порядке посещал лекции проф. Н. Ф. Катанова в университете, вместе с отцом регулярно бывал на заседаниях Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Во время летних каникул 1903 г. С. Е. совершил поездку для изучения языка и этнографии татар в Свияжский уезд Казанской губернии и в Чистопольский уезд — для изучения наречия мишарей.

Интерес к занятиям тюркскими языками приводит С. Е. в число студентов арабско-персидско-турецко-татарского разряда

факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета. Здесь ему посчастливилось заниматься в семинарах и слушать лекции П. М. Мелиоранского, В. Д. Смирнова, В. В. Бартольда. В Петербурге в годы учения в университете произошла и главная встреча, определившая всю дальнейшую научную судьбу и жизнь С. Е. Малова,— встреча с акад. В. В. Радловым. Действительно, под влиянием и при непосредственном участии этого ученого формировался интерес С. Е. к языку древнейших тюркских памятников, а также к мало изученным в то время тюркским языкам Восточного Туркестана и Центральной Азии. Начав заниматься под руководством В. В. Радлова еще в студенческие годы, С. Е. и после окончания университета много работал вместе со своим учителем, постоянно имел его поддержку в своей научной работе.

Летом 1908 г., когда С. Е. был на предпоследнем курсе университета, Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях командировал его в Томскую губернию с целью исследовать язык шорцев и других тюркских народностей Алтая. Это «предварительное испытание», как его определял сам С. Е., он с честью выдержал, о чем свидетельствует опубликованный отчет.

В 1909 г. С. Е. кончает университет, и В. В. Радлов решает полностью привлечь его к научной работе. В протокол заседания Историко-филологического отделения Академии наук от 22 апреля 1909 г. занесено: «Акад. В. Радлов, считая весьма полезным приобщить к занятиям в тюркском отделе Музея антропологии и этнографии... стипендиата Министерства народного просвещения, кандидата богословия, прослушавшего курс наук востфака СПб ун-та, С. Е. Малова, просил Отделение возбудить ходатайство о причислении г. Малова к Министерству народного просвещения, с откомандированием его для занятий в Музее антропологии и этнографии».

По всей вероятности, именно этот год следует считать началом тесного научного сотрудничества двух ученых-тюркологов, которое продолжалось почти десять лет и которому С. Е. оставался верен на протяжении многих лет своей научной деятельности.

В 1909—1911 гг. по предложению В. В. Радлова и при поддержке того же Русского комитета С. Е. едет в Центральный и Северо-Западный Китай для изучения языка и быта тюркских племен, проживающих там. Эта поездка оказалась плодотворной не только в плане изучения живых тюркских языков: С. Е. удалось собрать богатый этнографический материал, а также приобрести ценные памятники тюркской письменности, и среди них рукопись буддийской сутры «Золотой блеск». В 1913 г.

Русский комитет постановил вновь командировать С. Е. в Северо-Западный Китай «главным образом для продолжения лингвистических его работ в области изучения турецких наречий, но также для собирания сведений о быте населения и о памятниках древности». Второе путешествие к уйгурам С. Е. предпринял в 1913—1915 гг.

Будучи далеко от дома, С. Е. постоянно поддерживал связь с В. В. Радловым, сообщая о своих успехах, затруднениях, прося совета, поддержки. И он никогда не обманывался в своих ожиданиях. Письма С. Е. к В. В. Радлову примечательны и тем, что они освещают его повседневную работу в полевых условиях. Он подробно описывает свои маршруты, распорядок рабочего дня, условия жизни. Так, в письме от 14 января 1910 г. из Сучжоу С. Е. пишет, чем он занимался в последнее время: это и записи текстов, и собирание этнографических материалов; в письме говорится также о его контактах с местными жителями и местным начальством.

Особенно важно письмо от 14 мая 1910 г., в котором сообщается о находке 3 мая 1910 г. рукописей в селении Вуншигу около Сучжоу. Как указывает С. Е., В. В. Радлов назвал его собрание рукописей «драгоценной находкой».

24 ноября 1910 г. С. Е. пишет В. В. Радлову из Лянхуасы, что он «читает рукописи и много понимает, но лексика современного уйгурского языка для них мало дает, а вот фонетика этого языка немного поможет в деле транскрипции древнеуйгурских (и орхонских) памятников письменности». В письме от 3 января 1915 г. из Яркенда он пишет, что найдена «небольшая коллекция из Турфана уйгурских рукописей и ксилографов». В Хотане он еще приобрел коллекцию на брахми.

Находясь в Восточном Туркестане, С. Е. поддерживал связи и с другими учеными, в частности с С. Ф. Ольденбургом, который сам работал в туркестанских экспедициях. Эти связи особенно оживились во время второго путешествия С. Е.

Сразу после возвращения из путешествий в 1911 и в 1915 гг. С. Е. Малов привлекается В. В. Радловым к работе над изданием текста уникального древнеуйгурского памятника — сутры «Золотой блеск» («Алтун јаруk»), список которого, относящийся к XVII в., С. Е. доставил из поездки 1909—1911 гг.

Грамматические формы и лексика этого списка позволяют предположить, что перевод сутры был сделан до времени монгольского нашествия и, следовательно, рукопись «Золотого блеска» стоит в ряду древнетюркских памятников VII—XIII вв., среди которых она, благодаря своему объему (235 л.), занимает исключительное место.

О совместной издательской работе двух ученых известно следующее. В. В. Радлов скопировал весь текст рукописи «Зо-

лотого блеска» и расписал все слова на карточки. При дешифровке текста особое значение имела помощь Ф. И. Щербатского, В. Л. Котвича, А. И. Иванова и Б. Б. Барадийна, которые помогали идентифицировать санскритскую, монгольскую, китайскую и тибетскую версии пятой и частично второй книг сутры Suvarṇaprabhāsa. Копия текста, а впоследствии и типографский набор ее неоднократно сверялись с оригиналом-рукописью. «Мы,— писал В. В. Радлов,— после приезда С. Е. Малова из Средней Азии, еще раз совместно и отдельно тщательно сравнивали печатный текст с рукописью и отметили самые незначительные неточности. Если читатель исправит по сему списку печатный текст, то он будет иметь перед собою точную копию рукописи». Издание сутры осуществлялось с ноября 1913 по июнь 1917 г. После отъезда С. Е. во вторую экспедицию корректуру держал, начиная с третьей книги (с 11-й стр. текста), сам В. В. Радлов. Когда С. Е. вернулся и после «испытания на магистра турецкой словесности (1916 г.) отправился на службу в Казанский университет», он также принимал участие в чтении корректур. Об этом можно судить по его письму к В. В. Радлову от 17 января 1917 г. из Казани, где он сообщает, что живет у отца, приводит в порядок материалы по новоуйгурскому языку и ждет корректуры «Золотого блеска». Большую работу проделал С. Е. по составлению «Списка исправлений орфографических неточностей, пропусков, лишних слов, опечаток и ошибок рукописи», приложенного к изданию. Сначала С. Е. давал опечатки в транскрипции с указанием страницы и строки. Все это проверял В. В. Радлов, о чем свидетельствуют его поправки, приписки и пометы на полях рабочей тетради С. Е. Исправленный текст направлялся в типографию.

Так в результате кропотливой, скрупулезной работы двух ученых — учителя и ученика — появился исключительно полный и точный текст одного из крупнейших древнеуйгурских памятников.

В 1930 г. под наблюдением и с предисловием С. Е. увидела свет часть немецкого перевода «Золотого блеска», выполненная В. В. Радловым еще в 1912—1915 гг.

В 1928 г. С. Е. издал книгу В. В. Радлова «Памятники уйгурского языка», которую снабдил своим предисловием и словарем к текстам. С. Е. внес также необходимые исправления и добавления в чтение и перевод текстов, дал свое чтение текстов из Азиатского музея, для которых В. В. Радловым были сделаны только переводы. В том, что была опубликована книга, начавшая печататься еще в 1904 г., несомненная заслуга С. Е., для которого продолжение и завершение дела, начатого В. В. Радловым, было высоким долгом.

По-видимому, многолетняя деятельность С. Е. по изучению и изданию древнетюркских памятников была во многом предопределена многолетней совместной работой с В. В. Радловым над изданием памятников письменности.

Изданная в 1926 г. в Ташкенте стеклографическим способом небольшая брошюра — пособие «Образцы древнетурецкой письменности», куда С. Е. были включены отрывки из древнетюркских текстов, явилась как бы прообразом позднейшего известного каждому тюркологу издания «Памятники древнетюркской письменности».

В 1929 г. выходит статья С. Е., в которой он предлагает свое чтение первого и четвертого таласских памятников и поправки к чтению отдельных мест некоторых других рунических памятников.

В 1936 г. С. Е. возвращается к таласским памятникам, публикуя впервые только что открытые шестой (наскальная надпись) и седьмой (деревянная палочка) памятники и давая свои переводы второго, третьего и пятого. В том же году С. Е. публикует ряд енисейских рунических памятников.

В эти же годы С. Е. работает над обширной хрестоматией по древнетюркским текстам. Но война надолго задерживает выход в свет этой книги, которая появилась на полках тюркологов только в 1951 г. Здесь приведены полные тексты таких важнейших рунических памятников, как «Памятник в честь Кюль-Тегина», «Памятник в честь Тоньюкука», «Гадательная книжка», «Памятник из Суджи» и др. Из памятников уйгурского письма в хрестоматию вошли впервые изданные по-русски отрывки из «Покаянной молитвы манихейцев» и «Золотого блеска», восемь текстов юридического содержания, из них два опубликованы впервые. В книге представлены и отрывки из «Кутадгу билиг», Словаря Махмуда Кашгарского, произведения Югнеки и др. К текстам приложен большой (около 4000 слов — 8 п. л.) словарь. Значение названной хрестоматии, так же как и ее естественных продолжений — книг «Енисейская письменность тюрков» и «Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии»,— трудно переоценить. Эти труды С. Е. послужили источником для сотен и сотен работ в области исторической лексикологии и грамматики тюркских языков. Они и до сего дня остаются единственным вполне доступным источником сведений по древнетюркским языкам, представленных в орхонских и енисейских надписях и в древнеуйгурских текстах. Публикации последующих лет, в том числе новые зарубежные издания, показали неизбежные в такой большой работе изъяны и недостатки, обусловленные ограниченностью имевшихся в то время источников, а также уровнем науки 50-х годов. Лучшей данью памяти С. Е. и его учителя

В. В. Радлова будет настойчивое продолжение исследований древнетюркских памятников в свете современных требований, а также новое совершенное издание Корпуса рунических надписей. Отечественная тюркология должна сохранять позиции, завоеванные трудами этих двух замечательных ученых и их учеников.

Большим вкладом нынешнего поколения ученых в отечественную тюркологию явилось издание большого Древнетюркского словаря, составленного коллективом тюркологов в Институте языкознания АН СССР. Основы этого словаря были заложены еще В. В. Радловым, кропотливо собиравшим лексические материалы по руническим и древнеуйгурским текстам. При жизни этого ученого началось даже печатание Уйгуро-немецкого словаря, прекратившееся после его смерти. С. Е. много сделал для продолжения этой работы, занимаясь ею сам и руководя группой тюркологов, возобновившей работу над Древнетюркским словарем. Материалы картотеки, составлявшейся в то время, легли в основу картотеки изданного Древнетюркского словаря.

Во время двух путешествий в Северо-Западный Китай С. Е. собрал обширнейший и ценный материал по языку проживающих там тюркских народностей. Основные лингвистические материалы этих экспедиций увидели свет лишь в последние годы жизни ученого в трех крупных монографиях: «Уйгурский язык. Хамийское наречие» (1954), «Лобнорский язык» (1956), «Язык желтых уйгуров. Словарь и грамматика» (1957); посмертно вышли еще две книги: «Уйгурские наречия Синьцзяна» (1961), «Язык желтых уйгуров. Тексты и переводы» (1967). В научный обиход оказались вовлеченными языки, лежащие на периферии тюркского языкового мира, языки, по которым тюркология располагала до этого крайне скудными сведениями. Уже предварительный анализ лингвистических фактов, проведенный С. Е., показал сложные пути формирования языков таких, казалось бы, оторванных от столбовой дороги истории племен и народов, как тюркоязычное население обширного района Северо-Западного Китая. Тем самым еще раз подтверждалось положение о смешанном характере современных тюркских языков, предопределенном разнообразными частными и длительными историческими контактами народов — их носителей. Разыскания С. Е. по ряду центральноазиатских тюркских языков — значительный вклад в тюркологическую науку.

С. Е. является автором свыше полутораста работ. Охарактеризовать их здесь или выразить свое к ним отношение не представляется возможным. Достаточно сказать, что перу С. Е. принадлежит ряд работ по грамматике и лексике каракалпакского, ногайского, казахского, туркменского и других языков.

С. Е. опубликовал ряд работ этнографического характера, его статьи по шаманству у тюрков были в 1912 г. отмечены Серебряной медалью Русского географического общества.

С. Е. увлекался также специфической областью науки — тюрко-славянскими языковыми связями, опираясь в своей интерпретации тюркизмов в древнем и современном русском языке на свои поразительно разнообразные и глубокие знания тюркской лексики и фонетики.

Большое государственное значение имела деятельность С. Е. в области создания новых систем письма и введения письменности у ранее бесписьменных тюркских народов.

С. Е. вел широкую педагогическую работу. Им воспитано значительное число специалистов в тюркоязычных республиках. Научные заветы ученого продолжают жить теперь в трудах его учеников и воспитанников последних.

Можно смело сказать, что с деятельностью С. Е. Малова связана определенная эпоха в развитии отечественной тюркологии. Своими трудами он связал воедино радловский этап развития тюркологии и этап ее расцвета в наши дни.

Сведения о жизни и научной деятельности С. Е. Малова почерпнуты из следующих источников:

1. Личное дело С. Е. Малова (Архив ЛО ИЯ АН СССР, ф. 77, оп. 2, № 96).

2. Архив С. Е. Малова (ЛО Архива АН СССР — в обработке).

3. Фонд Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии (ЛО Архива АН СССР, ф. 148, оп. 1, № 27; оп. 2, № 26, 90, 94).

4. Фонд В. В. Радлова (ЛО Архива АН СССР, ф. 177, оп. 1, № 7, 13; оп. 2, № 161).

5. Фонд С. Ф. Ольденбурга (ЛО Архива АН СССР, ф. 208, оп. 3, № 369).

6. Е. И. Убрятова. О научной и общественной деятельности С. Е. Малова.— Тюркологический сборник. 1. М.—Л., 1951, с. 5—30.

7. Е. И. Убрятова. С. Е. Малов (К 75-летию со дня рождения).— ИАН, ОЛЯ. Т. 14. Вып. 1. 1955, с. 93—98.

8. Е. И. Убрятова. С. Е. Малов (К восьмидесятилетию со дня рождения).— Проблемы тюркологии и истории востоковедения. Казань, 1964, с. 43—55.

9. И. В. Кормушин. Памяти члена-корреспондента АН СССР С. Е. Малова (16.I.1880—7.IX.1957). К десятилетию со дня смерти.— ИАН, ОЛЯ. Т. 27. Вып. 4. 1968, с. 381—383.

10. Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. Под ред. и с введением А. Н. Кононова. М., 1974, с. 43—44, 77, 84—86, 211—212.

11. С. Д. Милибанд. Биобиблиографический словарь советских востоковедов. М., 1975, с. 327—328.

С. М. Абрамзон

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С. Е. МАЛОВА

Признанный знаток и исследователь живых и древних тюркских языков, Сергей Ефимович Малов был в то же время и этнографом в самом прямом и лучшем смысле этого слова. Однако эта сторона его научной деятельности еще не подвергалась обстоятельному рассмотрению. Между тем в печати проскальзывали суждения о том, что сбор этнографических материалов производился С. Е. Маловым попутно, насколько позволяли основные задачи, т. е. между прочим, мимоходом. Отсюда можно сделать вывод, что у него не было специального интереса к этнографическим темам. Но такой вывод был бы глубоко ошибочным. Лучшим подтверждением постоянного и пристального интереса ученого к этнографии служат его собственные свидетельства. В 1901 г., еще в студенческие годы, он побывал в Свияжском уезде Казанской губернии, как он пишет, «с целью изучения языка и быта татар»[1]. В 1908 г., изучая наречия кузнецких «татар» Томской губернии, С. Е. Малов, по его словам, описал 15 разных обычаев, собрал приметы, поверья и предания, записал 752 собственных имени черневых татар, названия деревень, месяцев, дней и пр.[2]. Наконец, в своем отчете о втором путешествии к уйгурам в 1913 г. С. Е. Малов пишет, что он «обратил преимущественное внимание на фонетику уйгурского языка и на этнографию (разрядка наша.— *С. А.*)»[3]. Подобного рода замечания о производившихся

---

[1] С. Е. Малов. Шаманский камень «яда» у тюрков Западного Китая.— СЭ, 1947, № 1, с. 151.

[2] Отчет о командировке студента Восточного факультета С. Е. Малова.— ИРКСА. № 9. 1909, с. 35; см. также: С. Е. Малов. Несколько слов о шаманстве у турецкого населения Кузнецкого уезда Томской губернии.— ЖС. Год 18. Вып. 2—3. 1909, с. 38—41.

[3] С. Е. Малов. Отчет о втором путешествии к уйгурам.— ИРКСА. Сер. 2. № 3, 1914, с. 86.

записях этнографического содержания можно встретить в публикациях С. Е. Малова не раз.

Многократные обращения специалистов-этнографов к трудам С. Е. Малова, частые ссылки на них свидетельствуют о несомненной ценности его этнографических изысканий. В чем же заключается притягательная сила трудов С. Е. Малова, посвященных этнографии тюркских народов? Прежде всего и главным образом в том, что они, как правило, обладают неоценимым достоинством э т н о г р а ф и ч е с к о г о п е р в о и с т о ч н и к а. Публикации и исследования С. Е. Малова, отличающиеся высоким профессиональным уровнем, содержат новые для своего времени этнографические материалы, которые не утратили своего большого значения и для современной науки. В них освещаются малоизученные стороны жизни некоторых тюркоязычных народов, они расширяют географические рамки этнографических реалий.

Если попытаться определить профиль этнографических интересов С. Е. Малова, то их можно охарактеризовать как изыскания в области духовной культуры тюркоязычных народов, причем особое внимание уделено народным верованиям. И это не случайно. Формирование С. Е. Малова как ученого происходило под непосредственным влиянием В. В. Радлова, в среде, где первостепенное внимание уделялось духовной жизни тюркоязычных народов, их фольклору, верованиям, народным знаниям, обрядам и обычаям. Тесное сотрудничество с возглавлявшимся В. В. Радловым Музеем антропологии и этнографии Академии наук, общение с работавшим в этом музее выдающимся русским этнографом Л. Я. Штернбергом, труды которого в области теоретической этнографии и первобытных верований широко известны, не могли не вызвать у С. Е. Малова живого интереса к народной духовной культуре.

Предшественниками С. Е. Малова в изучении быта, фольклора и верований тюркоязычного населения Восточного Туркестана, а отчасти и провинции Ганьсу были русские путешественники и ученые — Г. Н. Потанин, Н. Пантусов, С. Ф. Ольденбург, Н. Ф. Катанов. К трудам последнего С. Е. Малов относился с особым вниманием и уважением.

В кругу интересов С. Е. Малова находились помимо названных и некоторые другие этнографические темы, как-то: проблема происхождения казанских татар, их отношения к другим тюркским народам, к камско-волжским булгарам, т. е. в целом — проблема этногенеза народов Поволжья. С. Е. Малов не раз откликался рецензиями на публикации по этим вопросам, участвовал в их обсуждении[4].

[4] Выступление по поводу доклада Н. В. Никольского на тему: «Половцы и татары».— ИОАИЭК. Т. 30. Вып. 2. Протоколы общих собраний. Ка-

Самое пристальное внимание ученый уделял одной из узловых проблем религиозного мировоззрения тюркоязычных народов — проблеме шаманизма, которая вызывает к себе большой интерес и в наши дни. Не случайно за опубликование в 1912 г. блестящей статьи «Остатки шаманства у желтых уйгуров» С. Е. Малову была присуждена почетная награда — Серебряная медаль отделения этнографии Русского географического общества.

Следуя примеру своих предшественников, С. Е. Малов неустанно собирал материалы самого различного содержания: о шаманском камне «яда» и о самой церемонии «яда», об обычаях, приметах и поверьях; записывал мужские и женские имена, названия рек, гор, населенных пунктов, кумирен, прозвища и характеристики жителей Восточного Туркестана, названия родственных отношений (руководствуясь «инструкцией», составленной Л. Я. Штернбергом), родов-костей, месяцев, дней, праздников; собирал экономические и статистические данные и т. п.

Уже во время своих первых студенческих поездок будущий ученый осваивал и отрабатывал методику полевых этнографических исследований. Это в немалой степени способствовало успешному решению сложных задач, поставленных С. Е. Маловым в его первом самостоятельном и смелом путешествии в глубь Азии — к желтым уйгурам и саларам в 1909—1911 гг. Ученый использовал в своей полевой работе основные методы, применяемые этнографами: непосредственное наблюдение и многократные расспросы сведущих людей. В своих отчетах о результатах полевых исследований он не раз упоминает о собственных наблюдениях, относящихся как к праздничным церемониям и религиозным молениям, так и к повседневному быту изучаемых им народов. Уникальные сведения по шаманизму у уйгуров, опубликованные С. Е. Маловым в ряде статей, основаны в значительной мере на впечатлениях от личного присутствия автора при шаманских камланиях, на его точных наблюдениях, сделанных во время «молений» шаманов.

Большую эффективность при проведении полевых этнографических изысканий приносило умелое сочетание С. Е. Маловым стационарной работы (1910—1911 гг.) с маршрутными поездками: разъездами по уйгурским селениям, монастырям и кочевкам с пребыванием в них от двух-трех дней до двух недель.

зань, 1919, с. 8; [Рец. на:] Н. В. Никольский. Сборник исторических материалов о народностях Поволжья. Казань. 1920.— ИСВАЭИ. Т. 2. 1920, с. 138—143; [Рец. на:] В. Ф. Смолин. К вопросу о происхождениии народности камско-волжских болгар. Казань. 1921.— КМВ. 1922, № 2; Выступление на сессии Отделения истории и философии АН СССР по вопросу этногенеза татар Поволжья (см.: Происхождение казанских татар. Казань, 1948, с. 116—119).

Касаясь методов полевой этнографической работы ученого, нельзя не упомянуть, что он, как подлинный этнограф, собрал по поручению Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии шесть этнографических коллекций, поступивших в 1911, 1912 и 1914 гг. в Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого в Петербурге. Часть предметов из этих коллекций экспонируется ныне в музее. Коллекции собраны среди желтых уйгуров в провинции Ганьсу (66 номеров, 93 предмета) и уйгуров Восточного Туркестана[5] (11 номеров, 15 предметов), среди саларов (6 номеров, 8 предметов), тангутов (2 номера, 3 предмета) и китайцев (18 номеров, 31 предмет) в провинции Ганьсу. Всего в настоящее время в музее хранится свыше 150 предметов, собранных С. Е. Маловым[6]. Наибольший интерес, разумеется, представляют коллекции, относящиеся к желтым уйгурам, саларам и уйгурам Восточного Туркестана.

В состав коллекции, собранной у желтых уйгуров, входят женская одежда и украшения, в том числе покрывало на лицо невесты, лента с нашитыми на нее 30 раковинами (*тундесык*), которую женщина надевает в первый раз в день свадьбы и с этого времени носит (на спине) постоянно, нагрудное украшение (*кын*) из синей ткани с нашитыми кораллами и серебряными пряжками, принадлежность женского костюма в виде вышитых мешочков и др.; комплект мужской одежды, в том числе войлочная шляпа (*пöрӱк*); предметы для опиекурения и для курения табака; утварь, в частности сосуды, сделанные из брюшины и из кожи с шеи овцы для хранения молока и масла; предметы культа: кожаный мешочек для хранения толокна, употребляемый ламами в кумирнях; хлеб, приносимый в кумирню в праздник луны, резное изображение божества из уйгурской кумирни, доска с тибетскими надписями, молитвенное колесо (*хурде* или *хурлу*), молитвенный барабанчик; женские цветные платки, употребляемые в качестве подарков при посещении уйгурами друг друга.

Особую ценность имеют предметы, связанные с шаманским культом у желтых уйгуров: священное дерево *јахка* в виде ветви, украшенной лентами, прутьев, обмотанных шерстью и цветной тканью, и четырех палочек, втыкаемых в землю, три ложечки деревянные резные, употребляемые шаманами для кроплений (*чöк каздык*), бубен с колотушкой, коса шамана из конского волоса черного цвета, «красный язык» (полосы бумаж-

---

[5] Собирателем они названы «турками».

[6] Коллекции под № 1873, 1874, 1875, 1876, 2012 и 2337. Основная часть экспонатов из этих коллекций находится в фондах. Все коллекции состоят на учете в секторе зарубежной Азии Ленинградского отделения Института этнографии АН СССР.

ной ткани, сшитой из кусков красного и синего цвета), кость овцы *(йота)*, шаманская сумка, плетенная из шерсти *(торвун)* [7], две палочки — принадлежность камлания *(сурeі)*, которые втыкают в сваренную голову овцы, приносимой в жертву, пук шерсти, намотанной на деревянную рогатку. Кроме того, среди экспонатов имеются некоторые орудия и предметы, употребляемые в домашнем производстве и в охоте.

Коллекция, посвященная саларам, включает в себя комплект женской одежды, детские башмаки.

Значительный интерес представляет коллекция, собранная среди уйгуров Восточного Туркестана. В нее входят музыкальные инструменты: шестиструнный щипковый *тамбур*, двухструнный *дутар*, бубен — *дап* (все из Кашгара) и смычковый *гырджак* (из Хами); предметы культа: саван *(кипян)* из бумажной ткани черного цвета, колотушка *(сапаі*, на турфанском наречии — *шакак-шукук)*, употребляемая нищенствующими *(дивонэ)*. Важное место занимают предметы шаманского культа: а) «знамя» *(туҕ)*, состоящее из веревки, обвитой белой грубой тканью, и платков, белых и цветных [8]; б) коса из тряпочек и пучок тряпочек, ленточки *(пурут)*, привешиваемые при шаманском молении на древко; в) меч *(кылыш)*, употребляемый шаманом (из г. Пичана).

Тангутская коллекция состоит из покрывала *(домра)*, закрывающего верхнюю часть лица тангутского ламы, и флейты (с кнутом) из окрашенной человеческой берцовой кости (танг. *скандун*).

Из китайской коллекции следует отметить набор принадлежностей для опиекурения, медные зеркала, старинную железную кольчугу (куплена в г. Урумчи), круглый хлебец (из г. Сучжоу), который печется и которому поклоняются во время праздника полнолуния — в восьмом месяце лунного календаря, резной деревянный алтарик — таблица с иероглифом, обозначающим имя Цзы-вэй.

О том, какое значение исследователь придавал привезенным им этнографическим экспонатам, свидетельствует подзаголовок его упомянутой статьи «Шаманство у сартов Восточного Туркестана (к пояснениям коллекции Музея антропологии и этнографии по восточно-туркестанскому шаманству)».

Будучи хорошо подготовленным к полевой работе, С. Е. Малов систематически занимался фотографированием этнографи-

---

[7] В описи коллекции № 2337 отсутствуют содержимое шаманской сумки, перечисленное собирателем (зубы и шерсть овец, лошадей и коров, копыто коровы, рога баранов, зуб верблюда), а также кусок черной ткани *(пара)*. См.: С. Е. Малов. Отчет о втором путешествии к уйгурам, с. 86.

[8] См.: С. Е. Малов. Шаманство у сартов Восточного Туркестана. — СМАЭ. Т. 5. Вып. 1. Пг., 1918, с. 6.

ческих объектов. Еще в 1909 г., после своей студенческой командировки, совершенной летом 1908 г. к томским, чулымским и кузнецким «татарам», он доставил в Музей антропологии и этнографии 45 фотографий, хранящихся ныне в Отделе Сибири музея (колл. № 1502). В 1914 г. в музей поступили от С. Е. Малова 382 негатива (колл. № 2895), на которых запечатлены типы уйгуров, их жилища, обряды, кумирни и т. п., а в 1921 г.— еще 83 негатива (колл. № 2820).

Следует добавить, что С. Е. Малов собрал и археологическую коллекцию. Ученый также производил антропологические измерения по программе, составленной К. Яцутой.

Облик С. Е. Малова как этнографа был бы неполным, если бы мы не осветили двух аспектов, нашедших отражение в его исследованиях: исторического подхода к описываемым явлениям и привлечения сравнительно-этнографического материала. Уже в исследовании о шаманизме у желтых уйгуров ученый отмечает, что китайские историки упоминают о шаманках у народа «гао-гюй», т. е. у предков современных желтых уйгуров [9]. Позднее, в статье о камне «яда», он в дополнение к историческим сведениям, приводимым М. Ф. Кёпрюлю-заде, сообщает, ссылаясь на К. Брокельмана, более ранние данные о «яда», относящиеся к VII в., цитирует стих об облаке и дожде из гадательной книги VIII—IX вв. тюркского рунического письма, перечисляет и некоторые более поздние сведения, содержащиеся в средневековых источниках [10].

Едва ли подлежит сомнению, что заклинатели погоды, принадлежавшие к целой категории лиц, причастных к иррациональному началу, являлись весьма древними по своему происхождению «специалистами». В статье «Шаманство у сартов Восточного Туркестана» С. Е. Малов писал: «В Туркестане везде обилие разного рода гадателей, оракулов и кудесников». И далее он перечисляет их: *палчы* или *раммалчы* — просто гадатели по книжке; *цадугар* (перс.) — гадатели посредством разных молитв и каббалистических слов, написанных на бумаге; гадатель — нужное лицо для влюбленных, которые несут ему свои тайны; *азаїм-хан, дуа-хан* — тот, кто ворожит и отвращает нечисть только молитвами и не бьет при этом в бубен и не иг-

---

[9] С. Е. Малов. Остатки шаманства у желтых уйгуров.— ЖС. Год 21. Вып. 1, 1912, с. 62, прим. 2.

[10] С. Е. Малов. Шаманский камень «яда», с. 152. К сожалению, С. Е. Малову осталась неизвестной сводная работа о камне «яда» и связанных с ним обрядах у ряда народов «алтайского» круга: F. Andrian. Über den Wetterzauber der Altaier.— «Correspondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte». 1893, № 8. Информацию об этой работе я получил от Л. П. Потапова, за что выражаю ему искреннюю признательность.

рает на других инструментах; *jадачы* — человек, знающий искусство низведения с неба дождя, умеющий прекращать ливни, завораживать тучи, град и снег [11]; *чіракчі, бекимчі* и *чўмкеші* — гадатели, совершающие небольшие церемонии, во время которых они прорицают, смотря на светильник с зеркалом и на чашку, наполненную водой [12].

Подобная категория «специалистов» существовала и у алтайцев. В. И. Вербицкий, называющий их «алтайскими пифиями», перечисляет следующие: 1) *рымчі* — имеющий припадок, в котором он при ужасных мучениях видит сокровенное и предсказывает; 2) *тельгочі* — гадатель; 3) *ярынчі* — ворожащий по сожженной лопатке (кость); 4) *кол-куреэчі* — по рукам узнающий; 5) *ядачі* — человек, управляющий погодою посредством камня (*яда-таш*) [13].

И у киргизов в прошлом были прорицатели (*сынчы*), вызыватели дождя (*жайчы*), предсказатели погоды (*эсепчи*), гадатели на камешках или на альчике косули (*тёлгёчю*), гадатели на овечьей лопатке (*далычы*), изгоняющие злых духов из рожениц (*куучу*) и т. п.[14].

Среди советских этнографов пока нет единого мнения по поводу места, которое занимали названные «специалисты» в религиозной практике. Одни считают их предшественниками шаманов, другие — их спутниками, третьи — продуктом дифференциации шаманских функций. Но в любом случае они были «профессионалами», появившимися на ранних стадиях развития религиозных представлений.

Исторические экскурсы С. Е. Малова представляется уместным дополнить сообщениями древних китайских авторов о предке тюрков-тугю Ичжини-нишыду, который «имел сверхъестественные свойства: мог наводить ветры и дожди» (VI в.) [15], о среднеазиатской области Қан, где «в одиннадцатой луне с бубнами и пляскою просят мороза и забавляются обливанием друг друга водою» (VII в.) [16]. К сказанному следует также добавить и сведения, содержащиеся в дорожнике китайского посла Вань Янь-дэ, который в 981—984 гг. посетил уйгурское Турфанское княжество. Он сообщает, что местные жители для раз-

---

[11] Ср. ДТС, с. 247 (с пометкой МК, т. III, с. 159, 307): *jat* 'колдовство, связанное с вызыванием дождя и ветра'; *jatčï* 'заклинатель', 'волшебник'.

[12] С. Е. Малов. Шаманство у сартов Восточного Туркестана, с. 4.

[13] В. И. Вербицкий. Алтайские инородцы.— Сборник этнографических статей и исследований. М., 1893, с. 45.

[14] С. М. Абрамзон. Очерк культуры киргизского народа. Фрунзе, 1946, с. 54.

[15] Н. Я. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. М.—Л., 1950, с. 221—222.

[16] Там же. Т. 2, с. 310—311.

влечения делают трубочки из серебра или латуни, наполняют их водой и брызгают, а то и просто обливают друг друга водой[17]. О подобном обычае у казанских татар писал и сам С. Е. Малов: «...в течение всего остального дня молодежь окатывает водой каждого встретившегося ей на улице человека. Этот обычай вместе с жертвенной кашей является шаманским средством низведения дождя в засушливое время»[18].

Переводчик и комментатор упомянутого дорожника А. Г. Малявкин приводит данные китайского историка Сян Да о том, что «в Куче (Восточный Туркестан) с 1-го по 7-е число 7-го месяца по лунному календарю исполнялся танец су-мо-чжэ, во время которого брызгали водой перед домами и друг на друга. Этот танец, носивший несомненно ритуальный характер, должен был способствовать появлению инь-ци, т. е. более влажной и прохладной погоды». Указав, что известный историк Лю Мао-цай возводит его к иранскому наурузу, А. Г. Малявкин замечает, что и «весь этот обряд также иранского происхождения»[19]. Исторические свидетельства полностью подтверждают мнение С. Е. Малова о раннем влиянии иранского этноса на древних тюрков[20].

О сохранении этой весьма древней традиции у обитателей Восточного Туркестана в более позднее время мы находим сведения в персидских источниках XVI—XVIII вв. «Зийа ал-кулуб» и «Анис ат-талибин», повествующих о деяниях известного суфийского шейха Ходжи Исхака, который, в частности, «избавлял» местных жителей от безводья или маловодья, обращаясь к помощи духов своих предков или рекомендуя принести в жертву овец в верховьях реки[21].

Внимательное изучение материалов, содержащихся в публикации С. Е. Малова о камне «яда», приводит к выводу, что называть обряд изменения погоды, низведения дождя и самоё церемонию *шаманскими* можно лишь весьма условно. Хотя «рисале», перевод которых издал ученый, очевидно, широко использовались шаманами, в основе представлений, связанных с этими обрядами магического характера и с церемониями «яда», лежал *дошаманский культ природы*. К этому культу, несомненно, принадлежат кропление небу, обращение к облакам, приносящим гром и дождь, опускание камня «яда» в укромном месте в воду реки или забрасывание его на дно реки

[17] См.: А. Г. Малявкин. Материалы по истории уйгуров в IX—XII вв. Новосибирск, 1974, с. 89.

[18] С. Е. Малов. Шаманский камень «яда», с. 151.

[19] А. Г. Малявкин. Материалы по истории уйгуров, с. 168.

[20] С. Е. Малов. Шаманский камень «яда», с. 154.

[21] Материалы по истории киргизов и Киргизии. М., 1973, с. 181, 192.

и т. п.[22]. Связанные с культом природы взгляды и обрядовые действия были на определенном этапе развития религиозных представлений включены в мировоззрение и ритуалы, порожденные шаманизмом. Но это мировоззрение и вытекавшие из него обрядовые действия были осложнены, с одной стороны, переднеазиатскими (отчасти и среднеазиатскими) влияниями, с другой — проникновением ислама (и, мы добавили бы, вместе с ним — суфийских учений) с его развитой обрядностью, на что также обратил внимание С. Е. Малов[23]. Таким образом, весь цикл религиозных обрядов и представлений, относящихся к камню «яда», приобрел отчетливо выраженный синкретический характер. Но «подпочвой» этой сложной религиозной концепции мог быть только развитой культ природы, включавший и астральный культ.

Не менее важны и убедительны широкие сопоставления сравнительно-исторического характера, к которым прибегает С. Е. Малов в своих трудах. Ими особенно насыщена его статья о шаманстве у желтых уйгуров. Примечательно частое обращение автора к якутскому этнографическому материалу. Тот факт, что шамана якуты называли *ojуун*, а шаманское камлание у уйгуров Восточного Туркестана[24] и у киргизов, в этническом составе которых была представлена группа «уйгур», также носило название *оюн*, т. е. «игра, забава» (то же название и у узбеков Хорезма), по мнению Л. П. Потапова, служит хорошим этногенетическим сигналом, отражающим роль ранних и средневековых уйгуров в этногенезе ряда тюркоязычных народов, в том числе в этническом составе якутов и киргизов[25].

Обращаясь к основным исследованиям С. Е. Малова, относящимся к шаманизму у желтых уйгуров и уйгуров Восточного Туркестана, необходимо подчеркнуть очень важный момент, на который обращал внимание сам исследователь: желтые уйгуры издавна исповедуют буддизм, уйгуры Восточного Туркестана —

---

[22] Тувинцы также считали, что на погоду можно повлиять при помощи камня *чат таш*. Когда нужно вызвать дождь, достаточно опустить камень в реку и затем побрызгать вверх. Если вообще оставить *чат таш* в реке, то она высохнет (см.: Л. П. Потапов. Материалы по этнографии тувинцев районов Монгун-Тайги и Кара-Холя.— Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции. Т. 1. М.—Л., 1960, с. 236).

[23] С. Е. Малов. Шаманский камень «яда», с. 154.

[24] С. Е. Малов называет их в своих трудах «сартами».

[25] С. М. Абрамзон. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л., 1971, с. 314—315; Т. Д. Баялиева. Доисламские верования и их пережитки у киргизов. Фрунзе, 1972, с. 124, 147; Л. П. Потапов. [Рец. на:] Т. Д. Баялиева. Доисламские верования и их пережитки у киргизов. Фрунзе, 1972.— СЭ. 1973, № 5; Г. П. Снесарев. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М., 1969, с. 48; С. Ольденбург. Краткие заметки о пери-хон'ах и дуа-хон'ах в Кучаре.— СМАЭ. Т. 5. Вып. 1. 1918.

ислам. Это различие в официальной религиозной принадлежности названных групп уйгуров привело к существенным модификациям остатков шаманизма у тех и у других. Как отметил С. Е. Малов, закрепление шаманизма в рукописных обрядниках и проникновение ислама в среду уйгуров Восточного Туркестана обеспечили здесь шаманству долгую жизнь. «Связь шаманства с исламом,— пишет он,— вот одна из причин жизненности шаманства среди сартов-мусульман. Шаманство поспешило, при встрече с исламом, воспринять в себя многое из него и этим обеспечить себе прочное будущее» [26].

В известном смысле эти замечания могут быть отнесены и к остаткам шаманизма у желтых уйгуров провинции Ганьсу. Здесь шаманизм также приспособился к господствующей религии — буддизму в его тибетско-ламаистской разновидности, и сам буддизм, сплавившийся с живыми реликтами шаманизма и воспринявший некоторые его черты, способствовал длительному сохранению его пережитков. В этом плане мы вправе провести некоторую параллель между желтыми уйгурами и тувинцами. Благодаря этнографическим исследованиям Л. П. Потапова и В. П. Дьяконовой, проводившимся среди тувинцев, которые, как и желтые уйгуры, исповедовали ламаизм, появляется возможность лучше понять некоторые стороны синкретической религии желтых уйгуров. Конечно, о полных или даже существенных аналогиях в шаманском культе тувинцев и желтых уйгуров говорить преждевременно. Еще не все материалы о шаманизме у тувинцев опубликованы; остались неопубликованными материалы о шаманизме у группы горных желтых уйгуров. К тому, что было опубликовано по уйгурскому шаманству, «я имею... обширные дополнения,— писал С. Е. Малов.— Я был прав, когда высказал в своей статье („Остатки шаманства у желтых уйгуров“.— *С. А.*) предположение, что среди горных уйгуров больше, чем у степных, сохранилось шаманство. Я узнал довольно подробно церемониал... шаманских молений и обрядов» [27].

Однако уже сейчас можно отметить некоторые общие черты в шаманском культе тувинцев и желтых уйгуров, в обычае посвящения домашних животных божествам у желтых уйгуров и в обычае посвящения домашнего животного в «ыдыки» у тувинцев, а также в погребальном обряде у тех и у других. В частности, к таким общим чертам относится запрет произносить имя умершего у тувинцев-шаманистов и у желтых уйгуров (у последних взамен имени иногда использовалось словосочетание *кӱн*

[26] С. Е. Малов. Шаманство у сартов, с. 2, 16.

[27] С. Е. Малов. Отчет о втором путешествии к уйгурам, с. 86. В настоящей статье не использованы собранные С. Е. Маловым материалы, хранящиеся в рукописном виде в Архиве востоковедов в ЛО ИВАН СССР.

гӱргӱчі 'видящий солнце')[28]. Описывая обряд посвящения лошади в ыдыки, который тувинцы совершали во время тяжелой болезни главы семьи, Л. П. Потапов отмечает, что лошадь-ыдыка ставили на новый небольшой коврик из войлока, трижды окуривали можжевельником, ноги и копыта мазали маслом и т. п., все время упрашивая ыдыка-лошадь принять болезнь хозяина на себя[29]. Во время шаманского камлания у желтых уйгуров во дворе перед дверью жилища расстилается чистая кошма, на которую ставят оседланную лошадь и овцу. Шаман окуривает животных благовонием, что делает их «священными». Божеству-Небу по большей части посвящается лошадь рыжей масти (как и ыдык у тувинцев). Женщине ездить на ней запрещалось (у тувинцев лошадь-ыдык для женщин также всегда была запретной)[30]. Подобного рода параллели можно было бы продолжить, и объяснение им надо искать не только в близости религиозных систем этих народов, но и в их древних этногенетических связях[31].

В то же время шаманизм у уйгуров Восточного Туркестана нельзя рассматривать изолированно от проявлений шаманизма у народов Средней Азии и Казахстана, ибо и там и здесь мы имеем дело с шаманизмом, прочно сросшимся с исламом. Мало того, исследования Г. П. Снесарева, вскрывшего древнеиранские пласты в верованиях и обрядах узбеков Хорезма, дают основание видеть общие генетические корни шаманизма у народов Средней Азии и Восточного Туркестана. Они могли зародиться в том общем этническом субстрате, каким было древнее население этих регионов, говорившее и писавшее на сакском, согдийском, тохарском и других языках, принадлежавших к индоевропейской языковой общности[32]. Именно поэтому у узбеков, киргизов, казахов, таджиков и уйгуров Восточного Туркестана можно найти много общего как в представлениях о шаманских духах, в атрибутах шаманов, так и в самих шаманских церемониях[33].

---

[28] В. П. Дьяконова. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник. Л., 1975, с. 52; Г. Г. Гульбин. Погребение у желтых уйгуров.— СМАЭ. Т. 7, 1928, с. 206 (статья написана по материалам С. Е. Малова).

[29] Л. П. Потапов. Очерки народного быта тувинцев. М., 1969, с. 363—364.

[30] С. Е. Малов. Остатки шаманства у желтых уйгуров, с. 70, 73.

[31] Л. П. Потапов. Очерки, с. 57.

[32] См.: Народы Средней Азии и Казахстана. М., 1963 (Народы мира. Т. 2), гл. «Уйгуры», с. 489.

[33] Г. П. Снесарев. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма, с. 43—55; см. также: Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М., 1975 (статьи О. А. Сухаревой, О. Муродова, В. Н. Басилова и К. Ниязклычева); Т. Д. Баялиева. Доисламские верования и их пережитки у киргизов; В. Н. Басилов. Некоторые проблемы

Однако, возвращаясь к остаткам шаманизма у тех двух групп уйгуров (Восточного Туркестана и провинции Ганьсу), которые изучал С. Е. Малов, можно и нужно говорить не только о существенных различиях в их шаманской идеологии и практике, но и о некоторых весьма сходных и даже общих явлениях, восходящих к наиболее древним пластам шаманизма. Это прежде всего наследование шаманского дара [34] и тесная связь шаманских представлений с предшествовавшим стадиальным явлением — культом природы. Эти важные особенности шаманизма обеих групп уйгуров сближают его с шаманизмом народов Сибири. Но по ряду существенных признаков уже установлена связь шаманизма народов Сибири с шаманизмом ряда народов Средней Азии и Казахстана. Именно поэтому пока нельзя считать окончательным мнение Э. Р. Тенишева, который отводит шаманизму у желтых уйгуров промежуточное место между шаманизмом сибирских народов и уйгуров Восточного Туркестана [35].

Коснемся кратко того пласта в шаманизме, который возник на базе культов дошаманского происхождения, и в первую очередь культа природы, на который обратил внимание сам С. Е. Малов. Он писал: «Здесь (у уйгуров Восточного Туркестана.— *С. А.*) знамя — то же, что березовый ствол у сибирских тюркских племен ... у желтых уйгуров моление происходит перед веткой джиды, украшенной лентами разных цветов...» [36]. В данном случае важно подчеркнуть, что знамени (*туг*) у уйгуров Восточного Туркестана полностью соответствует по своей символике и функциональному назначению древко с ленточками (*јахка*) у желтых уйгуров. Это — не что иное, как «мировое дерево», или «шаманское дерево», символизирующее связь шамана с «верхним миром» [37]. Очевидно, не простой случайностью можно объяснить, что слову *јахка* С. Е. Малов дает (хотя и с вопросительным знаком) толкование: «небеса», «высшие сферы». Об этой связи с «верхним миром» свидетельствует и название голубого древка или прута (одного из четырех, составляющих *јахка*) — *тыр* 'Млечный Путь'. Главным, высшим шаманским божеством желтые уйгуры считали *кан теңір* (или:

исследования домусульманских культов в Средней Азии.— Атеизм и религия: проблемы истории и современность. Вып. 2. М., 1974, с. 373—383; о н ж е. Ташмат-бола.— СЭ. 1975, № 5, с. 112—124.

[34] С. Е. М а л о в. Остатки шаманства у желтых уйгуров, с. 61, 64; о н ж е. Шаманство у сартов Восточного Туркестана, с. 10, 12.

[35] Э. Р. Т е н и ш е в. О центральноазиатском шаманстве. — Историко-филологические исследования. Сборник статей памяти акад. Н. И. Конрада. М., 1974.

[36] С. Е. М а л о в. Шаманство у сартов, с. 16.

[37] На это обратил внимание Г. П. Снесарев (Реликты домусульманских верований, с. 52).

кан деңір), т. е. небесное божество (букв. «царь-небо»). Едва ли можно сомневаться в том, что здесь представлен живой реликт древнетюркского культа неба, который впитала в себя идеология шаманизма. В призываниях шаманов у желтых уйгуров мы находим обращение и к солнцу, и к луне, и к божеству, посылающему гром [38].

Следы культа неба находим и в призываниях шамана у уйгуров Восточного Туркестана, когда он обращается к небу [39] или, заклиная дэвов и пери, произносит: «Восходящие на облака! Взлетающие на небо!» [40].

В этой связи уместно привести мнение такого авторитетного ученого, как Л. Я. Штернберг: «Всякий раз, когда мы встречаемся с божеством неба, мы должны проанализировать, как реально представляет себе тот или другой народ это божество, и тогда мы увидим, что, в сущности говоря, небо является абстрактным понятием, комплексным божеством, настоящие же божества — это те, которые предшествовали образованию этого более абстрактного божества. За культом неба скрывается культ солнца, культ Полярной звезды и т. п.» [41].

Если в шаманских церемониях уйгуров Восточного Туркестана (как и ряда народов Средней Азии) центральное место занимало «переселение» или «перевод» болезни человека в животных (голубя, курицу, овцу), в череп собаки, череп ястреба, в кукол, то в иной форме эта же идея была представлена у желтых уйгуров, когда шаман, как уже упоминалось, окуривал благовониями лошадь и овцу, которые тем самым становились «священными».

Касаясь связей восточнотуркестанского и среднеазиатского шаманства, нельзя не упомянуть о такой категории шаманских духов, как «чильтаны». В упомянутой статье Э. Р. Тенишева главным покровителем (пери) шамана в Кучаре назван *Qix čilten*. Об этих шаманских духах несколько раз упоминает в своей работе Н. Пантусов. В честь сорока чильтанов, как он пишет, во время шаманского сеанса внизу «туга» устанавливали две свечи, а после окончания сеанса в жертву «40 существам (чильтен хакларга) приносят 7 хлебов и 7 блинов» [42]. Таким образом, чильтаны, как непременные участники шаманской церемонии, зафиксированы около 70 лет назад. Поэтому нас несколько удивило замечание В. Н. Басилова в его интерес-

---

[38] С. Е. Малов. Остатки шаманства, с. 62, 65, 68, 70.

[39] Н. Пантусов. Таранчинские бакши. Пери уйнатмак (способы игры и лечения бакшей).— «Известия Туркестанского отдела РГО». Т. 6. Таш., 1907, с. 40.

[40] С. Е. Малов. Шаманство у сартов, с. 3.

[41] Л. Я. Штернберг. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936, с. 508.

[42] Н. Пантусов. Таранчинские бакши, с. 39, 46.

ной работе, что им «обнаружены две новые категории шаманских духов — сорок дев и чильтаны»[43]. Это — явное недоразумение. Однако автор абсолютно прав, когда он утверждает, что чильтаны, как и сорок дев, являются очень древними персонажами религиозных верований, «что позволяет говорить о древних местных корнях самого шаманского культа»[44].

Заканчивая беглый обзор этнографических исследований С. Е. Малова, в котором мы коснулись целого ряда интереснейших тем, следует отметить, что мы остановились лишь на его опубликованных трудах. Очевидно, еще многое ожидает нас в не опубликованной пока рукописи С. Е. Малова «Среди тюрков Западного Китая. Из путешествия 1906—1911 гг. и 1913—1914 гг.— Уйгуры-мусульмане, уйгуры-буддисты и салары», которая содержит материалы дневников, обработанные в форме описания путешествия (объем рукописи — 30 авт. л.)[45]. Но и то, о чем мы говорили в этом обзоре, свидетельствует о большом вкладе в этнографическую науку, который сделан трудами С. Е. Малова. Этнографические исследования С. Е. Малова, как и труды его предшественников, учителей и коллег — русских востоковедов Ч. Ч. Валиханова, В. В. Радлова, Н. Ф. Катанова, А. Н. Самойловича, К. К. Юдахина, несомненно займут достойное место в истории отечественной этнографии.

---

[43] В. Н. Басилов. Некоторые проблемы исследования, с. 379, 382.
[44] Там же, с. 382.
[45] Е. И. Убрятова. О научной и общественной деятельности Сергея Ефимовича Малова.— Тюркологический сборник. I. М.—Л., 1951, с. 9.

Э. Р. Тенишев

С. Е. МАЛОВ — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

В небольшой статье нет возможности достаточно подробно развить тему: С. Е. Малов и современные тюркские языки. Это предмет монографического исследования, включающего и анализ творческого пути ученого, и неторопливое размышление об эпохе и научном деятеле, его характере, интересах и наклонностях.

Остается, так сказать, «фрагментарный» путь освещения названной темы — показ нескольких моментов общего характера и более детальное раскрытие одного частного, но занимающего важное место в творчестве С. Е. Малова.

Научные интересы С. Е. Малова формировались под непосредственным воздействием В. В. Радлова, примыкавшего по своим теоретическим взглядам к «казанскому кружку». Позиции «кружка» и его главы И. А. Бодуэна де Куртенэ определялись поворотом в сторону синхронии, исследования главным образом живых, современных языков. Однако в связи с открытием древнетюркских памятников и поступлением рунического и древнеуйгурского материалов В. В. Радлову в последний, петербургский период его деятельности пришлось отступить от позиции казанцев и усиленно заняться древнетюркской филологией.

У С. Е. Малова, ученика и последователя В. В. Радлова, обе эти линии — изучение современных и древних тюркских языков — представлены с самого начала его научной деятельности. Причем оба направления не были изолированы друг от друга, а, наоборот, тесно взаимодействовали: древние языки применялись для объяснения современных, а современные — для понимания текста древних.

После Октябрьской революции в связи с настоятельной необходимостью повышения культуры и просвещения возрожден-

ных к жизни наций особо важное значение приобрело изучение современных тюркских языков.

Создание письменности и литературного языка для ряда тюркоязычных народов стало делом большой государственной значимости. Поэтому исследование современных языков, естественно, выдвинулось у С. Е. Малова на передний план.

С. Е. Малов никогда не был кабинетным ученым, оторванным от жизни. Напротив, он чрезвычайно живо откликался на требования дня, на потребности социалистического строительства. Всем известно его деятельное участие в разработке алфавитов и орфографий для различных тюркских языков и помощь в их практическом применении на местах.

Большое значение придавал С. Е. Малов описанию современных тюркских языков и сам многое сделал в этой области и как исследователь, и как редактор. Примечателен для его метода избирательный, строгий подход в подаче языкового факта: из всех возможных явлений должно быть отобрано и тщательно выверено с различных сторон самое рельефное.

Это требование ученый предъявлял как к самому себе, так и к другим авторам при оценке их работ.

Важное место в творчестве С. Е. Малова занимает диалектология. Большинство современных языков рассмотрены им сквозь диалектологическую призму. Это и не удивительно, если вспомнить, что еще к началу 30-х годов нашего времени многие тюркские языки не имели литературной формы и существовали в виде народно-разговорных.

Особым вниманием С. Е. Малова пользовались лексикология и лексикография тюркских языков. Во главу угла ставились национальный текст и точная передача его на русский язык; носителем смысла, центральной ячейкой текста признавалось слово. Здесь в какой-то мере сказывалось и влияние той дореволюционной практической тюркологии, одним из активных деятелей которой был отец С. Е. Малова Евфимий Александрович Малов.

С. Е. Малов был необычайно чуток к слову как лексеме, точно угадывал различные нюансы ассоциативных и по форме и по смыслу связей. Его глубокие познания в тюркской лексике отражены в статьях о тюркизмах в «Слове о полку Игореве» и записях Афанасия Никитина, в рецензиях и глоссариях ко многим книгам, в сравнительных данных в якутском словаре Э. К. Пекарского, даже в небольших заметках по поводу того или иного слова. С. Е. прекрасно знал источники по лексике, иной раз самые неожиданные или совершенно забытые. На этой почве не обходилось и без забавных случаев. В период занятий ханскими ярлыками С. Е. Малову встретилось слово *курут*, которое как-то не укладывалось в общий смысл текста, и С. Е.

затруднялся придать ему то или иное значение. В таких случаях С. Е. любил задавать вопросы своим ученикам, студентам и аспирантам, выслушивать их мнение. Вопрос о *куруте* был задан мне. Я ответил, что это, наверное, известный многим тюркам сухой творог. После некоторого молчания С. Е. воскликнул: «Вот ведь А. Н. Самойлович читал, не понял этого слова, да и я не понял, а Вы объяснили. Да, конечно, это хорошо знакомое тюркам слово, и мы все его знаем, а не догадывались, странно как-то забыли!»

Когда вышла рецензия Сергея Ефимовича на издание ханских ярлыков, я с удивлением прочитал, что «асп. Э. Тенишев слово *курут* переводит „сухой творог", что подходит к смыслу текста»[1], хотя никакой необходимости в этой справке и не было: *курут* дают многие тюркские словари. Но иначе поступить С. Е. не мог, не мог не почтить «первооткрывателя» и не сослаться на источник.

С. Е. Малова очень привлекала к себе еще одна область — то, что теперь именуется теорией литературных языков. Он ясно представлял себе ее значение. И первые камни в фундамент этой теории для тюркских языков заложены им. В этой связи следует вспомнить предисловие к книге «Енисейская письменность тюрков»[2] и статью «Мир Алишер Навои в истории тюркских литератур и языков Средней и Центральной Азии»[3]. В этих работах конкретизировались и развивались идеи, только намеченные В. В. Радловым. Знание данных трудов С. Е. Малова — непременное условие для продвижения вперед в изучении динамики древних литературных языков, их роли в формировании современных литературных языков и в разграничении статуса (литературных или народно-разговорных) языков памятников.

С. Е. Малов работал и в области, называемой ныне социолингвистикой. Сюда относится статья «Тюркские языки в науке и жизни, прежде и теперь»[4]. Она ярко раскрывает расширение общественных функций литературных тюркских языков за годы Советской власти. Показать большие культурные достижения тюркоязычных народов нашей страны было проявлением высокого патриотического долга советского ученого.

У нас нет намерения модернизировать научное творчество С. Е. Малова. Но если исходить из содержания его трудов, то

---

[1] С. Е. Малов. Изучение ярлыков и восточных грамот.— Академику В. А. Гордлевскому к его 75-летию. Сборник статей. М., 1953, с. 192.

[2] С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. М.—Л., 1952, с. 4—7.

[3] С. Е. Малов. Мир Алишер Навои в истории тюркских литератур и языков Средней и Центральной Азии.— ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 6. Вып. 6. 1947, с. 475—480.

[4] НЖ. 1942, № 2—3.

нельзя проходить мимо этих областей науки, получивших терминологическое выражение только в наше время. А это свидетельствует о глубине научного мышления С. Е. Малова.

Из современных тюркских языков С. Е. Малов непосредственно занимался татарским, хакасским, шорским, чулымско-тюркским, каракалпакским, туркменским, якутским. Для сравнительных целей он привлекал материал всех современных языков, в том числе и самых редких. Неизменными помощниками его были словарь В. В. Радлова и известный труд Н. Ф. Катанова об урянхайском (тувинском) языке. Среди современных тюркских языков следует назвать те, которые потребовали особенно больших усилий С. Е. Малова. К ним относятся языки центральноазиатского ареала: новоуйгурский, сарыг-югурский и саларский.

В 90-х годах прошлого столетия В. В. Радлов выдвинул «алтайскую» гипотезу фонетической структуры древнеуйгурского языка по материалам поэмы «Кутадгу билиг». В. Томсен, изучая рифмы поэмы, пришел к выводу, что гипотеза В. В. Радлова не верна. В. В. Радлов в поисках подтверждения своей теории обратил внимание на тюркский язык части желтых уйгуров, сарыг-югуров, который был известен лишь по небольшим заметкам Г. Н. Потанина и Г. Маннергейма. В 1909 г. Русский комитет по изучению Средней и Восточной Азии по инициативе В. В. Радлова командировал С. Е. Малова для изучения языка и культуры желтых уйгуров, а также современных уйгуров и саларов.

Результаты первой двухлетней экспедиции (1909—1911) были так значительны, что В. В. Радлов командировал С. Е. Малова в те же места во второй раз — также на два года (1913—1915). Намечалась и третья экспедиция С. Е. Малова. Она не состоялась ввиду начавшейся мировой войны.

Две центральноазиатские экспедиции дали в руки С. Е. Малова огромный и очень ценный материал по языку, фольклору и этнографии до сего времени мало изученного новоуйгурского и почти совсем неизвестных сарыг-югурского и саларского языков. Подготовка и публикация собранного языкового материала длилась в течение всей жизни С. Е. Малова.

Самые большие записи были сделаны С. Е. Маловым по говорам новоуйгурского языка. С. Е. Малов производил свои записи позже Н. Ф. Катанова, поэтому, пополняя записи Н. Ф. Катанова, он смог обратить внимание на то, что ускользнуло из поля зрения Н. Ф. Катанова.

Большой материал собран С. Е. Маловым по комульскому говору, хотанскому и лобнорскому диалектам. Удалось сделать записи турфанского, кучарского, аксуйского, кашгарского говоров. Книга по хамийскому (комульскому) говору с текстами

и словарем, вышедшая в 1954 г.[5], показала, что мало известный уйгуроведам хамийский говор, вопреки утверждению Г. Е. Грум-Гржимайло, вполне понятен носителям других центральных говоров и находится на уровне не более чем говора.

Взаимное понимание носителей различных диалектов и говоров — существенный критерий при их выделении. И именно этот критерий позволяет считать, что интереснейший язык лобнорцев, которому в 1956 г. С. Е. Малов посвятил книгу[6] с текстами и глоссарием, является диалектом.

В традиционной части он стойко хранит свои исконные черты. К ним относятся: преобладание прогрессивной гармонии гласных над регрессивной; сильные лабиальная гармония гласных и ассимиляция согласных; родительный падеж, по форме совпадающий с винительным; будущее время на *-ади,* своеобразная лексика с ярко выраженным местным колоритом. Все это приводит к мысли, что в основе лобнорского диалекта лежит особый язык какой-то тюркской народности.

С. Е. Малов предположил, что лобнорский язык «есть древний разговорный язык древних киргизов»[7]. В дальнейшем этот вывод получил подтверждение и уточнение путем анализа родо-племенных названий и языка лобнорцев. С. Е. Малов прав, утверждая, что лобнорский язык, «вероятнее всего, будет больше сближаться с общеуйгурским языком и вполне сделается его наречием»[8].

Лобнорский язык, как и другие местные говоры, испытывает нивелирующее влияние уйгурского литературного языка. Его традиционная часть оттеснена на второй план и сохраняется только у старшего поколения лобнорцев. Теперь лобнорцы двуязычны: говорят на родном и уйгурском языках. Молодое поколение говорит по-уйгурски, сохраняя, однако, отдельные лобнорские элементы. Очевидно, что самостоятельный в прошлом лобнорский язык находится на пути полного превращения в диалект уйгурского языка.

Уйгурским диалектам посвящены обобщающие работы С. Е. Малова. Статья[9], вышедшая в свет в 1928 г., содержит небольшие тексты на кучарском и кашгарском говорах, одну краткую поговорку на лобнорском диалекте. В более обширной

---

[5] С. Е. Малов. Уйгурский язык. Хамийское наречие. Тексты, переводы и словарь. М.—Л., 1954.

[6] С. Е. Малов. Лобнорский язык. Тексты, переводы и словарь. Фрунзе, 1956.

[7] Там же, с. 5.

[8] Там же, с. 4.

[9] С. Е. Малов. Характеристика жителей Восточного Туркестана. — ДАН-В. 1928, № 7, с. 131—136.

статье[10] 1933 г. приводятся сведения об общих фонетических особенностях уйгурских диалектов, а как иллюстрации к ним — тексты на центральных говорах (турфанском, хамийском, кучарском, аксуйском) и окраинных диалектах (хотанском и лобнорском). Для лобнорского диалекта приводятся особо некоторые наиболее яркие фонетические и морфологические признаки.

Труд, содержащий наиболее полный материал по уйгурским говорам[11], вышел из печати в 1961 г. Бо́льшая часть книги отведена текстам на малоизвестном хотанском диалекте, остальная часть — тексты на кашгарском, аксуйском, кучарском, турфанском говорах.

Материалы С. Е. Малова по уйгурским говорам и диалектам сохраняют свое значение. Особенно ценны они еще и тем, что записаны на месте, от носителей диалектной речи — уроженцев того или иного оазиса. В своих работах С. Е. Малов повсюду употребляет термин «наречие», подразумевая под ним и язык и диалект, развивающийся в язык[12].

Без колебаний он особо выделяет только лобнорское наречие, выделяет его, конечно, на уровне диалекта. «Действительно, весьма крупные, главным образом фонетические (отчасти — морфологические и лексические) особенности заставляют, по-моему, выделить лобнорское наречие из ряда других, вообще говоря,— довольно сходных между собою, восточно-туркестанских наречий»[13],— заключает С. Е. Малов в обзорной статье по истории уйгурской диалектологии. Вывод С. Е. Малова о двучленной системе уйгурских диалектов остается неизменным[14], но хотанское «наречие» тоже привлекает его внимание своими самобытными чертами[15].

В середине 60-х годов развернулось большое по масштабу обследование уйгурских диалектов, в котором принял участие и автор данной статьи. Хотанское «наречие» пришлось перевести в ранг диалекта — он хранит в себе явные черты древнеуйгурского языка: часто употребляется аллофон *ы*, прошедшее категорическое время образуется аффиксами с широкими негубными гласными, наличествуют форма состояния на *-гулук*,

---

[10] С. Е. Малов. Материалы по уйгурским наречиям Син-Дзяна.— Сергею Федоровичу Ольденбургу к 50-летию научно-общественной деятельности. 1882—1932. Л., 1934, с. 307—322.

[11] С. Е. Малов. Уйгурские наречия Синьцзяна. Тексты, переводы, словарь. М., 1961.

[12] С. Е. Малов. Уйгурский язык. Хамийское наречие, с. 5—7.

[13] С. Е. Малов. Изучение живых турецких наречий Западного Китая.— ВЗ. Т. 1. 1927, с. 170; он же. Язык желтых уйгуров. Словарь и грамматика. А.-А., 1957, с. 7.

[14] С. Е. Малов. Лобнорский язык, с. 3.

[15] С. Е. Малов. Уйгурские наречия Синьцзяна, с. 3.

-иглик, *-гак*, форма смягченного повеления на *-гашто* и др. Иными словами, генезис хотанского диалекта следовало объяснять консервацией древних черт языка.

Предложенная нами в 1957 г. трехчленная система уйгурских диалектов, в основе которой лежат указанные выводы С. Е. Малова, полностью подтвердилась в ходе обследования большой экспедицией и затем была включена во всякого рода справочники и пособия, получила отражение в работах уйгуроведов.

У желтых уйгуров С. Е. Малов был немногим более года. У тюркоязычной их части (сарыг-югуров) им записан большой лингвистический и фольклорный материал. Продолжительное пребывание у степных сарыг-югуров позволило им близко узнать С. Е. Малова. Народная память все еще хранит теплое чувство к нашему замечательному ученому-гуманисту. По языку сарыг-югуров С. Е. Маловым опубликованы две книги под одним и тем же названием «Язык желтых уйгуров». Одна из книг — словарь и небольшая грамматика [16], другая — собрание текстов в академической транскрипции с переводами [17]. Из 213 номеров записей 32 номера содержат тексты, отражающие своеобразие согласных. Следует заметить, что существует в рукописном виде латинская транскрипция тех же текстов с точной передачей согласных всех текстов. Ценность этой рукописи для науки очевидна.

С. Е. Малов, первый исследователь языка сарыг-югуров, указал его особенности: наличие *з* в середине имен и конце глагольных основ, систему сильных с придыханием и слабых смычных и аффрикат, старую систему числительных от 11 до 29, двойное склонение имен и безличное спряжение глаголов.

Исследование сарыг-югурского языка привело С. Е. Малова к выводу, который он формулирует следующим образом: «...язык желтых уйгуров трудно считать уйгурским, поскольку мы знаем и разговорный уйгурский язык (Синьцзяна) и письменный (обширной, главным образом буддийской, литературы), а он представляет собой или окиргизившийся в давнее время (какой-то) уйгурский язык, или совсем другой язык» [18]. Иными словами, это самостоятельный язык тюркской системы — заключение, истинность которого не вызывает никаких сомнений.

Заслуживает внимания и поддержки и другое соображение С. Е. Малова — взгляд на языки сарыг-югуров и лобнорцев как на два хронологически разных состояния древнекиргизского языка. Материалы по языку кыргызов уезда Фуюй (КНР) подкрепляют вероятность такого предположения.

---

[16] С. Е. Малов. Язык желтых уйгуров. Словарь и грамматика.
[17] С. Е. Малов. Язык желтых уйгуров. Тексты и переводы. М., 1967.
[18] С. Е. Малов. Язык желтых уйгуров. Словарь и грамматика, с. 7.

Саларов С. Е. Малов смог посетить только на короткий срок и сделать сравнительно небольшие записи (они занимают одну тонкую тетрадь). С. Е. Малов признал, что саларский язык изучен им недостаточно[19].

Для саларского языка, как и для сарыг-югурского, характерны система сильных с придыханием и слабых смычных и аффрикат и отсутствие личного спряжения глагола.

Эти общие черты двух языков не генетического порядка, а ареальные, сложившиеся в результате воздействия одного и того же языка нетюркской системы.

По поводу саларского языка С. Е. Малов, пользуясь записанным материалом, делает такое заключение: «...следовало считать совершенно неверным зачисление проф. А. Н. Самойловичем саларского наречия в уйгурскую (северо-восточную) группу. По-моему, это наречие следует отнести (с некоторыми оговорками) к кыпчакско-туркменской (средней) группе»[20]. В своей классификации С. Е. Малов поместил оба языка на положении самостоятельных языков тюркской семьи: сарыг-югурский — в группе древнейших, саларский — в группе новых[21]. Если бы уйгуроведы чаще заглядывали в работы С. Е. Малова, отпала бы необходимость придумывать всякого рода «изолированные диалекты», «ближайшие родственные» диалекты уйгурского языка.

Заслуги С. Е. Малова в исследовании современных тюркских языков велики. Это целый этап в истории советского и мирового тюркского языкознания.

С. Е. Малову как ученому были свойственны необычайная широта интересов, глубокое проникновение в суть явлений. Он по праву заслужил звание «мастера тщательно отделанной миниатюры, поражающей блеском и тонкостью своей работы»[22]. Для стиля работы С. Е. Малова характерны строгость освещения факта и постоянный поиск новых путей исследования, что он завещал молодым поколениям ученых в статье «Культивируй мозг».

«Каждый настоящий ученый привносит в свою специальность нечто ценное, нечто свое, что движет его науку все дальше и дальше»[23], — писал С. Е. Малов о В. А. Богородицком. Эти слова в полной мере относятся и к самому С. Е. Малову.

---

[19] С. Е. Малов. Изучение живых турецких наречий Западного Китая, с. 171.

[20] Там же.

[21] С. Е. Малов. Древние и новые языки.— ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 11. Вып. 2. 1952, с. 142.

[22] Е. И. Убрятова. О научной и общественной деятельности Сергея Ефимовича Малова.— Тюркологический сборник. 1. М.—Л., 1951, с. 17.

[23] С. Е. Малов. Памяти проф. В. А. Богородицкого.— НЖ. 1942, № 2—3, с. 50.

Ф. Д. Ашнин

ПЕРВАЯ ПЕЧАТНАЯ НАУЧНАЯ ГРАММАТИКА АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Проблема авторства

Цель настоящего этюда — показать, какими запутанными оказываются порой пути, по которым приходится идти исследователю в поисках ответа на вопрос об авторе или составителе той или иной грамматики или словаря, если титульный лист не содержит таких сведений.

В этом отношении показательна история установления авторов классического грамматического сочинения, известного всем тюркологам под названием: Грамматика алтайского языка. Составлена членами алтайской миссии. Казань, Унив. тип., 1869, III, VIII, 289+298 стр. (В обиходе она часто именуется Алтайской грамматикой.) Здесь все дело в том, что вопрос — кто подразумевается под «членами алтайской миссии» — решался и решается разными учеными по-разному и до сих пор остается, по существу, открытым. Между тем высокая научная ценность этой грамматики и ее большое влияние на развитие лингвистической тюркологической мысли в России давно побуждают найти по возможности исчерпывающий ответ на вопрос об авторе путем внимательного прочтения старой литературы и обращения к архивным материалам.

Для начала дадим сводку основных мнений, высказанных на этот счет. По чисто практическим соображениям лучше всего изложить эти мнения в условно хронологическом порядке — с учетом степени давности приобщения к алтайской миссии хотя бы одного из называемых исследователями возможных составителей Грамматики 1869 г. Это избавит нас от бесконечного и утомительного перечисления имен, дат и источников, но не помешает нам при случае совершить лингвистический экскурс в историю алтайской духовной миссии, начало которой было положено указом синода от 24 декабря 1828 г. по старому стилю. Напомним еще для удобства, кто и когда возглавлял миссию

в течение всего интересующего нас периода. Это архим. Макарий Глухарёв: 1830—1843; протоиерей С. В. Ландышев: 1844—1865; архим. Владимир Петров: 1865—1883; архим. Макарий Невский: 1884 — июнь 1891; епископ Владимир Синьковский: июнь 1891—1893.

Принятый нами принцип изложения обязывает нас привести прежде всего мнение известного востоковеда и энциклопедиста акад. А. Е. Крымского (1871—1942): «Вскоре (после первого тома радловских „Образцов народной литературы тюркских племен“, 1866 г.— *Ф. А.*) появилась миссионерская очень хорошая „Грамматика алтайского языка, составленная членами алтайской миссии“ (Каз. 1869, 289 с.). Главным автором, или составителем, был Н. Ильминский, а материалы собирал покойный архим. Макарий (Глухарёв, ум. 1847), основатель алтайской духовной миссии, и о. В. Вербицкий» [1].

С. Е. Малов (1880—1957) уточнил: «В 1869 г. вышла книга: „Грамматика алтайского языка“ (составлена членами Алтайской миссии, Казань). Грамматика эта является трудом многих лиц. Начата она была Ст. В. Ландышевым, главное же авторство принадлежит В. И. Вербицкому. В окончательном оформлении и редакции грамматики принимали участие: члены миссии иеромонах Макарий, проф. А. К. Казем-бек, а главным образом проф. Н. И. Ильминский» [2].

О. И. Прицак (р. 1919) обобщил: «Почти одновременно с радловским томом текстов вышла в 1869 г. „Грамматика алтайского языка“, составленная членами алтайской православной миссии. Это произведение, считающееся — прежде всего в трактовке синтаксиса (с. 112—285) — одной из лучших грамматик по тюркским языкам, является продуктом коллективного творчества. Сбор материалов начал второй руководитель алтайской миссии С. Ландышев (1843—1865), главным же составителем был миссионер В. И. Вербицкий (1827—1890), а редакторами были тюркологи А. М. Казем-бек (1802—1870) и прежде всего Н. И. Ильминский (1822—1891)» [3].

Специалист по алтайскому языку и алтаец по происхождению В. Н. Тадыкин (р. 1934) в специальной статье, посвященной 100-летию Алтайской грамматики, занял компромиссную позицию: упомянув имя первого начальника миссии архим.

---

[1] А. Кримський. Тюрки, їх мови та літератури. 1. Тюркські мови. Вип. 2. Київ, 1930, с. 175; Перепеч. в кн.: А. Ю. Кримський. Твори в п'яти томах. Т. 4. Сходознавство. Київ, 1974, с. 537 (разрядка А. Е. Крымского).

[2] См.: С. Е. Малов. Предисловие.— Н. П. Дыренкова. Грамматика ойротского языка. М.—Л., 1940, с. 9.

[3] O. Pritsak. Das Altaitürkische.— PhTF. Bd 1. 1959, с. 572.

Макария Глухарёва, он тут же назвал Ландышева, Вербицкого, Казем-бека и Ильминского как непосредственно причастных к созданию Грамматики, а затем подчеркнул, что «наиболее серьезным исследователем алтайцев из миссионеров <...> был В. И. Вербицкий», что «В. И. Бербицкий — главный автор „Грамматики алтайского языка“», что «основную работу над „Грамматикой“ проделал в 60-х годах прошлого века В. И. Вербицкий» и что «„Грамматика алтайского языка“ Вербицкого охватывает все три традиционные разделы языка: фонетику <...>, морфологию <...>, синтаксис»[4]. При такой аттестации Вербицкого как лингвиста остается только удивляться, зачем же ему понадобилось «активное участие» сразу двух редакторов «в окончательном оформлении» Грамматики. Принятый В. Н. Тадыкиным критерий определения авторства Грамматики с логической неизбежностью должен был привести и привел его к тому, чтобы поставить Вербицкого-лингвиста в один ряд с Радловым: «Так, в связи с именами В. И. Вербицкого и В. В. Радлова, алтайский язык стал одним из первых тюркских языков, ставших объектом научного исследования»[5].

Такая расширительная трактовка проблемы авторства «Грамматики алтайского языка» встречается скорее как исключение и крайность. Чаще можно встретить высказывания в пользу более узкого круга авторов. При этом нельзя не заметить, что сужение или расширение этого круга, предпочтение одного автора другому редко основываются на документах. Как правило, такие мнения варьируются в зависимости от сложившейся традиции [в определенной части идущей от А. А. Ивановского (1866—1934) [6]], от знания общетюркологических и общелингвистических возможностей предполагаемых составителей Алтайской грамматики или по соображениям этического свойства.

В. В. Бартольд (1869—1930) в статье «Востоковедение» среди некогда бедной литературы по отдельным тюркским языкам указал со всей определенностью историка науки: «...„Грамматика алтайского языка“ (Казань, 1869; авторы — Н. И. Ильминский и о. Макарий)»[7].

---

[4] См.: В. Н. Тадыкин. К 100-летию «Грамматики алтайского языка».— «Уч. зап. Горно-Алтайского НИИЯЛ». 1970, вып. 9, с. 124.

[5] Там же, с. 125.

[6] А. А. Ивановский. Алтайский миссионер протоиерей В. И. Вербицкий.— «Этнографическое обозрение». Кн. 8. № 1. М., 1891, с. 178. Отметим попутно явную контаминацию в указателе Р. Лёвенталя в записи под № 1525*: «Verbitskii V. I. Grammatika altaiskogo iazyka, sostavlena chlenami Altaiskoi missii... Kazan (Univ.), 1869. VIII. 298 p.— Contains Russian-Altai and Altai-Russian dictionary» (R. Loewenthal. The Turkic Languages and Literatures of Central Asia. A Bibliography. 's-Gravenhage, 1957, c. 141).

[7] См.: В. В. Бартольд. Востоковедение. — Энциклопедический сло-

Н. К. Дмитриев (1898—1954) высказался с большой осмотрительностью: некоторые из русских миссионеров «обладали очень хорошими познаниями по части тюркологии, как, например, проф. Н. И. Ильминский, Вербицкий и др. Оба последних составили классическую книгу „Грамматика алтайского языка“»[8].

Л. П. Потапов (р. 1905) существенно сместил акценты: «В. Вербицким была составлена большая грамматика алтайского языка, сохранившая научное значение до наших дней. К работе по усовершенствованию и редактированию грамматики был привлечен Н. И. Ильминский <...>. Издание грамматики было предпринято архимандритом Владимиром»[9].

Одновременно наблюдались и до сих пор наблюдаются более или менее категорические высказывания в пользу единоличного авторства. Так, Н. А. Баскаков (р. 1905) весьма последовательно проводит идею о Вербицком как основном (а затем и единственном) авторе Грамматики: начав в 1958 г. (вслед за Л. П. Потаповым?) с утверждения, что Вербицкий — наиболее крупный и просвещенный алтайский миссионер и основной автор «Грамматики алтайского языка», Н. А. Баскаков повторяет это неоднократно[10].

варь Брокгауза и Ефрона. Т. 28 (=55-й полутом). СПб., 1899, с. 812. Сходную трактовку авторства дал в своих воспоминаниях о Н. И. Ильминском известный просветитель чувашского народа И. Я. Яковлев (1848—1930), с 1870 г. близко знавший его: «Ильминский вместе с Макарием (главным образом Николай Иванович) написали грамматику алтайского языка» (Архив ЧувНИИ, отд. II, ед. хр. 523, инв. № 1507, л. 4/221).

[8] Н. К. Дмитриев. Труды русских ученых в области тюркологии.— Роль русской науки в развитии мировой науки и культуры. Т. 3. Кн. 2. М., 1946 («Уч. зап. МГУ». Вып. 107), с. 64—65 (разрядка Н. К. Дмитриева). По-видимому, ученый вполне сознательно ввел «и др.», сочтя нецелесообразным называть того или тех, кто подразумевался под «др.». Такое допущение делает понятным некоторое нарушение логической связи между этим «и др.» и последующими «оба последних». Как бы то ни было, формально названы только два автора.

[9] Л. П. Потапов. Очерки по истории алтайцев. М.—Л., 1953, с. 247. И. И. Ястребов (1867—?), биограф Владимира Петрова, также отмечал, что «Грамматика алтайского языка» была составлена и напечатана «по указанию о. Владимира», о чем см. «Православный собеседник» (далее — ПС). Казань, 1898, июнь, с. 652.

[10] Н. А. Баскаков. К истории изучения алтайского языка.— «Уч. зап. Горно-Алтайского НИИЯЛ». 1958, вып. 2, с. 28—29 (впрочем, уже тогда в подстрочном примечании на с. 29 Н. А. Баскаков был склонен признать за Вербицким единоличное авторство характерной ссылкой: «его же. Грамматика алтайского языка. Казань, 1869, составлена членами Алтайской миссии»). См. еще: Н. А. Баскаков. Тюркские языки Южной Сибири.— Младописьменные языки народов СССР. Сборник статей. М.—Л., 1959, с. 145, прим. 13; он же. О проекте программы кандидатского минимума по тюркскому языкознанию для аспирантов.— СТ. 1972, № 4, с. 86. В этой последней работе уже запросто говорится о Вербицком и его (sic!) Алтайской грамматике. Может быть, небесполезно в связи с этим напомнить,

что и сам «Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка» (Казань, 1884), единодушно связываемый всеми специалистами с именем одного Вербицкого, редактировался и совершенствовался при помощи носителей различных диалектов Алтая Н. И. Ильминским, как в этом легко убедиться, прочитав, например, письмо Ильминского к Макарию Невскому от мая 1887 г., опубликованное в кн.: П. В. Знаменский. Несколько материалов для истории алтайской миссии и участия в ее делах Н. И. Ильминского. Казань, 1901, с. 60. Разумеется, участие Н. И. Ильминского в издании Словаря В. И. Вербицкого не афишировалось, хотя и не составляло секрета. По крайней мере В. В. Радлов, приступая к изданию своего «Опыта словаря тюркских наречий», в письме к Н. И. Ильминскому от 15 января 1888 г. просил последнего прислать ему отпечатанные листы Словаря Вербицкого, прямо указывая: «который печатается под Вашим надзором» (ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 42, л. 3—4).

Поскольку другие тюркологи на единоличном авторстве В. И. Вербицкого, как правило, не настаивают и ограничиваются лишь повторением мнений предшественников, представляется уместным высказать здесь одну догадку. Можно полагать, что повод думать о В. И. Вербицком как главном и чуть ли не единственном авторе «Грамматики алтайского языка» дали акад. А. Н. Самойлович (1880—1938) и проф. А. М. Сухотин (1888—1942). Действительно, А. Н. Самойлович в статье «Женские слова у алтайских турков» (Язык и литература. Т. 3. Л., 1929, с. 221) обронил фразу: «Заложивший вместе с Вербицким прочный фундамент изучения языка и быта алтайских турков, В. В. Радлов не уделил достаточного внимания вопросу об особом лексиконе у них». Но совершенно очевидно, что в данном случае имелись в виду в первую очередь заслуги В. И. Вербицкого в области алтайской этнографии, где с ним соперничал только великий Радлов. Что же касается вопроса об истинном авторе классической «Грамматики алтайского языка», то, как мы увидим позже, ответ на него был для А. Н. Самойловича предельно ясен, и его интересная во многих отношениях поездка на Алтай в 1927 г. не могла поколебать твердого убеждения, сложившегося на этот счет еще в начале века.

А. М. Сухотин в статье «К проблеме национально-лингвистического районирования в Южной Сибири» (Культура и письменность Востока. Кн. 7—8. М., 1931, с. 101) также опирается на В. И. Вербицкого как одного из своих предшественников, когда пишет: «Наибольшее количество эмпирически добытых данных о схождениях и расхождениях тюрко-татарских наречий южной Сибири можно почерпнуть из работ алтайских миссионеров, в частности Вербицкого». Но подстрочное примечание к этому предложению не оставляет сомнения в том, что этот разносторонний ученый здесь, как всегда, точен: «Грамматика алтайского языка. Составлена членами алтайской миссии. Каз[ань] 1869.— В. Вербицкий. Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка. Каз[ань] 1884.— Алтайские инородцы. Сборник этнографических статей и исследований В. И. Вербицкого. М., 1893 (посм.)», т. е. он отнес к В. И. Вербицкому только то, что по праву принадлежит ему, и никому больше. В этом нас убеждает и то, как пришел ученый к такому заключению. Посланный летом 1929 г. Институтом этнических и национальных культур народов Востока на Алтай для «собирания лингвистических материалов по алтайским говорам», А. М. Сухотин постарался разобраться в лингвистической ситуации в целом, чтобы дать ВЦКНА обоснованные рекомендации о целесообразности создания двух литературных языков для тюркских племен Южной Сибири. С этой целью ученый близко познакомился с наличной литературой вопроса (лингвистической, этнографической и статистической), перезнакомился с многими видными алтайцами — выходцами из разных районов края, внимательно вслушиваясь в их речь и тщательно сверяя свои наблюдения с данными, извлеченными из научной литературы, и в конечном счете пришел к выводу, что наиболее полно и точно описывает строй алтайского языка коллективная миссионерская «Грамматика ал-

С другой стороны, нам известны только два случая, когда специалисты приписали авторство «Грамматики алтайского языка» одному иером. Макарию. Это сделали авторитетные тюркологи Н. Ф. Катанов (1862—1922) [11] и Жан Дени (1879—1963), причем у последнего как во французском оригинале Грамматики [12], так и в ее турецком переводе [13] «Грамматика алтайского языка» подана в списке литературы на Макария (Makari) и сопровождается оговоркой: «составлена членами алтайской миссии». Но разобраться в истоках этой ошибки не так уж трудно.

Наконец, можно назвать также ученых, которых трудно заподозрить в незнании истории науки и которые, однако, единодушно считают наиболее вероятным автором классической «Грамматики алтайского языка» 1869 г. известного ориенталиста Н. И. Ильминского. Так, П. М. Мелиоранский (1868—1906), один из самых проницательных отечественных тюркологов и ближайший научный последователь Н. И. Ильминского, писал, что автор «Грамматики алтайского языка» отличался особенным даром проникновения в строй тюркских языков, и, предсказывая долгую жизнь «его прекрасной грамматике», снабдил эти строки знаменательным подстрочным примечанием: «Как известно, главная заслуга в деле составления ее принадлежит известному знатоку турецкого языка Н. И. Ильминскому» [14]. Вслед за своим учителем П. М. Мелиоранским систематически обращался к «Грамматике алтайского языка» уже в первой своей научной работе, «Опыт лингвистического исследования текинского говора туркменского диалекта» [15] (1903), А. Н. Самойлович, делая ссылки типа: такая-то форма, по

тайского языка», «заключающая в себе бездну премудрости», и, судя по дневнику, вменил себе в обязанность тотчас по возвращении в Москву навести справки о составителях этой Грамматики в среде тогдашнего столичного духовенства, назвав при этом даже место возможного пребывания потомков алтайских миссионеров. К сожалению, осталось неизвестным, что именно удалось установить А. М. Сухотину. Но одно остается бесспорным: высоко ценя исследовательскую точность, А. М. Сухотин не мог погрешить против истины и, под свежим впечатлением от недавней кончины бывшего иеромонаха Макария, предпочел оставить вопрос об авторах Алтайской грамматики открытым.

[11] Н. Ф. Катанов. Опыт исследования урянхайского языка с указанием главнейших родственных отношений его к другим языкам тюркского корня. Казань, 1903, с. XX.

[12] J. Deny. Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli). P., 1921 (на обл.: 1920), с. XVII и XX.

[13] J. Deny. Türk dili grameri (osmanlı lehçesi). Tercüme eden: A. U. Elöve. İstanbul, 1941, с. X и XII—XIII.

[14] П. М. Мелиоранский. Краткая грамматика казак-киргизского языка. Ч. 2. Синтаксис. СПб., 1897, с. VI.

[15] Рукопись хранится в Ленинграде в ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 671, ед. хр. № 129 (6 общих тетрадей).

мнению Н. И. Ильминского, состоит из таких-то элементов. В. А. Гордлевский (1876—1956), который читал специальный курс «История тюркологии» (например, для аспирантов в Иннарвосе) [16], отмечал, что Н. И. Ильминский был одним из главных авторов «Грамматики алтайского языка», добавляя при этом: «Как-никак после Ильминского Ашмарину легко уже было разработать и углубить синтаксис чувашского языка...» [17]. Но, пожалуй, с наибольшей определенностью высказался по этому вопросу Е. Д. Поливанов (1891—1938), отметивший в статье «Историческое языкознание и языковая политика» крайнюю малочисленность в дореволюционной России русских исследований по «инородческим» языкам и самих исследователей, среди которых он выделил акад. В. В. Радлова, бар. П. К. Услара (1816—1875) и проф. Н. И. Ильминского, «давшего на редкость превосходную грамматику алтайского языка» (в сноске характерное добавление: «Вышла в свет она, однако, без имени автора») [18]. В сущности, этой же точки зрения держится и проф. Н. Н. Поппе, полагающий Н. И. Ильминского «наиболее вероятным автором Алтайской грамматики» [19].

Теперь мы можем подвести итог высказываниям об авторстве «Грамматики алтайского языка». К числу авторов Грамматики при самом либеральном, некритическом подходе могли бы быть отнесены: Макарий Глухарёв, С. В. Ландышев, В. И. Вербицкий, А. К. Казем-бек, Владимир Петров, Макарий Невский и Н. И. Ильминский. Кто же из них имеет прямое отношение к составлению «Грамматики алтайского языка»? Сделаем краткий анализ доводов разных ученых в пользу авторства каждого из семерых названных лиц, не пренебрегая при этом и возможными их собственными показаниями.

Первый начальник миссии (1830—1843), архим. Макарий Глухарёв [30.X.(10.XI).1792—17(29).V.1847] [20], в принципе мог бы стать автором Грамматики: ученик акад. Г. П. Павского (1787—1863), магистр богословия Макарий Глухарёв имел не только прямое предписание духовного начальства, «обращаясь между инородцами <...>, учиться языку их и узна-

[16] См.: Р. [О.] Ш[ор]. Научно-исследовательский институт этнических и национальных культур народов Востока СССР.— «Этнография». М.—Л., 1927, № 1, с. 204. См. также: ААН СССР, ф. 677, оп. 1, д. 12, л. 4.

[17] В. А. Гордлевский. Памяти Н. И. Ашмарина.— Избранные сочинения. Т. 4. М., 1968, с. 435.

[18] См.: Е. Д. Поливанов. За марксистское языкознание. (Сборник популярных лингвистических статей). М., 1931, с. 22.

[19] См.: N. Рорре. Introduction to Altai Linguistics (Ural-Altaische Bibliothek. XIV). Wiesbaden, 1965, с. 104.

[20] См. краткую биографию Глухарёва в кн.: Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. Под ред. и с введением А. Н. Кононова. М., 1974, с. 147—148.

вать обычаи и веру их», а по достижении «достаточного познания языка их переводить им на оный книги священного писания»[21], но у него был также явный вкус к изучению языков (хорошо знал немецкий, французский, латинский, греческий и древнееврейский). Однако, поспешив открыть в 1830 г. «действия алтайской духовной миссии», этот проповедник par excellence не имел ни малейшего представления о языке своей будущей паствы и почти во всех случаях вынужден был «действовать» через толмачей. Поэтому, как пишет В. И. Вербицкий, «основатель миссии ревностно занялся собиранием слов и речений алтайского языка. Но первые опыты по этому предмету сам же назвал „сумою нищего"»[22], в которой были «добычи в знакомстве с различными наречиями, употребляемыми в различных племенах инородцев <...>. Из всех наречий, которые хотя и сродны между собою, но отличаются одно от другого, надлежало избрать более употребительное <...> и, таким образом, изучая одно, знакомиться мало-помалу и с другими»[23]. Таким опорным наречием Макарий Глухарёв избрал телеутское, на которое и переводил веро- и нравоучительные книги[24]. Эти переводы составили «огромные тетради» и «легли в основу дальнейших переводческих трудов алтайской миссии»[25]. Но для нас важно констатировать другое: увлеченный этими занятиями и поглощенный заботами о миссии в целом (в частности, постоянными поисками благотворителей и обширной перепиской с ними), Макарий Глухарёв не мог уделить достаточного внимания составлению Грамматики. Правда, в его письме митрополиту Филарету [Дроздову] (1783—1867) от 29 декабря 1841 г. есть одно крайне неопределенное свидетельство о телеутской азбуке[26], но оно явно из области несбывшихся планов

---

[21] Об этом см.: В. И. Вербицкий. Очерк деятельности алтайской духовной миссии по случаю пятидесятилетнего ее юбилея (1830—1880).— Памятная книжка Томской губернии 1885 года. Томск, 1885, с. 171.

[22] Там же, с. 215. По-видимому, это собирание «слов и речений» и имел в виду А. Е. Крымский, когда писал: «...а матер'яли призбирав покійний архим. Макарій» (см. выше, прим. 1).

[23] Там же. Приведенная нами в сокращенном виде цитата из статьи Вербицкого представляет собой извлечение из записок архим. Макария Глухарёва от июня 1832 г., когда он приобрел наконец постоянного толмача из природных алтайцев и смог приступить к некоторому упорядочению собранного им материала и к переводам духовных книг, к чему он более всего был расположен.

[24] Перечень переводов см.: К. В. Харлампович. Архимандрит Макарий Глухарёв. (Биографический очерк).— Письма архимандрита Макария Глухарёва, основателя алтайской миссии. С биографическим очерком, портретами... Под ред. К. В. Харламповича. Казань, 1905, с. 25.

[25] Там же.

[26] См.: К. В. Харлампович. Письма архимандрита Макария Глухарёва..., с. 151—152; он же. Архимандрит Макарий Глухарёв. По поводу 75-летия алтайской миссии. СПб., 1905, с. 127.

Глухарёва: из письма к Филарету «не видно ни того, была ли это азбука телеутского наречия или по-телеутски изложенная азбука русского языка, ни того, была ли она закончена. Впоследствии при составлении алтайской грамматики об этом труде не упоминалось»[27]. И неудивительно, ибо основателю миссии просто-напросто не хватило времени для составления Грамматики: ведь только весной 1840 г. во время своей последней поездки на Алтай Макарий удосужился прослушать в Казанском университете благодаря любезности тогдашнего ректора Н. И. Лобачевского двухмесячный курс лекций по классам татарского и монгольского языков у профессоров А. К. Казем-бека, О. М. Ковалевского (1801—1878) и А. В. Попова (1808—1880)[28], но мы «не имеем данных судить о том, что принесло Макарию и его спутникам слушание монгольского и татарского языков»[29]. А 25 декабря 1842 г. архим. Макарий, «утомленный трудами и болезнями», отправил в синод прошение об отставке, которое 4 октября 1843 г. было удовлетворено. 4 июля 1844 г. он оставил миссию.

Второй начальник миссии (1844—1865), прот. Степан (Стефан) Васильевич Ландышев [1817—25.XII.1882 (6.I.1883)][30], прослуживший в миссии в общей сложности 46 лет, менее других был способен дерзнуть на составление Алтайской грамматики: определившийся в миссию послушником в 1836 г., этот сын дьячка Нижегородской губернии окончил к моменту отъезда в Томск к ссыльному отцу только средние классы семинарии, а экзамены за полный курс семинарии сдал лишь накануне вступления в должность начальника миссии. Естественно, что он с трудом справлялся с общемиссионерскими обязанно-

---

[27] К. В. Харлампович. Архимандрит Макарий Глухарёв, с. 127—128. По-видимому, явно преувеличенными следует считать также указания К. В. Харламповича (см. предваряющий «Письма архимандрита Макария Глухарёва» биографический очерк, с. 25), что архим. Макарием был составлен сравнительный словарь алтайских наречий: В. И. Вербицкий в своем обстоятельном «Очерке деятельности алтайской духовной миссии по случаю пятидесятилетнего ее юбилея» признавал в числе трудов основателя миссии лишь «Краткий лексикон до 300 слов».

[28] См.: К. В. Харлампович. Архим. Макарий Глухарёв, основатель миссии, и его пребывание в Казани в 1840 г.— ПС. 1904, февр., с. 216.

[29] Там же, с. 225. Ср. показания самого Макария в письме от 26 сентября 1840 г.: «...мы в Казани до праздника Пасхи учились книжному татарскому языку, имеющему Словарь и Грамматику, надеясь, что знакомство это поможет нам в благопотребном для дела Божия изучении безграмотных (чит.: бесписьменных) алтайских языков, которые все татарской породы» (см.: Письма архимандрита Макария Глухарёва... Под ред. К. В. Харламповича. Казань, 1905, с. 369).

[30] Отправные данные о С. В. Ландышеве можно почерпнуть в кн.: С. А. Венгеров. Источники Словаря русских писателей. Т. 3. Пг., 1914 с. 390—391.

стями начальника. Во всяком случае, повседневные обременительные обязанности протоиерея при отсутствии глухаревской общеобразовательной и лингвистической подготовки нельзя назвать идеальными для создания Грамматики. И действительно, подводя итоги деяниям миссии в 1864 г., С. В. Ландышев сам показал, как далеко еще было до рождения Алтайской грамматики: «Составляется: 1) Сравнительный лексикон алтайских татарско-калмыцких наречий с языком тобольских татар, по словарю Гиганова, и 2) Грамматика сих наречий»[31]. В написанном В. И. Вербицким пространном некрологе С. В. Ландышева нет ни полслова о грамматике алтайских татарско-калмыцких наречий[32].

Третий начальник миссии (1865—1883), архим. Владимир (в миру Иван Степанович Петров) [29.V(10.VI). 1828—2(14).IX.1897], окончил в 1853 г. Киевскую духовную академию, но любовью к изучению языков не отличался и ничего интересного для нас из печатного не оставил[33]. На время начальствования архим. Владимира пришелся выход в свет «Грамматики алтайского языка», но нам трудно согласиться с мнением И. И. Ястребова[34], который связал это событие с инициативой и указаниями архим. Владимира, ибо инициатива принадлежит другому лицу, а руководящие указания о. Владимира своею некомпетентностью и неуместностью скорее мешали, нежели способствовали созданию Грамматики, в чем мы скоро убедимся.

Профессор С.-Петербургского университета А. К. Казем-бек (1802—1870)[35] прямого отношения к составлению «Грамматики алтайского языка» не имел. По долгу цензора изданий вероучительных книг на алтайском языке он представлял в синод свои замечания на первоначальный вариант Грамматики, которые, однако, не были приняты составителем, вследствие чего рецензент напрочь отпал и как редактор будущей Алтайской грамматики. И то и другое совершенно неоспоримо и вытекает из отношения хозяйственного управления при синоде от 23 июня 1867 г. и приложения к нему[36].

---

[31] С. В. Ландышев. Алтайская духовная миссия. М., 1864, с. 7, прим. 7.

[32] В. И. Вербицкий. Памяти миссионера протоиерея Стефана Васильевича Ландышева.— «Томские епархиальные ведомости» (далее — ТЕВ). 1884, № 14—18 (неофиц. часть).

[33] См. перечень печатных работ в статье: «Владимир (Петров)» в «Православной богословской энциклопедии». Пг., 1902, с. 577—578.

[34] И. И. Ястребов. Миссионер... Владимир...— ПС. 1898, июнь, с. 652.

[35] См.: Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов, с. 175—178.

[36] ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 12, л. 1—3.

Что же касается В. И. Вербицкого[37], Макария Невского и Н. И. Ильминского[38], то все они имеют прямое отношение к выходу в свет «Грамматики алтайского языка». Публикации П. В. Знаменского (1836—1917)[39] и К. В. Харламповича (1870—1932)[40], а также некоторые другие данные, включая архивные документы, позволяют с большой долей уверенности полагать, что мысль о составлении пособия по алтайскому языку подал В. И. Вербицкому и снабдил его совершенно необходимыми на первых порах материалами Н. И. Ильминский, который в своей первой актовой речи в Казанском университете[41] призвал научное языкознание протянуть руку помощи природным знатокам инородцев и у которого уже был известный опыт такого рода[42]. Вернувшийся из Оренбургской пограничной комиссии с богатым материалом по казахскому языку и фольклору Ильминский-лингвист в течение десятилетия еще преобладал над Ильминским-педагогом. Живейший интерес к теоретическому изучению дотоле неизвестных науке языков побуждал его к приисканию на обширных просторах Сибири возможных авторов, способных приняться за научное изучение языков и нуждающихся только в руководительстве. Достоверно известно, что в 1863 г. Н. И. Ильминский послал Вербицкому свой «Букварь для крещеных татар» (Казань, 1862), а вслед за тем свой рукописный «Очерк татарского языка», «Грамматику монгольско-калмыцкого языка» А. А. Бобровникова (1821—1865) 1849 г., «Черную веру» Доржи Банзарова (1822—1855) 1846 г., свои «Материалы к изучению киргизского наречия» и «Материалы для джагатайского спряжения»[43]. Проезжавшему в начале 1866 г. через Казань из Петербурга на Алтай новому начальнику миссии, архим. Владимиру, во время встречи с Н. И. Ильминским оставалось только согласиться с

[37] См.: Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов, с. 137—138.

[38] Там же, с. 168—170.

[39] П. В. Знаменский. Несколько материалов для истории алтайской миссии.

[40] К. В. Харлампович. Н. И. Ильминский и алтайская миссия. Казань, 1905.

[41] Н. И. Ильминский. Вступительное чтение в курс турецко-татарского языка.— «Уч. зап. Казанского ун-та». 1861, кн. 3, с. 1—59.

[42] В 1855 г. Н. И. Ильминский своими советами приохотил Д. В. Хитрова (1818—1896) к составлению грамматики якутского языка, вышедшей в свет в 1858 г. Автор этих строк располагает фотокопией черновика письма Ильминского к Хитрову. Черновик хранится в ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 80, л. 3—4.

[43] Возможно, эта неожиданная помощь со стороны и надежда на бескорыстное и компетентное руководство делом составления пособия по алтайскому языку дало тогдашнему начальнику миссии право написать в 1864 г.: «составляется <...> Лексикон <...> и Грамматика» (см. выше, прим. 31).

планами обзаведения пособием по грамматике языка, при посредстве которого ему предстояло общаться с коренным населением Алтая. Более того, вскоре по прибытии в Улалу архим. Владимир обратился к обер-прокурору синода Д. А. Толстому (1823—1889) с просьбой возложить на Н. И. Ильминского редактирование Грамматики, даже не списавшись предварительно с последним и совершенно не представляя себе, как далеко ей было до того, чтобы именоваться грамматикой[44].

Между тем В. И. Вербицкий на предложение помощи Н. И. Ильминским ответил, по словам К. В. Харламповича, полной признательностью. «Предложение Н. И. Ильминского как благородное и чистосердечное приемлю с искреннею благодарностью,— писал он 1 июня 1866 г. архим. Владимиру.— Если есть ошибки в грамматике, то они происходят не от упорства, каприза, желания устоять хотя на плохом, да на своем, а от ошибочности взгляда, недостаточности понимания»[45]. А в письме к Н. И. Ильминскому от 1 июля 1866 г. вынужден был сознаться: «...а грамматика моя плохо движется, поэтому считаю обязанностью благодарить Вас как за книжицы, так и за искреннее Ваше мнение о моем посильном труде. Вы желаете, чтобы работа моя была совершеннее. Но, помилуйте, неужели я желаю противного? Кто же себе злорадец? Прошу покорнейше вникнуть в мое горестное положение: я не знаю ни одного восточного языка; следовательно, добираюсь до всего впотьмах, ощупью. Материалами никакими пользоваться не могу, не умею читать их, если они не написаны всероссийскими письменами. Драгоценнейшим источником для меня служит теперь Ваш „Очерк татарского языка“ <...>. Вот если бы побольше было таких материалов, тогда мы Вам доказали бы наше усердие пользоваться ими <...>. Правилами Бобровникова, подходящими к нашему языку, я тоже воспользовался. Не умея читать по-монгольски, я по чутью какому-то понял, что Бобровникова Грамматика — прекрасный для нас образец. Ах, как бы она была написана русскими буквами!»[46].

Как видно из отношения хозяйственного управления при синоде от 23 июня 1867 г., синод определением от 10 июня 1867 г. разрешил издание Грамматики под условием ее исправления и дополнения на основании замечаний Н. И. Ильминского, А. К. Казем-бека и иером. Макария, постановив напечатать 1200 экз. в типографии Казанского университета, в связи с чем

[44] См.: П. В. Знаменский. Несколько материалов для истории алтайской миссии, с. 18; ср. письмо В. И. Вербицкого от 1 июля 1866 г.

[45] Цит. по: К. В. Харлампович. Н. И. Ильминский и алтайская миссия, с. 9.

[46] ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 95, л. 16—17. Слова «ни одного» подчеркнуты самим Вербицким теми же чернилами, какими писано все письмо.

хозяйственное управление синода просило Н. И. Ильминского принять на себя «цензурование и корректуру» сочинения. (Заметим, что сочинение это именовалось на первых порах «Руководством к изучению алтайского языка»[47] и составлено было по образцу «Букваря для крещеных татар» Ильминского; об этом, между прочим, свидетельствует намерение дать в виде приложений к «Руководству» молитвы на разных наречиях Алтая[48].)

В. И. Вербицкий в письме к Н. И. Ильминскому от 15 ноября 1867 г. выразил радость, что синод поручил печатание Грамматики ему, и оставил на его усмотрение все дальнейшие исправления и дополнения без согласования с ним, Вербицким, так как он добросовестно, ничего не пропустив, воспользовался уже его указаниями, следуя им с полным сознанием их справедливости; при этом все вышло «ладно, парно и стройно»[49].

Но Вербицкий не знал всей меры научной добросовестности и щепетильности Ильминского: прежде чем постулировать то или иное положение как фонетический или грамматический факт, он считал необходимым непременно проверить и перепроверить его на носителях языка[50], а в данном случае у него были особые основания предполагать наличие значительных диалектных различий у обитателей разных районов Алтая. Это предположение могло возникнуть под влиянием общих замечаний архим. Макария Глухарёва[51] и противоречивых сведений,

[47] ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 12, л. 1—8. С другой стороны, в отношениях хозяйственного управления от 23 июня 1867 г. и от 17 марта 1869 г. упоминается в качестве составителя «Руководства» помимо В. И. Вербицкого также С. В. Ландышев, второй начальник миссии (1844—1865), которому Вербицкий доводился двоюродным братом. По-видимому, братья вначале замыслили составить «Руководство» вдвоем (о чем успели сообщить высшему духовному начальству), но вскоре все составление пало на одного Вербицкого, что и дало ему моральное право говорить «моя грамматика» в цитированном выше письме; да и проф. А. К. Казем-бек в своей краткой рецензии (см. ф. 968, д. 12, л. 2—3) прямо пишет о «Руководстве священника Вербицкого», а последний, в свою очередь, возражает профессору (см. там же) ссылками на мнение «г. Бобровникова», косвенно подтверждая тем самым, что возражения эти писались при жизни А. А. Бобровникова [ум. 8(20).III.1865], т. е. не позже весны 1865 г., когда «Руководство» оставляло желать лучшего во многих отношениях.

[48] См.: К. В. Харлампович. Н. И. Ильминский и алтайская миссия, с. 11.

[49] Там же, с. 10.

[50] Например, в одном письме 1864 г. к и. д. обер-прокурора синода кн. Урусову Н. И. Ильминский подчеркивал: «Я лингвист и переводчик, имеющий однако же постоянную нужду в [природном татарине] Тимофееве, как живописец в натурщике» (цит. по: П. В. Знаменский. На память о Николае Ивановиче Ильминском. Казань, 1892, с. 151—152).

[51] Лингвистические замечания Макария Глухарёва о сродстве и отличиях наречий Алтая Н. И. Ильминский мог извлечь, например, из кн.: А. С. Стурдза. Памятники трудов православных благовестников русских с 1793 до 1853 г. М., 1857, с. 152—154.

заключавшихся в «Руководстве». Личные беседы с иером. Макарием, который счел себя обязанным представиться казанскому «апостолу языков» во время своей первой же поездки в Петербург в 1864 г., предпринятой с целью напечатания алтайских переводов в синодальной типографии, могли лишь подтвердить правомерность его мыслей. С выходом же в свет в 1866 г. первой книги радловских «Образцов народной литературы тюркских племен» с текстами на поднаречиях «алтайцев, телеутов, черневых и лебединских татар, шорцев и саянцев» правильность его гипотезы стала очевидной.

Как бы то ни было, Н. И. Ильминский не решился вести дело без «натурщика» и в конце 1867 г. попросил архим. Владимира прислать к нему в Казань «для занятий над грамматикой и для ознакомления с переводческим и школьным делом»[52] иером. Макария, который с ноября 1867 г. вторично и по тому же поводу находился в Петербурге. Почему на этот раз Н. И. Ильминский предпочел видеть в качестве информанта не носителя алтайского языка, например в лице бесспорно даровитого и к тому времени «уже заматеревшего в переводах» Мих. Вас. Чевалкова (1817—1901), понять нетрудно, если принять во внимание не только личные качества иером. Макария, как их представлял себе Н. И. Ильминский (единомыслие в главных вопросах, основательное практическое владение алтайскими наречиями, «кротость», «доброта», «симпатичный характер»[53] и молодость), но и цель вызова (грамматика — переводческое искусство — школьное дело).

В представлении Н. И. Ильминского все три вопроса тесно связывались между собой, поэтому единомыслие, знание предмета, покладистость и прилежание сотрудника были необходимым условием достижения цели вызова. Здесь не место входить в рассуждение о переводческом искусстве Ильминского и в рассмотрение его педагогических взглядов: это завело бы нас слишком далеко[54]. Важно подчеркнуть: и то и другое у Ильминского вытекало из действовавших в условиях царской России принципов просвещения и находилось в рамках его собственной

[52] К. В. Харлампович. Н. И. Ильминский и алтайская миссия, с. 10.

[53] Там же, с. 5.

[54] Для интересующихся этими вопросами назовем некоторые работы: Н. И. Ильминский. Практические замечания о переводах и сочинениях на инородческих языках. Казань, 1871; он же. Об образовании инородцев посредством книг, переведенных на их родной язык.— Православное обозрение. Т. 10. Кн. 3. М., 1863, с. 136—141; он же. Из переписки по вопросу о применении русского алфавита к инородческим языкам. Казань, 1883; он же. Система народного и в частности инородческого образования в Казанском крае. СПб., 1886; Д. К. Зеленин. Н. И. Ильминский и просвещение инородцев. СПб., 1902; С. В. Чичерина. О приволжских инородцах и современном значении системы Н. И. Ильминского. СПб., 1906.

концепции об инородческом образовании посредством учебных и общеобразовательных книг на родном языке и с помощью учителей, единоплеменных с учениками, и преследовало цель прочного сближения инородцев с русскими и приобщения их к достижениям мировой цивилизации. Что же касается занятий над Грамматикой, то они представлялись Ильминскому важной, но побочной работой, результатом которой должно было явиться пособие для учителей-миссионеров из русских. В расчете на этих именно потребителей было избрано необычное, «несколько тяжеловатое и устарелое изложение». Другое дело, что в итоге совместной работы ученого и информанта получилось не заурядное пособие, а классическое произведение. Впрочем, мы забегаем вперед.

Итак, архим. Владимир с осени 1867 г. до конца февраля 1870 г. находился в Петербурге, где вел нескончаемую тяжбу с попечителем миссии. В сложившейся трудной для него ситуации обращение к нему Ильминского с просьбой прислать в Казань иером. Макария означало более чем простое согласие известного всем ученого-востоковеда на редактирование несовершенного «Руководства». В переписку по этому вопросу неизбежно вовлекался сам обер-прокурор синода. Поэтому архим. Владимир 5 января 1868 г. ответил Ильминскому полным согласием на командирование иером. Макария в Казань. Сам Макарий в письме к Н. И. Ильминскому от 6 января 1868 г. выразил свою готовность выехать в Казань, но незакончившееся печатание в синодальной типографии алтайских книг задержало его в Петербурге до середины мая. Он послал при письме от 29 апреля 1868 г. Ильминскому свои замечания об алтайских глаголах и, как бы уполномочивая его тем на единоличную работу над грамматикой, обещал принять всю его правку «с полною верою и искреннею благодарностью»[55]. Сам же явился в Казань только в июле 1868 г., но, как выяснилось, ненадолго: архим. Владимир полагал, что вся работа над рукописью Вербицкого займет каких-нибудь 2—3 месяца.

Но Н. И. Ильминский, заполучив в свое распоряжение информанта с указанными выше им самим достоинствами, справедливо решил, что ему не пристало выпускать в свет паллиатив вроде азбуки или руководства, и указал архим. Владимиру на желательность более продолжительного пребывания иером. Макария в Казани. В письме от 31 августа 1868 г. архимандрит написал Ильминскому, что будет хлопотать перед обер-прокурором синода о продлении срока командировки, и одновременно выразил свое согласие на присоединение к Грам-

[55] См.: К. В. Харлампович. Н. И. Ильминский и алтайская миссия, с. 11.

матике словаря[56]. По-видимому, в его тяжбе с попечителем миссии наметился обнадеживающий перелом, и 14 ноября 1868 г. он неожиданно разразился длинным-предлинным письмом к Н. И. Ильминскому и иером. Макарию[57], интересным для нас в том отношении, что в нем, между прочим, содержатся его пастырские «указания» справщикам «относительно калмыцко-алтайской лингвистики»: «В составлении алфавита (sic!) всевозможно ближе держаться руссицизма, только бы не были слишком нарушены или затемнены обретаемые и узаконяемые вами правила и оттенки алтайской фонетики <...>. Премудрость претонкая D-г Радлова мне не глянется <...>. Нам бы так, чтобы было и просто и верно (не много ведь?)»[58]. Предоставляя их «полнейшему совокупному усмотрению» «самый ход и протяжение дела» и как бы опасаясь упустить момент для изложения просьбы, спрашивал: «нельзя ли (не поздно ли?)» отпечатать на писчей бумаге 20 экз. словаря специально для него?

Для полного уяснения «вклада» архим. Владимира в составление Алтайской грамматики укажем также, что весной 1869 г. он еще раз вмешался в это дело: на завершающей стадии работы, когда вовсю шла корректура и знаток алтайских наречий должен был быть все время под рукой у редактора, архимандрит не нашел ничего лучшего, как отозвать — 22 апреля — иером. Макария в Москву, причем, распорядившись о высылке ему в Петербург 50 экз. Грамматики в переплетах, не нашел даже времени прочесть присланное ему предисловие к Грамматике. И если информант был возвращен в Казань вскоре по прошествии месяца, то произошло это отнюдь не благодаря заботливости архим. Владимира, а по настоятельной просьбе Н. И. Ильминского[59]. Необходимы были его воистину дипломатические способности, высокий лингвистический авторитет и полнейшее авторское бескорыстие, чтобы возбудить и все время поддерживать интерес синода к задуманному предприятию по изданию Алтайской грамматики, умерять гнев вспыльчивого архим. Владимира и максимально использовать практические — может быть, не такие уж глубокие и всесторонние, какими они

---

[56] Там же.

[57] См.: П. В. Знаменский. Несколько материалов, с. 5—9.

[58] См. там же, с. 6.

[59] Вот отрывок из его письма к архим. Владимиру от 21 мая 1869 г., показывающего, как нетерпеливо ждал он иером. Макария: «Живу я себе, а грамматика Алтайская лежит — несчастная <...>. Если о. Макарий <...> услышит сии мои вопли, то я жду его ежедневно ок. 9-ти часов утра. Иногда жду-жду, да и начну роптать на судьбу и на него...» (см.: К. В. Харлампович. Н. И. Ильминский и алтайская миссия, с. 16).

представлялись редактору[60],— знания иером. Макария в области алтайских наречий и в этих необычных условиях работы довести дело до конца[61].

Отослав любознательного читателя к письму Н. И. Ильминского архим. Владимиру от 9 августа 1869 г. с советами о рациональном использовании тиража Алтайской грамматики[62], остановимся специально на одном письме, поскольку оно помогает уяснить колоссальную разницу между рукописью В. И. Вербицкого и тем, во что она вылилась в результате работы Н. И. Ильминского и иером. Макария по ее усовершенствованию. Из письма В. И. Вербицкого к Н. И. Ильминскому и иером. Макарию от 23 апреля 1869 г. следует, что, получив первые 104 страницы печатного текста Грамматики при письме от 26 марта, протоиерей просто не узнал своего сочинения и пришел в ужас: «Разве так исправляют? Вы ведь ничего не оставили из моей работы... Предисловие напрасно вы похерили, от этого у вас и вышло, что Грамматика упала с неба в виде манны»[63]. Однако почти месячные трезвые размышления над печатным текстом и прирожденная честность смягчили уязвленное авторское самолюбие протоиерея и склонили его к признанию: «Но как Ваша работа вышла лучше моей, стройнее, общеобозрительнее, хотя и не яснее, то бог Вас простит»[64]. Утешился же В. И. Вербицкий тем, что постращал «справщиков» пробрать их в рецензии, которую обещал написать по получении всей книги. Но вместо рецензии написал 4 июля 1869 г. Н. И. Ильминскому очень теплое письмо, начинавшееся словами: «Так как по языку Вы — истый алтаец, то думаю, что...»[65].

Да и архим. Владимир в своем прочувствованном, хотя и несколько неуклюжем, благодарственном письме к Н. И. Ильминскому от 14 августа 1869 г., в сущности, подтвердил коренной характер переработки рукописи В. И. Вербицкого, говоря

---

[60] В 1869 г. Н. И. Ильминский находил у иером. Макария совершенное практическое владение алтайским языком, о чем см.: Н. И. Ильминский. Православное богослужение на татарском языке в Казанской школе для детей крещеных татар.— Православное обозрение. Т. 3. Кн. 10. М., 1869, Известия и заметки, с. 381.

[61] См.: К. В. Харлампович. Н. И. Ильминский и алтайская миссия, с. 12—16.

[62] См.: П. В. Знаменский. Несколько материалов, с. 15. Архим. Владимир не внял советам ученого и бо́льшую часть тиража отправил на Алтай, где из-за малочисленности потребителей Грамматика расходилась плохо, так что в 1875 г. миссия готова была уступить ее книгопродавцам из европейской части России «хотя бы по рублю за экземпляр» (см.: К. В. Харлампович. Н. И. Ильминский и алтайская миссия, с. 35), а во время пожара 1886 г. в Бийске сгорели весь архив и библиотека миссии.

[63] ЦГА ТАССР, ф. 986, оп. 1, д. 95, л. 18.

[64] Там же. Слова «хотя и не яснее» подчеркнуты В. И. Вербицким.

[65] ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 95, л. 20—21.

о трудах казанского профессора «по реставрации алтайской грамматики» и сравнивая Алтайскую грамматику с памятником[66].

Что же касается иером. Макария, то для уяснения его роли в деле создания «Грамматики алтайского языка» было бы, пожалуй, вполне достаточно сказанного о нем в связи с другими лицами, особенно если учесть при этом, как возвеличил его в письме к обер-прокурору синода гр. Д. А. Толстому от 10 сентября 1869 г. сам редактор: «Издание Алтайской грамматики давно окончено <...>. Смею заверить ваше сиятельство, что иеромонах Макарий постоянно принимал в этом деле самое деятельное душевное и весьма полезное участие; без его помощи дело это не могло бы осуществиться»[67]. Но один из биографов иером. Макария, некто М. Михайловский, настаивает на большем, полагая, что классическая «Грамматика алтайского языка» составлена тщанием чуть ли не одного иеромонаха. Перечисляя переводы и особенно замечательные самостоятельные литературные труды на алтайском языке о. Макария, этот биограф дает под № 11: «Грамматика алтайского языка. Первая мысль о составлении грамматики алтайского языка принадлежит одному из старейших деятелей миссии, бывшему помощнику начальника миссии, покойному о. протоиерею В. И. Вербицкому. В 60-х годах им была задумана и составлена краткая грамматика алтайского языка, но, посланная на рассмотрение в св. синод, эта грамматика найдена была неудовлетворительной и к изданию не была допущена. Составление алтайской грамматики было сначала поручено известному Казем-беку, а потом, за отказом его, покойному директору Инородческой учительской семинарии в Казани — Н. И. Ильминскому. Но так как Н. И. Ильминский, хорошо знакомый с татарским языком, не знал языка алтайских инородцев, то им вызван был в Казань алтайский иеромонах-миссионер, ныне преосвященный Макарий, который в 1869—1870 гг. долгое время жил в Казани и которому принадлежит главный труд в составлении алтайской грамматики. Определение и уяснение правил и законов о звуках, их сочетании и изменении, о производстве и грамматических формах слов, о составлении из отдельных слов простых и сложных предложений, систематиче-

[66] Архим. Владимир имел редкую возможность видеть как исходный материал в виде «Руководства к изучению алтайского языка», так и конечный продукт — «Грамматику алтайского языка» объемом почти в 600 страниц: приняв в ноябре 1865 г. назначение на должность начальника миссии, он знал ее первоочередные нужды, так как к этому времени у него в Петербургской духовной академии уже более года квартировал иером. Макарий, занимавшийся печатанием алтайских переводов в синодальной типографии под цензурой А. К. Казем-бека.

[67] ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 8, л. 69.

ское распределение грамматического материала, подбор примеров на грамматические правила, русско-алтайский и алтайско-русский словари, приложенные к грамматике,— составляют исключительный труд преосвященного Макария. Для разъяснения внутреннего значения форм единственным пособием ему служила грамматика монгольско-калмыцкого языка, составленная проф. Бобровниковым. Н. И. Ильминскому принадлежала окончательная редакция русского текста грамматики»[68].

До чего же проста история создания классической грамматики в изложении этого духовного писателя: Вербицкий задумал и составил некое подобие грамматики — синод нашел ее нестóящей, поручили Казем-беку — тот отказался, попросили Ильминского — он, оказывается, не знал языка, а позвали Макария — он меньше чем за полтора года сделал все, да так, что Ильминскому только и осталось, что пройтись по рукописи с карандашом в руке, да и то лишь в русской ее части! Не пресеченная вовремя самим Макарием Невским, эта легенда о его необыкновенном вкладе в языкознание пошла с тех самых пор гулять по страницам церковной печати[69] и, как мы видели, частично проникла также в светскую. Странно, однако, то, что в эту легенду поверил такой добросовестный и дотошный тюрколог, как Н. Ф. Катанов, окончивший Петербургский университет и имевший возможность выяснить для себя вопрос об авторстве Алтайской грамматики из уст И. Н. Березина (1818—1896), К. Г. Залемана (1848—1916), П. М. Мелиоранского, В. В. Радлова (1837—1918), В. Д. Смирнова (1846—1922)[70], так или иначе знавших лингвистические потенции каждого из «членов алтайской миссии». По-видимому, здесь сказалось невольное давление авторитета восходящего иерарха, который того и гляди мог, вслед за архим. Владимиром, ненароком стать казанским архиереем.

Можно было бы легко доказать несостоятельность попытки М. Михайловского приписать иером. Макарию «главный труд в составлении алтайской грамматики», приведя полный текст письма В. И. Вербицкого к Н. И. Ильминскому от 1 июля 1866 г. или отношения хозяйственного управления синода от 23 июня 1867 г. Но в этом нет необходимости: все фактические сведения из обоих документов мы уже знаем по частям. И все же допустим на минуту, что иером. Макарий и в самом деле сыграл главную роль в создании Алтайской грамматики, а

---

[68] М. Михайловский. По поводу сорокалетней годовщины...— ТЕВ. 1895, № 5, с. 10—11.

[69] См.: И. А. Высокопреосвященный Макарий.— «Голос церкви». М., 1913, янв., с. 12.

[70] Об этих тюркологах см.: Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов, с. 123—126, 163—164, 215—216, 241—245 и 261—262.

Ильминский лишь навел общетюркологический глянец и попытаемся поискать опору в его биографии[71].

Макарий (в миру Михаил Андреевич Невский) [1(13).X.1835, с. Шапкино Ковровского уезда Владимирской губ.— 1.III.1926[72], с. Котельники близ Люберец Московской губ.]. С чисто внешней стороны жизнь Макария Невского, как она подана его биографами, не представляет интереса для лингвиста. Но две особенности в этой жизни остановят на себе внимание любого и каждого: деятельное долголетие и необычайно высокое положение, достигнутое выходцем из простой семьи при отсутствии высшего духовного образования.

Будучи восьмым ребенком в семье бедного приходского причетника, он окончил Тобольское духовное училище, а затем — семинарию, где, между прочим, вслед за старшим братом Александром получил фамилию Невский (досеминарская, отцовская фамилия — Парвицкий). От места приходского священника, от поступления в духовную академию и от брака отказался и поступил в феврале 1855 г. послушником в алтайскую миссию, где в марте 1861 г. принял монашество (при этом назван был именем основателя миссии, «подвигу которого подражал») и рукоположен в иеромонахи; в 1871 г. в Улале возведен в сан игумена, в 1883 г.— в сан архимандрита и поставлен во главе миссии, в 1884 г. стал викарием томским с местом пребывания в Бийске, в 1891 г.— самостоятельным епископом томским, в 1906 г.— архиепископом томским и, наконец, в ноябре 1912 г.— митрополитом московским и коломенским. После Февральской революции, а именно 20 марта 1917 г., был по просьбе московского духовенства уволен синодом на покой.

Для наших целей интерес представляют тобольский и особенно алтайский периоды жизни Макария. Но о тобольском периоде мы почти ничего не знаем. Известно только, что его родители переехали в Сибирь в поисках лишнего куска хлеба и в надежде устроить хоть кого-нибудь из детей учиться на казенный счет. Ясно также, что нам с самого начала приходится исключить мысль о раннем русско-тюркском двуязычии применительно к Макарию: принадлежность главы семьи к православному духовенству мешала детям переселенца запросто войти в контакт и постоянно поддерживать обычные житейские отношения со своими татарскими сверстниками в период, когда

[71] Кое-какая литература о Макарии Невском приведена в кн.: С. А. Венгеров. Источники словаря русских писателей. Т. 4. Пг., 1917, с. 102—103 (две статьи относятся к другим Макариям!).

[72] Дата смерти определяется по эпитафии на плите, установленной по давней традиции под Успенским собором в Троице-Сергиевской лавре: «Покоится тело митрополита Макария. Родился 1 октября 1835 г. Почил 16 февраля 1926 г. <...> Жития было 90 лет 4 месяца 16 дней».

язык усваивается, что называется, играючи. Равным образом мы не знаем, слушал ли Макарий уроки татарского языка в тобольской семинарии и проявил ли он там каким-нибудь образом свои лингвистические способности: многочисленные биографы ни единым словом не обмолвились на этот счет.

На Алтае Макарий пробыл в общей сложности 36 лет, включая в этот срок и его отъезды в 1864—1865 и 1867—1869 гг. Алтайскому языку начал учиться у М. В. Чевалкова (1817—1901) в 19-летнем возрасте, причем практическое освоение языка шло у него медленно. «Около двух лет не мог он научиться, но потом вдруг стал понимать язык»[73],— свидетельствует его учитель в автобиографии. Однако повседневные миссионерские обязанности должны были со временем привести к активному владению языком. Во всяком случае, представляется вполне возможным предположение, что к моменту знакомства с Н. И. Ильминским в 1864 г. иером. Макарий практически уже достаточно хорошо овладел алтайским языком и по крайней мере интуитивно понимал основные диалектные особенности южных и северных алтайцев.

Как и В. И. Вербицкий, послушник Макарий прошел чевалковскую школу. В чем-то уступая, а в чем-то превосходя один другого, оба миссионера в знании наречий Алтая взаимно дополняли друг друга. Их самостоятельная миссионерская служба как бы параллельно проходила в разных районах Алтая. Вербицкий поступил в миссию в 26-летнем возрасте и в течение 6 лет (1853—1858) служил в Улале и Майме и «алтаизировался» в общении с телеутами, майминцами и алтай-кижи, чтобы затем 26 лет кряду проработать среди кузнецких телеутов и шорцев в кондомском отделении миссии (Кузнецкий округ). Невский сразу же по поступлении в миссию в 1855 г. на протяжении 6 лет проходил подготовку при главном стане в Улале, а с марта 1861 г. миссионерствовал среди теленгитов и туба-кижи в Чулышманской долине (Бийский округ). Словом, оба миссионера приблизительно в равной мере владели алтайским языком. Но во многом они и отличались друг от друга и стояли в разных отношениях к Н. И. Ильминскому, когда архим. Владимир вошел в синод с ходатайством об издании пособия по алтайскому языку: В. И. Вербицкий уже зарекомендовал себя как автор ряда работ, опубликованных в общероссийских органах, Макарий Невский успел проявить себя только как корректор коллективных переводов избранных мест из вероучительных книг; один воплотил свое понимание грамматического строя алтайского языка в свое «Руководство» и вложил в него

[73] См.: М. В. Чевалков. Памятное завещание. Автобиография миссионера алтайской духовной миссии священника. М., 1894, с. 54.

весь свой практический опыт, другой ограничился представлением замечаний по частным вопросам и тем самым как бы оставлял за собой право на дополнительные высказывания; один в течение ряда лет вел с Ильминским переписку о «Руководстве», но так и остался его заочным знакомым, другой лично представился Ильминскому в 1864 г. при первом же проезде через Казань и своей располагающей внешностью и «редкими душевными качествами» произвел на Ильминского самое приятное впечатление; один отличался самостоятельностью суждений и умением постоять за них, другой — покладистостью, исполнительностью, прилежанием и вообще легко убеждался доводами сильных мира сего; одному было уже 40 лет, другому — 32; один безотлучно жил на Алтае, другой с явным удовольствием путешествовал в Петербург, Москву и Казань. Словом, уже эти черты сходства и отличия убеждают нас, почему Н. И. Ильминский предпочел иером. Макария В. И. Вербицкому в качестве информанта и сотрудника в работе по «изведению алтайской грамматики на свет».

Разумеется, едва ли не первостепенными и, уж во всяком случае, немаловажными были для Н. И. Ильминского соображения поделиться своим опытом в области перевода и школьного дела: иером. Макарий был в Казани чем-то вроде полномочного представителя архим. Владимира по переводческому и школьному делу в интересах алтайской миссии. Алтай же в представлении Ильминского являл собой благодатное поле для проверки и утверждения в полном объеме его принципов образовательной системы «инородцев».

Предоставим, однако, другим право судить о просветительной системе Н. И. Ильминского и остановимся на очень важной — с точки зрения уяснения процесса создания Алтайской грамматики — для нас особенности его чисто человеческой натуры, а именно его манере на ходу формулировать мысли и без запинки диктовать их своему сотруднику или ученику. Эта особенность натуры Н. И. Ильминского производила сильное впечатление на современников, близко знавших его[74], а нам поможет понять роль иером. Макария как информанта и секретаря. Ведь к началу работы над Алтайской грамматикой Н. И. Иль-

---

[74] См., например, воспоминания И. Я. Яковлева «Николай Иванович Ильминский»: «Вечно он писал или диктовал другим <...>, причем диктовал, ходя по комнате нервно, быстрыми шагами, ясно, логично, без вставок и поправок...» (Архив ЧувНИИ, отд. II, ед. хр. 523, инв. № 1507, л. 41). Даже на смертном одре за несколько дней до кончины он, по свидетельству С. В. Смоленского (1848—1909), «диктовал связно, логично — так что письма и бумаги переписывались без малейшей поправки» (см.: Николай Иванович Ильминский. Избранные места из педагогических сочинений, некоторые сведения о его деятельности и о последних днях его жизни. Издание почитателей покойного. Казань, 1892, с. 120).

минский имел в своем распоряжении не только рукопись Вербицкого и готового к его услугам информанта, но и первую книгу радловских «Образцов» с фонетически точными записями некоторых наречий Алтая. Так что, зная умение Н. И. Ильминского быстро схватить суть отдельного явления и постигнуть конкретную языковую систему в целом, нам нетрудно представить себе, как на основе сопоставления показаний рукописи Вербицкого с безукоризненными радловскими «пробами» и их перепроверки через посредство или с помощью сидевшего тут же информанта-секретаря складывалось у казанского полиглота общее впечатление о том или ином фонетическом или грамматическом явлении алтайского языка и как это впечатление сразу же воплощалось в параграф, если, разумеется, предложенный Вербицким вариант по своей сути признавался некорректным или недостаточным.

Принимая во внимание круг предполагаемых первых читателей Грамматики — а в предуведомлении совершенно недвусмысленно выражается надежда, что она «может составить некоторое пособие к изучению алтайского языка для начинающих миссионерскую деятельность»,— следует предположить, что Н. И. Ильминский вполне сознательно возложил на иером. Макария бремя лексического воплощения того или иного правила или положения, т. е. информант-секретарь был для редактора одновременно и эталоном понятности и доступности изложения. Именно этим мы могли бы объяснить как упрощенную терминологию вроде «толстые и тонкие гласные» вм. «гласные заднего и переднего ряда», «жесткие и мягкие согласные» вм. «глухие и звонкие согласные», «перестановка букв в слове» вм. «перестановка звуков» или метатеза, так и по-церковному тяжеловесный стиль изложения.

Чтобы убедиться, что принятый в Алтайской грамматике стиль — дело рук Вербицкого и Невского, а не Ильминского, достаточно сопоставить манеру письма каждого из них, взяв, например, упомянутый выше «Очерк деятельности алтайской духовной миссии» или раздел о языке в посмертно изданном сборнике В. И. Вербицкого «Алтайские инородцы» (М., 1893), письма и проповеди митрополита Макария Невского[75] и любую работу Н. И. Ильминского, в частности «Вступительное чтение в курс турецко-татарского языка», «Беседы о народной школе», «Воспоминание об И. А. Алтынсарине», «Уроки татарского языка» или его письма. Для первого характерны обстоятельность и относительная доступность изложения, второму орга-

[75] См. письма в кн.: П. В. Знаменский. Несколько материалов, с. 23—25, 31—33, 40—43, 49, 59, 69, 74, 78—79; проповеди — в кн.: Макарий (Невский). Слова, беседы и поучения в дни праздничные и воскресные... Сергиев-Посад, 1914.

нически присущи витиеватость и какая-то скованность письма, у третьего ясность и глубина мысли удивительным образом сочетается с легкостью, изящностью, образностью, неотразимой логичностью изложения и, кроме того, постоянным стремлением приноровить каждое данное сочинение к возможностям читателя, чтобы лучше донести до его сознания то, о чем взялся писать. Другими словами, подмеченную еще П. М. Мелиоранским[76] тяжеловесность стиля Алтайской грамматики мы склонны отнести на счет В. И. Вербицкого и Макария Невского, а глубину проникновения в особенности строя алтайского языка, высокий научно-теоретический уровень Грамматики, ее «стройность и общеобозрительность» связать исключительно с Н. И. Ильминским. Другими словами, нисколько не умаляя вклада Вербицкого и Макария Невского в создание Грамматики, мы должны все же признать, что только Н. И. Ильминский мог привлечь материал из азербайджанского, казахского, татарского, турецкого, уйгурского, чагатайского, чувашского и якутского языков и свободно распорядиться им для сравнительно-исторического освещения фактов алтайского языка и в связи с этим именно языком говорить об обще- и древнетюркских явлениях и монгольских элементах в нем. Несомненно, Н. И. Ильминскому практическое пособие «для начинающих» обязано превращением в первоклассное, образцовое грамматическое сочинение по тюркским языкам. Недаром К. Г. Залеман писал: «...мы советовали бы всякому, кто берется за составление самоучителя по какому-нибудь татарскому (=тюркскому.— *Ф. А.*) наречию, тщательно изучить сперва „Алтайскую грамматику“»[77].

Чем еще зарекомендовал себя Макарий Невский как лингвист? В 1866—1867 гг. «по поручению и указаниям архим. Владимира» он совместно с М. В. Чевалковым составил Алтайско-русский букварь с книгой для чтения (СПб., 1868)[78]. Но Букварь нельзя признать удачным ни с лингвистической, ни с методической стороны: следование русской азбуки непосредственно после алтайской без должного закрепления материала мешало алтайским ученикам составить «ясное и определенное понятие о значении и произношении [одних и] тех же букв и вообще о звуковой системе в языках

---

[76] П. М. Мелиоранский. Краткая грамматика казак-киргизского языка. Ч. 2. Синтаксис. СПб., 1897, с. VI.

[77] См.: ЗВОРАО. Т. 1. 1887, с. 37.

[78] К сожалению, нам не удалось отыскать этот Букварь, и мы можем судить о нем только по имеющимся описаниям (апологетическим или критическим) других: М. Михайловский. По поводу сорокалетней годовщины... — ТЕВ. 1895, № 5, с. 5; И. И. Ястребов. Миссионер... Владимир...— ПС. 1898, июнь, с. 652; К. В. Харлампович. Высокопреосвященный Макарий...— ПС. 1905, май, с. 53.

алтайском и русском»[79]. Поэтому Н. И. Ильминский счел целесообразным «при помощи алтайских воспитанников, обучавшихся в Казанской учительской семинарии», издать Букварь в пересмотренном виде[80]. В этом издании Букваря определенный интерес представляет так называемое примечание переводческой комиссии на двух последних страницах, но оно, судя по всему[81], принадлежит тому же Н. И. Ильминскому. Что же касается переводческой деятельности Макария Невского, то и здесь он остался лишь подражателем Н. И. Ильминского.

Таким образом, у нас нет решительно никаких оснований признать иером. Макария главным автором Грамматики алтайского языка, хотя, разумеется, мы отнюдь не склонны и принизить или умалить его роль как информанта и секретаря. Зато у нас есть серьезные основания полагать, что научно-теоретическое обеспечение составления Грамматики, т. е. то главное, благодаря чему она сразу же заняла место в ряду классических трудов, «вошедших в золотой фонд мировой тюркологии»[82], принадлежит Н. И. Ильминскому.

Прежде всего обратим внимание на одно важное для нас высказывание К. В. Харламповича (а он, как известно, в одном и том же 1905 г. выпустил три работы, посвященные отдельно Макарию Глухарёву, Макарию Невскому и Н. И. Ильминскому): «С июля 1868 г. о. Макарий по приглашению Н. И. Ильминского, занимавшегося тогда исправлением и подготовлением к печати грамматики алтайского языка, составленной на Алтае свящ. В. Вербицким при ближайшем участии иером. Макария, жил в Казани, помогая Николаю Ивановичу в его труде, и продолжал знакомство с его просветительной деятельностью»[83]. Но есть и более определенные свидетельства, которые, однако, приходится тщательно взвешивать как ввиду их явной недосказанности, так и ввиду сложности и неодинаковости взаимоотношений Н. И. Ильминского с архим. Владимиром, В. И. Вербицким и иером. Макарием.

Когда Грамматика была близка к выходу в свет, от склонного к подозрительности архим. Владимира пришло в Казань «очень сильное письмо с укорами как Ильминскому, так и о. Макарию» от 23 мая 1869 г.[84]. В ответ на это письмо

---

[79] См. примечание переводческой комиссии в кн.: Алтайский букварь. Алтай кіжілер балдарын бічіке ӱредерге. Азбука. Казань, 1882, с. 48.

[80] Этот переработанный Букварь (полное название см. в прим. 79) имеется в Москве в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина.

[81] О миссиях Томской епархии в 1882 году.— ТЕВ. 1883, № 15, с. 443.

[82] См.: А. Н. Кононов. В. В. Радлов и отечественная тюркология.— Тюркологический сборник. 1971. М., 1972, с. 8.

[83] К. В. Харлампович. Высокопреосвященный Макарий... — ПС. 1905, май, с. 53.

[84] К. В. Харлампович. Н. И. Ильминский и алтайская миссия, с. 12.

Н. И. Ильминский написал гневливому архимандриту подробнейшее письмо от 27 мая 1869 г., в котором рассеял все нелепые подозрения и, чтобы убедить начальника алтайской миссии в своей авторской бескорыстности, заверил его: «Чужой чести принимать себе я не намерен»[85]. Вызванный на такие неприятные объяснения, Н. И. Ильминский остался верен себе: он находил, что «Грамматика алтайского языка» далека от совершенства и что более надежная грамматика — это, «конечно, не нами с о. Макарием составленная, а по ее поводу имеющая быть разработанной и усовершенствованной на месте, в самом Алтае»[86]. Могла ли украсить список деяний серьезного человека такая несовершенная грамматика, какой она все время представлялась взыскательному тюркологу? И стоит ли удивляться, что на титуле вышедшей в свет летом того же года Грамматики на месте авторов появилась загадочная формула: «Составлена членами алтайской миссии»?!

Заняв уже в год выхода в свет Алтайской грамматики позицию человека, якобы совершенно непричастного к ее составлению, Н. И. Ильминский и в дальнейшем держался как сторонний человек. Так, в своей специальной работе о переводах и сочинениях на инородческих языках, рекомендуя переводчикам на тюркские и финно-угорские языки самым внимательным образом прочитать «Грамматику монгольско-калмыцкого языка» А. А. Бобровникова, поскольку это сочинение «значительно разъясняет внутреннее устройство и этих языков», свидетельствовал: «Я знаю, что оно было, в этом отношении, полезно для алтайской миссии»[87], т. е. говорил об Алтайской грамматике, как совершенно сторонний человек. Это не жест обидчивого человека, это твердая нравственная позиция ученого и человека, который превыше всего ставил интересы дела, как он их понимал. И эту позицию нам было бы и сегодня трудно понять, если бы мы не располагали свидетельствами его современников, которые прямо указывают на то, что Н. И. Ильминский «не только никогда не распространялся о своих заслугах, а всегда как будто намеренно умалял их»[88], что, «рассказывая самые мельчайшие подробности о других, <...> он постоянно старался спрятать свою личность и заслуги <...>, все свои собственные заслуги приписывал другим, своим помощникам и орудиям, которых таким образом и выдвигал прямо на свой счет. Такое выдвигание на свой счет других постоянно

---

[85] Там же, с. 16.
[86] Там же, с. 13.
[87] Н. И. Ильминский. Практические замечания о переводах и сочинениях на инородческих языках. Казань, 1871, с. 19.
[88] А. С. Рождествин. Николай Иванович Ильминский и его система инородческого образования в Казанском крае. Казань, 1900, с. 79—80.

практиковалось им в печати, в его многочисленных статьях об инородческих школах и переводах»[89].

Этим пользовались его тщеславные «помощники и орудия» (причем Н. И. Ильминский знал об этом и нисколько не обижался на них[90]). По-видимому, не устоял перед соблазном прослыть ученым языковедом и Макарий Невский, которому не стоило никакого труда внести ясность в вопрос об авторах Алтайской грамматики: как-никак, неточные сведения печатались в подведомственных ему органах. Но, видно, неточности не претили ему, а ореол автора грамматического сочинения, о котором с почтением говорили и писали знаменитые академики, обеспечил ему преимущества перед другими иерархами и в конечном счете привел его на московскую митрополию. Справедливости ради следует все же признать, что в первые дни после смерти Н. И. Ильминского Макарий Невский держался иначе: он санкционировал публикацию составленного епископом Владимиром Синьковским (ок. 1847 — ок. 1918) отчета о миссиях Томской епархии за 1891 г., содержавшего два очень важных для нас положения, а именно: что «для алтайской миссии почивший (т. е. Н. И. Ильминский.— *Ф. А.*) известен своими незабвенными трудами по редактированию грамматики алтайского языка»[91] и что «преосвященный (т. е. Макарий Невский.— *Ф. А.*), будучи еще иеромонахом, участвовал в качестве сотрудника при составлении грамматики алтайского языка ныне покойным Николаем Ивановичем Ильминским»[92]. Как мы уже видели, акценты в сторону Макария Невского переместились несколько позже благодаря старанию духовной братии и неосмотрительности А. А. Ивановского.

С другой стороны, мы располагаем свидетельствами самого Н. И. Ильминского в виде писем, которые не предназначались для печати. «Позволю себе указать и на то,—читаем мы в его, скорее всего, неотправленном письме от 8 сентября 1870 г. к какому-то видному сановнику по имени Иван Александрович,— что Алтайская грамматика много раз присылалась с Алтая в Петербург и оттуда возвращалась вспять с замечаниями для переделки; а наконец в Казани она была переделана

---

[89] П. В. Знаменский. На память о Николае Ивановиче Ильминском, с. 5.

[90] Даже наоборот, он искренне сокрушался, когда ему указывали, что тот или иной сотрудник покушается на его заслуги, и по-человечески жалел таких указчиков, не понимавших того, как мало для него значили такого рода покушения: «Ильминский, по привычке, хватал себя обеими руками за голову и раскачивался, что всегда выражало его неудовольствие» (И. Я. Яковлев. Николай Иванович Ильминский. Воспоминания.— Архив ЧувНИИ, отд. II, ед. хр. 523, инв. № 1507, л. 27).

[91] См.: ТЕВ. 1892, № 6, с. 11.

[92] ТЕВ. 1892, № 5, с. 15.

и напечатана. Положим, это дело исполнял алтайский миссионер иеромонах Макарий, но нелишними были и мои указания»[93]. И еще одно письмо, приведенное К. В. Харламповичем. «В самой грамматике,— писал Ильминский еп. Владимиру Петрову 30 марта 1882 г.,— я старался свести, при помощи древнего татарского, насколько он известен по рукописям и который мы называли тюркским, существующие на Алтае наречия, старался показать черты казанского наречия и киргизского...»[94]. Иными словами, в сугубо частных письмах Н. И. Ильминский признавал свое участие в Алтайской грамматике, но делал это лишь в исключительных случаях, крайне неохотно и, главное, негласно. Тем ценнее такие признания. И тем тверже наша убежденность, что истинный творец Алтайской грамматики не кто иной, как Н. И. Ильминский (между прочим, никогда формально не бывший членом алтайской миссии).

Все сказанное выше позволяет нам полностью присоединиться к высокой оценке творческого подвига Н. И. Ильминского, данной А. Н. Самойловичем, который назвал его первым в ряду отечественных научно подготовленных теоретиков-лингвистов в области тюркологии, выдвинувшихся во второй половине XIX в.: Ильминский — Корш — Залеман—Мелиоранский— Ашмарин[95].

Итак, в ответ на вопрос об авторах «Грамматики алтайского языка» 1869 г. мы можем с полной уверенностью сказать, что это В. И. Вербицкий, Макарий Невский и главным образом Н. И. Ильминский.

---

[93] ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 8, л. 25.

[94] См.: К. В. Харлампович. Н. И. Ильминский и алтайская миссия. с. 49—50.

[95] См.: А. Н. Самойлович. Вильгельм Томсен и туркология.— Памяти В. Томсена. Л., 1928, с. 16.

Г. Ф. Благова

О СООТНОШЕНИЯХ ПРОЗАИЧЕСКОГО И ПОЭТИЧЕСКОГО ВАРИАНТОВ СРЕДНЕАЗИАТСКО-ТЮРКСКОГО ПИСЬМЕННО-ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА XV — НАЧАЛА XVI в.

(Падежное склонение в языке произведений Бабура)

1. Вводные замечания. В тюркологической литературе второй половины XX в. можно наблюдать прямо противоположные суждения о природе и характере средневекового тюркского письменно-литературного языка (ПЛЯ). С одной стороны, утверждается, например, что «уже в начальный период развития старотюркского письменного языка (этот язык датируется X—XV вв.— *Г.Б.*) намечается ясно выраженная тенденция отдаления его от живого разговорного языка даже опорных диалектов. К XIV—XV вв. относится начало образования отдельных тюркских народов и народностей... Однако в письменном языке сохранились старотюркские традиции, которые испытывали лишь некоторое влияние народного разговорного языка... В связи с этим тюркские старописьменные языки при всем их различии были значительно ближе друг к другу, чем к соответствующим народным разговорным языкам, следовательно, и к диалектам»[1]. С другой стороны, не менее авторитетны и заключения о том, что, к примеру, «староузбекский литературный язык (имеются в виду XIV—XVI вв.— *Г.Б.*) не настолько отдален от разговорного языка, чтобы можно было провести между ними резкую и строго определенную границу», хотя здесь же признается как несомненное, «что литературный (книжный) язык, в отличие от разговорного, характе-

---

[1] М. З. Закиев. О взаимоотношении татарского литературного языка и диалектов в различные периоды их развития.— Совещание по общим вопросам диалектологии [и] истории языка. Тезисы докладов и сообщений (Ереван, 2—5 октября 1973 г.). М., 1973, с. 175.

ризуется несколько индивидуализированным подбором лексики, с большим упором на арабские и персидские элементы и с использованием устоявшихся стилистических приемов»[2].

И в том, и в другом случае не делается попыток выделить самостоятельным анализом совокупности языковых явлений, составляющих различные функционально-стилистические разновидности ПЛЯ. Показательно, что К. Брокельман при исследовании «языка исламских литературных памятников Средней Азии с времен исламизации тюрков в X в. до перехода их к государственной самостоятельности»[3] не разграничивает сколько-нибудь четко явления, принадлежащие языку поэтических произведений, с одной стороны, и прозаических — с другой[4], хотя А. Н. Самойлович еще в 1927 г. считал целесообразным говорить о «специально стихотворном чагатайском языке в отличие от прозаического», исходя как раз из «диалектальной смешанности» стихотворного языка, из наличия в нем «значительных элементов „огузско-туркменских“»[5].

Учитывая, что сохранение в языке поэзии инодиалектных морфологических черт представляет собою явление, по-видимому, типологически общее для истории многих литературных языков, отметим, что современным языкознанием при изучении развития литературных языков признается необходимость функциональной направленности языкового анализа[6]. При таком подходе тюркологу позволительно повременить с глобальными исследованиями и перейти к конкретным целенаправленным разработкам на материале ПЛЯ строго отграниченного периода.

Для прояснения характера среднеазиатско-тюркского ПЛЯ конца XV — начала XVI в. важно было проследить соотношение закономерного и случайного, общего и индивидуального в идиолектах двух ведущих деятелей тюркоязычной культуры Средней Азии этого периода — Алишера Навои и Захир ад-Дина Мухаммеда Бабура, что стало возможным при детализованном лингвистическом сопоставлении поэтических и прозаи-

[2] А. М. Щербак. Грамматика староузбекского языка. М.—Л., 1962, с. 15.

[3] С. Brockelmann. Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens. Leiden, 1954, с. 1.

[4] См., например, там же, с. 74, 75, 154, 155.

[5] А. Н. Самойлович. Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе. IV. Чагатайский поэт XV в. Атай.— ЗКВ. Т. 2. Вып. 2. 1927, с. 262. Ср. точку зрения Р. Якобсона на поэзию как на «особым образом организованный язык» (Style in language. Ed. by Td. A. Sebeok. N. Y., 1960, с. 350—377).

[6] См.: В. Н. Ярцева. Функционально-стилистическая система литературного языка и ее соотношение с территориальными диалектами.— Совещание по общим вопросам диалектологии [и] истории языка. Тезисы докладов..., с. 232.

ческих произведений каждого из них. Дальнейшая конкретизация исследования требует более четкого определения соотношения прозаического и поэтического вариантов среднеазиатско-тюркского ПЛЯ, потому что только таким путем можно прийти к познанию природы ПЛЯ конца XV — начала XVI в. и вместе с тем получить надежный материал для истории тюркских языков Средней Азии, в первую очередь — узбекского и уйгурского. Предметом такого исследования должны стать прозаический и поэтический идиолекты одного писателя в том случае, если в них достаточно полно реализуется каждый из названных вариантов ПЛЯ. Имея в виду активную роль Захир ад-Дина Мухаммеда Бабура в завершении дифференциации прозаического и поэтического вариантов ПЛЯ, осуществление которой было начато трудами Алишера Навои, что связано с прогрессивной индивидуальной нормализаторской деятельностью обоих писателей, мы исследовали язык произведений Бабура, принадлежащих различным жанрам. Это, прежде всего, объемистое прозаическое произведение мемуарного жанра «Бабур-наме»[7], лирическая поэзия, сборник которой издан А. Н. Самойловичем[8], и, наконец, дидактическое поэтическое произведение «Мубаййин»[9].

Представления о соотношениях прозаического и поэтического вариантов ПЛЯ могут быть поставлены на реальную почву при изучении одной из ключевых подсистем словоизменения, а именно падежного склонения (точнее: его парадигматики и структуры) в различных идиолектах Бабура. Такое сопоставительное исследование именно этой грамматической категории особенно целесообразно уже потому, что в различных вариантах ПЛЯ рубежа XV—XVI вв. как раз языковые факты из области падежного склонения оказываются системно соотносимыми и в то же время достаточно четко противопоставленными в своей парадигматике.

При изучении падежного склонения в языке произведений Бабура мы исходим из осуществляемого в тюркском склонении перекрещивания категории падежа и катего-

[7] Бабер-намэ или Записки Султана Бабера. Изданы в подлинном тексте Н. И. [Ильминским]. Казань, 1857 (далее — БН).

[8] А. Н. Самойлович. Собрание стихотворений императора Бабура. Пг., 1917 (далее — ССИБ; под номером сообщается порядковый номер цитируемого стихотворения; в случае, если на цитируемой странице приводимая форма встречается в нескольких стихотворениях, их номера не указываются).

[9] Использовались любезно предоставленная нам Э. Н. Наджипом фотокопия рукописи этого произведения, хранящейся в Рукописном отделе ЛО ИВАН СССР под шифром А104 (далее — М), а также фрагменты этой рукописи, изданные в кн.: И. Н. Березин. Турецкая хрестоматия. Ч. 1—2. Казань, 1857 (далее — МБ; ссылки на поэтические произведения Алишера Навои по этой хрестоматии обозначаются сокращенно: TX).

рии принадлежности. В соответствии с этим наряду с именной и местоименной падежными парадигмами выделяется также посессивно-именная парадигма, где и происходит перекрещивание двух грамматических категорий. В склонении каждого конкретного тюркского языка результаты такого перекрещивания достаточно индивидуальны, иначе говоря, отнюдь не одинаковы по языкам. Поэтому неодинаковы в различных тюркских языках и соотношения именной и посессивно-именной падежных парадигм, а именно это соотношение в значительной степени определяет структуру склонения в каждом из языков. Опираясь на характер соотношения именной и посессивно-именной парадигм, в современных тюркских языках Средней Азии мы выделяем три типа склонения.

В огузском типе склонения (туркменский язык) перекрещивание категорий падежа и принадлежности в значительной мере перекрывается строгим соблюдением фонетических правил, действие которых охватывает как именную парадигму, так и бо́льшую часть посессивно-именной парадигмы: падежные формативы для имен, оканчивающихся на конечную гласную, имеют консонантическое начало (кроме дат.-напр. падежа — *-а:*; ср. род. *-ның*, вин. *-ны*), а для имен с конечной согласной используются варианты с вокалическим началом (род. *-ың*, вин. *-ы*, дат.-напр. *-а*). При склонении имен, снабженных аффиксом принадлежности 3-го лица, в локативных падежах — дат.-напр., местн., исх.— обязателен интерфикс *-н-* между показателями принадлежности и падежа. Именно в этом состоит принципиальное различие именной и посессивно-именной парадигм в огузском типе склонения. Таким образом, интерфикс *-н-* можно считать показателем, в котором отражен результат перекрещивания категорий падежа и принадлежности.

В уйгурско-узбекском типе склонения (в диахронии — «карлукский» тип: языки узбекский, новоуйгурский) перекрещивание названных грамматических категорий нейтрализовано полностью — именная и посессивно-именная парадигмы с точки зрения формантной не отличаются друг от друга ничем: и в том, и в другом случае независимо от гласного или согласного ауслаута как склоняемого имени, так и его посессивной формы падежные показатели имеют консонантическое начало (род. *-ниң*, вин. *-ни*, дат.-напр. *-га*); после имен, снабженных показателем принадлежности 3-го лица, в локативных падежах интерфикс *-н-* отсутствует. Иными словами, в уйгурско-узбекском («карлукском») типе склонения отсутствует важный показатель перекрещивания категорий падежа и принадлежности.

В кыпчакском типе склонения (языки казахский,

каракалпакский, а также кыпчакизованный — киргизский) перекрещивание категорий падежа и принадлежности дало наиболее зримые результаты. Прежде всего посессивно-именной парадигме свойствен показатель такого перекрещивания — интерфикс *-н-* после аффикса принадлежности 3-го лица. Помимо этого, для ряда падежей (наборы их неодинаковы для имен с аффиксами 1-го и 2-го лица ед. числа, с одной стороны, и 3-го лица — с другой) закрепились особые морфологические варианты, отличающиеся своим фонетическим обликом, причем таким образом, что это идет вразрез с морфонологическими правилами, действующими в названных языках. Дело в том, что именная парадигма характеризуется падежными формативами исключительно с консонантическим началом, независимо от фонетического состава склоняемого имени, в том числе и от того, оканчивается ли оно на гласный или на согласный: род. ккалп. *-ның*, каз. *-дың*, кирг. *-нын*; вин. *-ны*, каз. *-ды*; дат.-напр. каз., ккалп. *-ға*, кирг. *-га*. Эти же показатели (с консонантическим началом) присущи и одной части посессивно-именной парадигмы — именам с показателями принадлежности 1-го и 2-го лица мн. числа. Между тем на две другие части посессивно-именной парадигмы, охватывающие склонение имен, снабженных аффиксами принадлежности 1-го и 2-го лица ед. числа, с одной стороны, и аффиксами 3-го лица — с другой, распространились огузско-туркменские формы — правда, в неодинаковой мере на каждую из этих частей. Иначе говоря, сила расхождений неодинакова для этих двух частей посессивно-именной парадигмы. При склонении имен, снабженных показателями принадлежности 1-го или 2-го лица ед. числа, показатель с вокалическим началом *-а* (как в огузском типе, но там по фонетическим причинам!) имеет дат.-напр. падеж; что же касается род. и вин. падежей, то они имеют формативы с консонантическим началом: род. ккалп. *-ның*, каз. *-дың*, кирг. *-нын*; вин. *-ны*, *-ды*. Тот же самый показатель род. падежа с консонантическим началом (каз., ккалп. *-ның*, кирг. *-нын*) присущ именам с аффиксами принадлежности 3-го лица; форматив вин. падежа, тоже с консонантическим началом, имеет здесь, однако, свою специфику — это «усеченный» (или «сокращенный») *-н* для всех трех языков. Дат.-напр. падеж имен с посессивным аффиксом 3-го лица, как и для 1-го и 2-го лица ед. числа, имеет вариант с вокалическим началом и интерфиксом *-н-* — *-н-а*; тот же интерфикс присутствует и в местн. и исх. падежах этой части парадигмы: местн. *-н-да*, исх. ккалп. *-н-нан*, каз., кирг. *-нан* (*<-н-нан<-н-дан*).

2. Падежное склонение в языке лирики Бабура. Именная парадигма представлена падежными показателями с

консонантическим началом независимо от того, оканчивается склоняемое имя на согласный или на гласный, т. е. так же, как в современных уйгурско-узбекском и кыпчакском типах склонения. Род. падеж *-нің*: *ешік-нің* (ССИБ, с. 53, № 160) 'двери', *hiджр-нің* (с. 17, № 37) 'разлуки', *гӯл-нің* (с. 53, № 151) 'розы'. Ни в именной, ни в посессивно-именной парадигме склонения поэтического идиолекта Бабура не встретился род. падеж на *-ің*, которым в ряде случаев оформлялись имена в «тефсире»[10]. Вин. падеж *-ні*: *кӧңӯл-ні* (ССИБ, с. 2; 21, № 45; с. 50, № 141; с. 53, № 158) 'сердце', *джіhан-ні*, *'ішқ-ні* (с. 8, № 17) 'мир', 'любовь'. Дат.-напр. падеж: *-ҕа*, *-гӓ*, *-қа*, *-кӓ*: *бу йол-ҕа* (ССИБ, с. 3) 'на этот путь', *рақіб-ҕа* (с. 9) 'сопернику', *çалаh-ҕа* (с. 8) 'спокойствию', *қай-сарі-ҕа* (с. 52) 'в какую сторону', *дішанӓ болур-ҕа* (с. 14) 'чтобы сделаться сумасшедшим'. Лишь для единственного случая, весьма характерного (причастие на *-міш*), в именной парадигме зафиксирован показатель дат.-напр. падежа с вокалическим началом после конечного согласного склоняемой основы (т. е. по правилу огузского типа склонения): *'ішқ ара азар біhад чек-міш-ӓ йад алҕіл* (ССИБ, с. 56, № 186) 'запомни, что в любви бесконечно испытываешь огорчения'; такой же единичный случай для одной словоформы отметил А. К. Боровков в «тефсире» (с. 27). Местн. падеж *-да*, *-та*: *йол-да* (ССИБ, с. 54) 'на дороге', *йурт-та* (с. 45) 'на стоянке'. Исх. падеж *-дін*, *тін*: *баш-дін*, *қаш-дін* (по два раза) (ССИБ, с. 2, № 4) 'с головы', 'от бровей'.

Посессивно-именная парадигма не столь единообразна в своих характеристиках (неполнота приводимых форм этой парадигмы в значительной мере обусловлена жанровой спецификой исследуемых произведений). Род. и вин. падежи для всех частей этой парадигмы имеют форманты с консонантическим началом. Род. падеж *-нің* для имен с показателями принадлежности 1-го — 3-го лица ед. числа: *кӧз-ӯм-нӯң* (ССИБ, с. 6; 20, № 44) 'моих глаз', *кӧңл-ӯм-нің* (с. 21, № 47) 'моего сердца'; *дідар-ің-нің* (с. 50, № 142) 'твоего лица'; *йӯз-і-нің* (с. 53, № 159) 'ее лица'. Вин. падеж *-ні* для имен с показателями принадлежности 1-го — 2-го лица ед. числа: *кӧңл-ӯм-ні* (ССИБ, с. 5; 14; 18; 19, № 41; 23, № 51; 50, № 138; 58 и 59, № 198) 'мое сердце', *йӯз-ӯм-ні* (с. 9; 53, № 160) 'мое лицо', *біділ екӓн-ім-ні* (с. 14, № 31) 'то, что я снедаем [любовью]'; *кӧз-ӯң-ні* (с. 24, № 54) 'твои глаза', *қаш-ің-ні* (с. 6)

[10] См.: А. К. Боровков. Очерки истории узбекского языка. II. Опыт грамматической характеристики языка среднеазиатского «тефсира» XIV—XV вв.— «Советское востоковедение». Т. 6. М.—Л., 1949, с. 25. Языковые сведения из «тефсира» далее приводятся по этой работе, ссылки на соответствующие страницы даются в тексте.

'твои брови', *сені сеwмäслiг-iң-нi* (с. 59, № 199) 'то, что ты не любишь'. Имена с аффиксом принадлежности 3-го лица также весьма часто получают в вин. падеже форматив *-нi: йӳрäк-i-нi* (ССИБ, с. 4) и *кӧңл-i-нi* (с. 14; 59, № 198) 'его сердце', *барҕан-i-нi бiлмäдiм* (с. 57, № 193) 'я не знал, что она ходила'. Вместе с тем на равных правах с *-нi* в этом случае используется также формант *-н*, гомогенный первому (с консонантическим началом), но отличающийся от него утратой гласной финали. Параллельное употребление «*-нi* и *-н* при посессивном аффиксе 3-го лица» для «тефсира» XIV—XV вв. отмечал А. К. Боровков, подчеркивая, что «обе формы аккузатива известны в памятниках XI—XIV вв.» (с. 96).

К примеру, рифма в ССИБ, с. 17, № 37 включает в себя формант *-н: һiджрнiң ...ҡара шам-i-н* 'черный вечер ...разлуки', *wаçл айам-i-н* 'день свиданья', *дiларам-i-н* '(ту его) успокаивающую сердце', *ҕунча андам-i-н* '(ту его) изящно сложенную', *ул йар*[*-i*] *бiҕам-i-н* 'ту его беспечальную возлюбленную'; ср. *джан ҡуш-i-н* (ССИБ, с. 24, № 52) 'птицу души'. Вполне регулярны случаи параллельного употребления вариантов вин. падежа для имен с аффиксом принадлежности 3-го лица *-нi* и *-н* в пределах текста одного стихотворения, а следовательно, в одних и тех же условиях, а иногда в одних и тех же словоформах: *оҡ-i-нi чек(к)äй* 'пусть вытащит его стрелу' и *оҡ-i-н чекмäк* 'вытащить его стрелу' (ССИБ, с. 19, № 42); *йӳз-i-нi* и *йӳз-i-н* 'ее лицо' (с. 56, № 182); *йӳз-i-н, аҕз-i-н* 'ее лицо', 'ее рот' и *сач-i-нi* 'ее волосы' (с. 21, № 42); *аҕз-i-н* и *йӳз-i-нi, һiджран-i-н* 'расставание с ней' и *кӧз-i-нi* 'ее глаза' (с. 26, № 57); *дард-i-нi* 'его страдание', *һал-iм-нi* 'мое состояние' и рядом *джанiм ҕам-i-н йе* 'печалься о моей душе' (с. 10, № 20); *зӳлфӳң черiк-i-нi* 'войско твоих локонов', *ӧз-i-нi* 'ее самоё' и *кӧңл-ӳм-нi алiб таҕафул-i-н кӧр* '(она) взяла мое сердце, смотри (на) ее небрежность' (ССИБ, с. 14, № 21); *оҡ-i захм-i-нi* 'рану от ее стрелы' и *гӳл джамал-i-н* 'красоту розы', *ҕунча сiрр-i-н* 'тайну бутона', *йӳз-i-н* (с. 20, № 44); *наз-i-нi* 'ее кокетство' и *wiçал-i-н* 'соединение с ней' (с. 22, № 49). Таким образом, можно сказать, что вариантные различия *-нi*~*-н* здесь нейтрализуются их грамматической регулярностью; подобное состояние верифицируется соответствующими данными крымско-татарского языка.

Дат.-напр. падеж *-ҕа, -гä, -ҡа, -кä* в количественном отношении занимает бесспорно доминирующее положение во всех частях посессивно-именной парадигмы. Этот показатель с консонантическим началом употребляется с высокой частотностью при именах с аффиксом принадлежности 1-го лица ед. числа: *кӧңл-ӳм-гä* (ССИБ, с. 13, 18, 21, 26) 'моему сердцу',

д͡жан-ім-ҕа (с. 19, 21, 24, 26) 'моей душе', *көз-ӱм-гä* (с. 8, 18, 22) и *көзлäр-ім-гä* (с. 5) 'моим глазам', *қаш-ім-ҕа* (с. 56) 'ко мне'. Однако в языке лирики монополия показателя дат.-напр. падежа с консонантическим началом после аффикса принадлежности 1-го лица ед. числа нарушается за счет параллельного использования «огузско-туркменского» варианта *-а*. В огузском типе склонения *-а* применяется в строгом соответствии с действием морфонологических правил (после основ, имеющих финалью согласный), здесь же эти правила не действуют, и с точки зрения описанной падежной парадигматики *-а* является избыточным ее членом. Вариант *-а* отмечен в тех же словоформах, которыми иллюстрировалось использование формaтива *-га*, с тем отличием, что словоформы на *-а* гораздо менее частотны, чем аналогичные на *-га*. Примеры: *көӊл-ӱм-ä* (ССИБ, с. 2, № 5; 6, № 13; 28, № 63, с. 66); *д͡жан-ім-а* (с. 6; 11, № 22; 33, № 74; с. 87); *баш-ім-а* (с. 2); *көз-ӱм-ä* (с. 39, № 87); *елік-ім-ä* (с. 60, № 202); *д͡жісм-ім-ä* (с. 47, № 125) 'моему телу', *ħал-ім-а* (с. 49, № 136) 'моему состоянию', *қаш-ім-а* (с. 9, № 18), *йан-ім-а* (с. 38, № 87) 'ко мне'; ср. аналогичное употребление дат.-напр. падежа *-а* в языке «тефсира» (с. 26, 27). Среди словоформ, выступающих с аффиксом дат.-напр. падежа *-а*, наиболее частотны такие сугубо «поэтические» лексемы, как *д͡жан* 'душа' и *көӊӱл* 'сердце'. Однако и для этих слов оформление аффиксом *-а* не является исключительным: словоформы с адекватными гетерогенными формантами *-га* и *-а* могут довольно свободно варьироваться и даже сополагаться рядом в пределах одного стихотворения, например, в ССИБ: *д͡жан-ім-а* и *көӊл-ӱм-гä* (с. 6, № 14) и, наоборот, *көӊл-ӱм-ä* и *д͡жан-ім-ҕа* (с. 10, № 21); *көӊл-ӱм-гä* и *көӊл-ӱм-ä* (с. $66_{6, 7}$); *аҕз-ім-а* и *аҕз-ім-ҕа* (с. 60, № 202); ср. еще: *іш-ім-ä* 'моему делу' и *дард-ім-ҕа* 'моему горю' (с. 78, № 226).

В поэтическом идиолекте Навои отмечается параллелизм тех же форм дат.-напр. падежа: *ҕам-ім-а* 'моей печали' и *алам-ім-ҕа* 'моему мучению'[11], *д͡жан-ім-а*, но *қаш-і-ҕа* (МА $LXVII_{9-11}$). Набор словоформ с показателем *-а* при посессивном аффиксе 1-го лица, в основном совпадая с вышеперечисленным, а в индивидуальных чертах немногим от него отличаясь, у Навои несколько шире, чем у Бабура. См., например, словоформы: *көкс-ӱм-ä* (ТХ, с. 294_5) 'моей груди', *йад-ім-а*[12] 'моей

---

[11] Алишер Навоий. Мезонул авзон. Критик текст тайёрловчи И. Султонов. Тошкент, 1949 (далее — МА), с. $XXXIX_{10-11}$.

[12] А. Н. Самойлович. Четверостишия-туйуги Неваи.— Мусульманский мир. Вып. 1. 1917, с. 19.

памяти', *дамаɧ-ім-а*[13] 'моему мозгу', *афɧон-ім-а* (МА XXXVIII$_1$) 'моему стенанию'; в дополнение к служебным именам *йан-ім-а*, *ķаш-ім-а* здесь отмечено *ал-ім-а* (ТХ, с. 314$_4$ 'ко мне').

При именах с велярной окраской после аффикса принадлежности 2-го лица ед. числа выступает форматив дат.-напр. падежа с консонантическим началом *-ɧа: баш-іӊ-ɧа* 'твоей голове', *ше'р-іӊ-ɧа* 'твоему стиху' (ССИБ, с. 19, № 42), *ķаш-іӊ-ɧа* (с. 9) 'к тебе', *айаɧ-іӊ-ɧа* (с. 13) 'твоей ноге', *аɧз-іӊ-ɧа* (с. 60, № 202) 'твоим устам'. В случаях, когда в фонетической интерпретации заимствования (в нижеприведенном примере — арабизма) были возможны колебания в сторону как веляризации, так и палатализации, в одном контексте могут быть представлены параллельные написания типа وصلینکغه и وصلینکا (ССИБ, с. 51, № 150) 'к соединению с тобой', причем второе написание допускает два чтения аффикса дат.-напр. падежа в составе словоформы: 1) *-гӓ*, т. е. с консонантическим началом (если налицо опущение тешдида, хотя он подразумевается: *waçл-іӊ-гӓ*), 2) *-ӓ*, т. е. с вокалическим началом (если тешдида здесь вообще не было: *waçл-іӊ-ӓ*). Примеров возможности подобного двоякого чтения можно найти очень много, причем как для заимствований, так и для исконных слов с палатальной окраской. На с. 7 и 8 ССИБ представлено по паре *йӱз-ӱӊ-(г)ӓ*, *кӧз-ӱӊ-(г)ӓ* 'твоему лицу', 'твоим глазам'; см. ССИБ, с. 10: *һӱсн-ӱӊ-(г)ӓ* 'твоей красоте'; с. 19: *елік-іӊ-(г)ӓ* 'твоей руке'; с. 58 и 59: *ӧз-ӱӊ-(г)ӓ* 'тебе самому'. Решение вопроса, какой из формантов представлен в таких примерах — с консонантическим или вокалическим началом, связано с характеристикой всего склонения как системы в поэтическом идиолекте Бабура (см. об этом ниже).

Имена с аффиксом принадлежности 1-го лица мн. числа в дат.-напр.падеже получают форматив с консонантическим началом *-га* (*кӧӊл-ӱміз-гӓ* (ССИБ, с. 6) 'нашему сердцу'), как в современных уйгурско-узбекском и кыпчакском типах склонения.

Имена с аффиксом принадлежности 3-го лица регулярно оформляются показателем дат.-напр. падежа с консонантическим началом *-ɧа*, *-га*, без интерфикса *-н-*. Из примеров, весьма многочисленных, приведем следующие: *баш-і-ɧа* (ССИБ, с. 3, 55, 59) 'его голове', *айаɧ-і-ɧа*, *аɧз-і-ɧа* (с. 3) 'его ногам', 'ее устам', *йӱз-і-гӓ* (с. 8, 13) 'ее лицу', *ķаш-і-ɧа* (с. 55, 59) 'к ней', *дард-і-ɧа* (с. 3, 58) 'его горю', *'ішķ аhл-і-ɧа* (с. 8) 'влюбленным', *waçл-і-ɧа* (с. 50) 'к соединению с ней'. Среди этих регулярных форм с высокой частотностью

[13] Алишер Навои. Возлюбленный сердец. Сводный текст подготовил А. Н. Кононов. М.—Л., 1948, с. 6$_{15}$.

одиночным обособленным вкраплением выглядит единственный пример, когда в этих же грамматических условиях дат.-напр. падеж имеет показатель с вокалическим началом *-а*, сопрягаясь при этом с интерфиксом *-н-*: *кӧңл-і-н-ӓ* (ССИБ, с. 9, № 18) 'ее сердцу'; сочетание морфем *-(с)і-н-а* было употребительно в языке «тефсира» (с. 27).

Для поэтического идиолекта Навои характерно несколько более частое употребление сочетания морфем *-(с)і-н-а*, причем без ограничений в лексемном репертуаре: *фаẓа-сі-н-а* 'его пространству', *ўй-і-н-ӓ* 'в его дом', *етаг-і-н-ӓ* 'его подолу' (ТХ, с. 274_2, 283_{13}, 285_{11}), *турбат-і-н-а* (ТХ, с. 285_{16}, 286_4) 'его гробнице', *сатічі қат-і-н-а* (ТХ, с. 284_6) 'к продавцу'; *ла'л(-і) хандан ўст-і-н-ӓ*, *аб-і һайwан ўст-і-н-ӓ* (МА, с. $LXVIII_{10-11}$) 'над улыбающимся рубином', 'над [источником] живой воды', *муҕ дайр-і-н-а* (МА, с. $XLIV_6$) 'в храм огнепоклонников'. Как и у Бабура, у Навои отмечается параллелизм форм на *-(с)і-н-а* и *-(с)і-га*, иногда одних и тех же словоформ, ср. *айаҕ-і-н-а* и *айаҕ-і-ҕа* (ТХ, с. 275_1 и 294_7) 'на его ногу'.

Местн. падеж посессивно-именной парадигмы в различных типах склонения имеет отличия только для имен с аффиксом принадлежности 3-го лица по признаку наличия — отсутствия интерфикса *-н-*. В поэтическом идиолекте Бабура подавляющее большинство таких форм не имеет интерфикса *-н-*, подобно тому как это представлено в современном уйгурско-узбекском типе склонения. Примеры: *һіджр-і-да* (ССИБ, с. 1, 13, 16, 25, 50) и *фірақ-і-да* (с. 17, 23, 54) 'в разлуке с ней', *йўз-і-дӓ* (с. 7) 'на ее лице', *кӧңл-і-дӓ* (с. 6) 'в его сердце', *қаш-і-да* (с. 4, 9, 57) 'перед ней', *ал-і-да* (с. 12, 23, 51, 53, 57) 'перед ним', *ўст-і-дӓ* (с. 19, 20) 'на нем', *ара-сі-да* (с. 55) 'среди них'. Вместе с тем здесь же отмечены формы местн. падежа имен с аффиксом принадлежности 3-го лица, имеющие в своем составе интерфикс *-н-*[14] (т. е. по образцу соответствующих форм огузского или кыпчакского типов склонения). Употребление с интерфиксом *-н-* не столь регулярно и высокочастотно, как словоформ без интерфикса *-н-*, но все же довольно значительно: во всяком случае, число таких

---

[14] В языке «тефсира» формы местн. падежа с интерфиксом *-н-* при посессивном аффиксе 3-го лица были регулярными (с. 27, 29). Выделяя группы памятников письменности по наличию — отсутствию интерфикса *-н-* в посессивных формах локативных падежей, А. К. Боровков имел в виду соответственно «два диалектальных источника, имеющих глубокую историческую перспективу», и отмечал, что «в хикматах эти две линии перекрещиваются, „вставочное н“ то появляется, то исчезает» (А. К. Боровков. Очерки по истории узбекского языка. I. Определение языка хикматов Ахмада Ясеви.— Советское востоковедение. Т. 5. М.—Л., 1948, с. 247).

словоформ с интерфиксом *-н-* заметно превышает количество огузских форм дат.-напр. падежа с формативом *-а* после аффикса принадлежности 1-го лица ед. числа, не говоря уже о формах дат.-напр. падежа имен, имеющих при себе аффикс принадлежности 3-го лица и получающих к тому же интерфикс *-н-*. Примеры форм местн. падежа с интерфиксом *-н-* можно привести для тех же самых слов, которые выше отмечались в форме без интерфикса *-н-: hіджр-і-н-да* (ССИБ, с. 25, № 54 и 56), *қаш-і-н-да* (с. 15, № 33; 16, № 34); см. также: *çафhа-сі-н-да* 'внутри него', *тегра-сі-н-да* 'вокруг него' (с. 14, № 30); *шіддат-і-н-да* (с. 22, № 48) 'в его несчастии'; *hаẓрат-і-н-да* (с. 27, № 59) 'в ее присутствии', *арқа-сі-н-да* 'за ним' (с. 28, № 62). Оба способа оформления местн. падежа — с интерфиксом *-н-* и без него — можно наблюдать в тексте одного стихотворения, а иногда при этом — и в одной словоформе, например, ССИБ, с. 7, № 15: *йӱз-і-н-дä* и *йуз-і-дä*; ср. также с. 16, № 35: *ϖаçф-і-н-да* и *hіджр-і-дä*; с. 15, № 33: *қаш-і-н-да* и *ал-і-да* 'перед ним', *'ішқ-і-да* 'в любви к ней'; с. 36, № 81: *'ішқ ел-і-н-дä* 'у влюбленных' и *'алам аhл-і-да* 'у людей мира'; в № 52 форма с интерфиксом *-н-* — *зӱлфі аст-і-н-да* (с. 24) 'под ее локоном'— наблюдается на фоне рифмы, пронизывающей все стихотворение и представленной посессивно-именными формами местн. падежа без интерфикса *-н-: ϖаçл аййам-і-да* 'в дни свиданья', *фіpақің шам-і-да* 'в вечер разлуки с тобой' (с. 23), *зӱлф-і-дä* 'в ее локоне', *андам-і-да* 'в ее стане', *кäм-і-дä* 'в ее воле', *дам-і-да* 'в ее силке' (с. 24).

В поэтическом идиолекте Навои форма местн. падежа с интерфиксом *-н-* после аффикса принадлежности 3-го лица употребляется заметно шире, без лексемных ограничений, хотя и параллельно с более регулярной формой без интерфикса. В отдельных случаях форма с интерфиксом *-н-* наблюдается и в прозаическом идиолекте Навои. См. в «Муhакамат ул-луғатайн»: *сӧз-і-н-да* 'в его слове' и *ал-і-н-да* 'перед ним'[15], причем те же самые формы показывает список этого трактата, хранящийся в Рукописном отделе ИВ АН УзССР под № 5829 (с. 5_1, 51_5); в «Тарiх-i мулук-i 'аджам»: *іч-і-н-да* (ТМ, с. $59_{10 и 11}$, 85_2), *қаш-і-н-да* (ТМ, с. 80_9).

Для исх. падежа посессивно-именной парадигмы характерны регулярные и высокочастотные формы без интерфикса *-н-* после аффикса принадлежности 3-го лица, например: *хіẓр су(й)-і-дін* (ССИБ, с. 59, № 198) 'от живой воды', *тіші дурр-*

[15] E. M. Quatremére. Chrestomathie en turc oriental. P., 1841, с. 3_{11}, 30_{10} («Тарiх-i мулук-i 'аджам», цитируемое по этому же изданию, обозначается сокращенно: ТМ).

і-дін (с. 21, № 45) 'из жемчуга ее зубов', *ғафлат уйқу-сі-дін* (с. 10) 'от сна беспечности'. Только в одном случае встретилась форма исх. падежа с интерфиксом *-н-* после аффикса принадлежности: *дузах от-і-н-дін* (ССИБ, с. 15, № 33) 'от адского огня'. Столь же единичны, по-видимому, случаи употребления этой формы с интерфиксом *-н-* в языке поэтических произведений как Навои, так и его старших современников. Во всяком случае, у Навои из всего обследованного материала встретилась форма с интерфиксом *-н-* в «Махзан ул-асрар»: *ара-сі-н-дін* (ТХ, с. 286_{10}) 'из середины их'. Ср. также в поэзии старших современников Навои — Лютфи и Атаи, у которых, кажется, названная форма встречается несколько чаще, чем у Навои и Бабура: *чарһ-і гіріфтар ел-і-дін йазамен * чіқмадім һіджран қіш-і-дін йаза мен* 'Я блуждаю по воле превратной судьбы * Из зимы разлуки не выбрался в лето (соединения) я'[16]; *нäшк-лäр-і-н-дін* 'от их острия' и *білмäслiг-і-н-дін* 'от своего незнания'[17].

Местоименная парадигма характеризуется формой род. падежа местоимения 1-го лица ед. числа *менің* (ССИБ, с. 28, № 62) (как и в карлукском типе склонения), 3-го лица ед. числа *анің* (ССИБ, с. 4), 1-го лица мн. числа *біз-iң* (ССИБ, с. 54, № 169 и 81, № 334) — последняя явно с формативом, имеющим вокалическое, а не консонантическое начало, т. е. как в огузском типе склонения. Для поэтического идиолекта Навои обычна форма *біз-iң*, отмечаемая также в его прозаическом идиолекте (см., например: ТМ, с. 97_{20}, с. 102_{1}); в поэтическом идиолекте наряду с *менің* наблюдается «огузско-туркменская» *мен-ім* (см. обе формы в пределах одного бейта — ТХ, с. 281_{4}); колебания *мäнің* (~*мäнім*) при обычности генитива на *-iң* у местоимений личных, указательных, вопросительных (регулярная форма *біз-iң*) отмечены в «тефсире» (с. 27 и 36).

Форма род. падежа *біз-iң*, имеющая показатель с вокалическим началом, системно не коррелянтна с засвидетельствованной в ССИБ (с. 4, № 9) формой вин. падежа того же местоимения *біз-ні*, где представлен аффикс *-ні* с консонантическим началом. См. также: *öз-ÿм-ні* (ССИБ, с. 1, № 1; 6, № 12; с. 14) 'меня самого', *öз-ÿң-ні* (с. 1, № 1; 6, № 12; 12, № 25; 19, № 41; 59, № 198) 'тебя самого'; *сені* (с. 59, № 199).

Дат.-напр. падеж местоимений 1-го — 3-го лица ед. числа *мäнгä* (ССИБ, с. 9, № 18; 21, № 42) 'мне', *сäнгä* (ССИБ,

---

[16] А. Н. Самойлович. Чагатайские туюги Лютфи.— ДАН-В. 1926, май—июнь, с. 79, 80. Исх. падеж с интерфиксом *-н-* при посессивном аффиксе 3-го лица регулярен для языка «тефсира» (стр. 29).

[17] А. Н. Самойлович. Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе. IV. Чагатайский поэт XV в. Атаи, с. 267, 268 (№ 19).

с. 25, № 55, с. 66_7) 'тебе', *анга* (с. 66); *öз-ўм-гä* (ССИБ, с. 21) и *öз-ўм-ä* (с. 6, № 13) 'мне самому'; *öз-ўң-(г)ä* (ССИБ, с. 58, № 198 и 59, № 200) 'тебе самому'. Для местоимения 1-го лица мн. числа форма *біз-ä*, которая представлена у Навои (МА, с. LIV_{14}), в лирике Бабура не отмечена.

Учитывая все случаи морфологического параллелизма «в староузбекском литературном, или, точнее, поэтическом, языке», А. М. Щербак делает вывод «о наложении в нем одной на другую двух разных диалектных парадигм склонения — староузбекской и старотурецкой, шире огузской»[18]. Функционально-стилистический подход к анализу вариантности падежных форм, которая в поэтическом языке не была обусловлена ни фонетически, ни грамматически, попытки как системной, так и количественной оценки каждого из таких параллельно употребляющихся вариантов позволяют внести некоторые уточнения в вывод А. М. Щербака.

При сопоставлении описанной выше картины падежного склонения в поэтическом идиолекте Бабура с таковой в языке «Бабур-наме» напрашивается вывод о стилистической обусловленности всех «огузско-туркменских»[19] падежных параллелизмов в лирике Бабура. Между тем формы, принадлежащие уйгурско-узбекскому типу склонения, составляют стилистически нейтральную основу, которую и в количественном, и в качественном плане можно охарактеризовать как целостную центральную систему с системными взаимоотношениями членов внутри ее. В то же время наблюдения показывают, что на этом нейтральном фоне совокупность огузско-туркменских падежных форм, которая уже по своему стилистически обусловленному характеру является периферийной, не составляет вполне целостной «парадигмы», или, по нашей терминологии, целостной системы.

Прежде всего совокупность огузско-туркменских форм ущербна по составу своих членов: в именной парадигме ее представляет только дат.-напр. падеж с вокалическим началом после основы с консонантической финалью (причем зафиксирован *-а* в единственной словоформе — всего один раз), между тем как род. и вин. падежи с формативами, имеющими вокалическое начало,— *-ің*, *-і* — не наблюдаются; в посессивно-именной парадигме имеется дат.-напр. падеж на *-а* при аффиксах принадлежности 1-го и 3-го лица ед. числа, а также интерфикс *-н-* в локативных падежах при посессивном аффиксе 3-го лица, но нет род. и вин. падежей на *-ің*, *-і*; в место-

[18] А. М. Щербак. Грамматика староузбекского языка, с. 106.

[19] Этот термин А. Н. Самойловича в приложении к названным явлениям представляется нам более удачным, нежели конкретизация «старотурецкий, шире огузский» у А. М. Щербака.

именной парадигме наблюдается род. падеж *-ің* у местоимения 1-го лица мн. числа *(біз-ің)*, но не встретилось вин. падежа *-і* для того же местоимения (ср. *біз-ні*). Из этого явствует, что между членами этой стилистически обусловленной ущербной периферийной системы склонения отсутствуют системные отношения. Следовательно, наличие одной падежной формы с вокалическим началом в формативе не позволяет предсказать ни облигаторности появления гомогенной формы другого падежа[20], ни равновероятной частотности употребления этой последней. В самом деле, нерегулярность употребления огузско-туркменских форм усугубляется неравномерным распределением частотности, характеризующей каждую из этих форм. Наибольшее количество форм с огузско-туркменскими падежными формативами падает на местн. падеж с интерфиксом *-н-* при аффиксе принадлежности 3-го лица (но даже и его частотность не идет ни в какое сравнение с автоматически регулярным использованием местн. падежа без *-н-* в тех же условиях); на втором месте по количественному признаку оказывается дат.-напр. падеж на *-а* после аффикса 1-го лица ед. числа (впрочем, и его частотность значительно уступает частотности форматива *-га*, параллельно употребляющемуся в этих же условиях); единичны словоформы дат.-напр. и исх. падежей с интерфиксом *-н-* при аффиксе принадлежности 3-го лица. Подобное неравномерное и непропорциональное распределение огузско-туркменских падежных форм по их частотности, с одной стороны, подтверждает именно периферийный характер ущербной системы, образуемой совокупностью этих форм. С другой стороны, сообразуясь с подобным количественным параметром этих форм в поэтическом идиолекте Бабура, можно, к примеру, предполагать, что лишь часть написаний типа وصلینکا должна читаться без тешдида, т. е. трактоваться как имеющая показатель дат.-напр. падежа *-а* после аффикса принадлежности 2-го лица ед. числа.

Ясно, таким образом, что «налагающиеся одна на другую» системы склонения в поэтическом идиолекте Бабура — целостная центральная система карлукского типа, с одной стороны, и ущербная периферийная система огузского типа — с дру-

---

[20] В самом деле, например, в ССИБ № 33 (с. 15) находим огузско-туркменские формы местн. и исх. падежей с интерфиксом *-н-* при аффиксе принадлежности 3-го лица: *от-і-н-дін* ‘от его огня’ и *қаш-і-н-да* ‘перед ним’, а рядом помещаются адекватные формы уже без интерфикса *-н-*: *ал-і-да* ‘перед ним’, *'ішқ-і-да* ‘в любви к ней’, *йўзі лăйл-і-дін* ‘от ночи ее лица’ (т. е. ‘от ее сумрачного лица’); в № 48 (с. 22) местн. падеж с интерфиксом *-н-* — *шіддат-і-н-да* ‘в его несчастии’ — соположен с исх. падежом без интерфикса *лаззат-і-дін* ‘от его сладости’.

гой,— не являются равноправными ни по своему характеру (целостная система и система ущербная в своей асимметричной неполноте и непропорциональности), ни по своему положению в ПЛЯ (центральная система и периферийная система), ни по своей частотности (регулярность и примерно равная частотность нейтральных форм карлукского типа склонения, с одной стороны, и нерегулярность, неравномерная частотность огузско-туркменских форм — с другой). Сополагаясь в пределах одного текста, небольшого по размеру, адекватные гетерогенные формы, принадлежащие соответственно центральной системе склонения и ущербной периферийной системе, образуют в поэтическом идиолекте оппозиции, члены которых обладают совсем неодинаковой силой и функциональной нагрузкой, неравноценны по продуктивности, по регулярности употребления и по отношению к «норме» ПЛЯ[21]. Учитывая, что подобная же картина склонения свойственна и поэтическим произведениям Навои, а также то, что аналогичное проникновение огузско-туркменских форм отмечается и в области глагола, служебных имен, послелогов, можно, пользуясь словами В. В. Виноградова, охарактеризовать поэтический вариант среднеазиатско-тюркского ПЛЯ как своего рода «динамическую координацию двух структурных типов языка». С позиций такого подхода к поэтическому варианту ПЛЯ возможно будет по-иному объяснять «интенсивный процесс „брожения" разностилевых, разнослойных элементов в поэтической речи»[22].

Получившаяся в результате такой «динамической координации» сложная система склонения с различными степенями вибрации ряда функционально тождественных гетерогенных падежных форм может быть типологически верифицирована при обращении к современному состоянию узбекских диалектов и говоров. Так, в галляаральском говоре узбекского языка интерфикс *-н-* в посессивно-именной парадигме 3-го лица наличествует в местн. падеже, а в дат.-напр. падеже употребляется факультативно: *-(с)и-н-ә~-(с)и-га*; параллелизм формативов дат.-напр. падежа *-а~-га* наблюдается после аффиксов принадлежности не только 3-го лица, но и также 1-го лица ед. числа: *-м-ә~-м-гә*; вибрация охватывает и гомогенные формы вин. падежа при посессивном аффиксе 3-го ли-

---

[21] А. М. Щербак считает, что вообще «язык поэзии менее чувствителен к понятию нормы, чем язык прозы...» (см.: А. М. Щербак. [Рец. на:] V. Drimba. Syntaxe comane.— НАА. 1974, № 3, с. 204).

[22] Р. Дж. Магеррамова. Взаимоотношение диалектов и говоров азербайджанского языка с письменным литературным языком XVIII в.— Совещание по общим вопросам диалектологии [и] истории языка. Тезисы докладов.., с. 187.

ца: *-(с)и-ни*~*-(с)и-н.* Примеры вибрации различной степени глубины и охвата падежей можно видеть также в найманском, карнабском, кураминском (Ташкентской обл.) и ряде других узбекских говоров. Таким образом, данные современной узбекской диалектологии могут служить подтверждением положения А. К. Боровкова о том, что «источники этих диалектальных элементов („восточных", или „караханидских", и „юго-западных", или „огузских".—*Г.Б.*) находятся в самой Средней Азии... В дальнейшем эти диалектальные источники сыграли свою роль в образовании специально поэтического языка, достигшего такого блеска в творчестве Алишера Навои...» (с. 51)[23]. Безусловно, не меньшее значение во внедрении огузских элементов в поэтический вариант ПЛЯ имела хорезмско-золотоордынская книжно-письменная традиция с ее высоким языковым престижем. Тем не менее, опираясь на данные современной диалектной карты Средней Азии (мы далеки, конечно, от мысли отождествлять ее со средневековым состоянием), можно предположить, что смешанное, неоднородное состояние падежного склонения в поэтическом варианте ПЛЯ находило поддержку в диалектах части населения Мавераннахра, также пользовавшейся ПЛЯ.

3. Падежное склонение в языке «Мубаййин». В назидательно-дидактическом сочинении Бабура «Мубаййин», написанном в стихотворной форме, соотношение центральной системы склонения карлукского типа и ущербной периферийной системы, предназначенной для выделения форм посессивно-именной и местоименной парадигм, уже несколько иное.

Прежде всего здесь еще более заметны доминирующее положение и целостность центральной системы карлукского типа склонения, нейтрализованной в отношении перекрещивания категорий падежа и принадлежности: ее показатели с консонантическим началом употребляются регулярнейшим образом и с наибольшей частотностью во всех трех парадигмах. См. род. падеж *-ніӊ: тäӊрі-ніӊ* (М $14а_4$) 'бога', *сол-ніӊ* (М $37б_3$) 'левого'; *кöкс-і-ніӊ* (М $51а_3$) 'его груди'; *аніӊ* (М $4б_{1, 2}$, $6а_{10}$, $8б_{9, 11}$, $12а_3$) 'его', *барча-ніӊ* (М $7б_{10}$) 'всех', *ḣäр не-ніӊ* (М $7б_{13}$) 'чего-нибудь'. Вин. падеж *-ні: халҡ-ні* (М $13а_2$) 'народ', *аш-ні* (М $5а_9$) 'еду', *сöз-ні* (М $55б_{10}$, $56а_9$) 'слово'; *гäнд͡ж-ім-ні* (М $98а_4$) 'мою казну', *намаз-іӊ-ні* (М $51а_{1, 5}$, $55б_{1, 12}$) 'твой намаз', *тіл-іміз-ні* (М $9а_{13}$) 'наш язык'; *ані* (М $9а_{11}$) 'его', *улар-ні* (М $9а_{10}$, $51а_9$) 'их'.

---

[23] В то же время склонение в языке «тефсира» оценивается с других позиций: «Склонение существительных в языке „тефсира" отражает состояние хронологически разновременнное (разрядка наша.—*Г. Б.*), характерное для памятников XI—XV вв. Это впечатление создают неоднородные формы склонения» (с. 25).

В посессивно-именной парадигме после аффикса принадлежности 3-го лица возможно двоякое оформление вин. падежа, причем на равных правах,— посредством *-нi* и *-н*, нередко варьирование допустимо в пределах одной словоформы, ср. *намаз-i-нi* (М 51а$_{12}$, б$_{11}$, 52б$_{9}$, 54а$_{1}$, 55а$_{11}$) и *намаз-i-н* (М 90а$_{3}$, 91б$_{11}$) 'его молитву', *сöз-i-нi* (М 56а$_{3}$) и *сöз-i-н* (М 14б$_{5}$) 'его слово', *т̣äһäрäт-i-нi* (М 20б$_{7}$) и *т̣äһäрäт-i-н* (М 17а$_{8}$) 'его омовение'. Словоформы с показателями *-нi* и *-н* можно наблюдать буквально рядом в тексте одной главы, например: *зäкäт-i-н* (М 58б$_{7,\ 9}$) и *зäкäт-i-нi* (58б$_{5}$) 'его ежегодное пожертвование на бедных' (соотношение тех же словоформ — М 59а$_{9\ \text{и}\ 10,\ 11}$), *һäр iкi-сi-н* (М 91б$_{7}$) и *һäр iкi-сi-нi* (М 91б$_{4}$) 'каждого из них двоих', *султ̣анат шiwä-сi-н* (М 10б$_{5}$) и *султ̣анат шiwä-сi-нi* (М 10б$_{4}$) 'привычку [к] верховной власти'. В языке «Мубаййин» можно отметить гиперизм показателя *-н*, который здесь имеет тенденцию выйти за пределы строго локализованной части посессивно-именной парадигмы и проникнуть в склонение отдельных местоимений: при закономерных формах вин. падежа *барi-нi* (М 5а$_{5}$, 14б$_{6,\ 10}$) 'всех', а также *бару-сi-н* (М 3б$_{7}$) 'всех их' (ср. еще: *ошбулар-i-н* (М 18а$_{6}$) 'вот этих [принадлежащих им]') местоимение *барi/бару* 'все', 'всё' встречается также в аккузативной форме *барi-н* (М 4а$_{1,\ 3}$, 18а$_{4}$), видимо возникшей в результате переосмысления (архаизации) *бар-i-н*[24].

Дат.-напр. падеж в именной и местоименной парадигмах, а также во всех частях посессивно-именной парадигмы имеет, как правило, показатель с консонантическим началом: *-гä*|*-кä*, *-ҕа*|*-қа*. Примеры: *һақ-қа* 'богу' и *йахшi-ҕа* 'хорошему' (М 3а$_{1,\ 6}$), *iнсан-ҕа* 'человеку' и *кöңлäк-кä* 'рубашке' (3б$_{3,\ 4}$), *бiз-гä* (М 10б$_{11}$, 13б$_{11}$) и *бiз-лäр-гä* (М 10б$_{12}$) 'нам'; *анга* (М 6а$_{5}$) 'ему', *мунга* (М 4а$_{10}$) 'этому', *öз-лäрi-гä* (М 6б$_{10}$) 'им самим'; *елiк-iм-гä* (М 98а$_{1}$) 'моей руке', *һадi-ң-ҕа* (М 97б$_{1}$) 'твоему жертвоприношению'; *iш-i-гä* (М 4б$_{1,\ 2}$, 9а$_{11}$, 10а$_{7}$, 97а$_{3}$) 'его делу', *аһл-i-ҕа* (М 51а$_{8}$, 98а$_{4}$) 'его народу', *ел-i-гä* (М 11а$_{3}$, 13б$_{9}$, 98б$_{5}$) 'его народу', *бiр-i-сi-гä* (М 7б$_{6}$, 19а$_{8}$) 'одному из них', *мулк wiйран болур-i-ҕа* (М 10б$_{6}$) 'к тому, чтобы государство стало опустошенным', *қiлмаҕ-i-ҕа* (М 55б$_{13}$) 'к его деланию'.

Местн. падеж во всех трех парадигмах имеет показатель *-да;* в посессивно-именной парадигме при аффиксе принадлежности 3-го лица интерфикс *-н-* в этом случае, как правило, отсутствует: *йiл баш-i-да айаҕ-i-да* (М 56б$_{5}$) 'в нача-

---

[24] Ср.: Л. Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. 1. СПб., 1869, с. 221: *барi* «имеющееся, всё, все, целый»; ДТС, с. 84: *barï* «все» и с. 83: *bar* «2. находящийся налицо, наличный; весь».

ле (и) конце года', *тӱнлäр-і-дä* (М $51а_{12}$) 'в его ночах'; *йол-і-да* (М $97б_{2}$) 'на его пути', *іш-лäр-і-дä* (М $4б_{5}$) 'в его делах'.

Исх. падеж во всех трех парадигмах выступает с показателем *-дін*; в посессивно-именной парадигме при аффиксе принадлежности 3-го лица интерфикс *-н-* в этом падеже, как правило, не представлен: *кöз-і-дін* (М $50а_{3}$) 'из его глаз', *айаҕ-і-дін* (М $53а_{8}$) 'от его ног', *ҫіфатлар-і-дін* (М $5а_{3}$) 'из его качеств', *һäр қай-сі-дін* (М $19б_{3}$) 'от каждого из них', *ошбу ікі-сі-дін* (М $96а_{8}$) 'от именно этих двух из них'.

Ущербная периферийная система склонения огузского типа, характерная для поэтического варианта ПЛЯ, представлена в «Мубаййин» считанными формами. Дат.-напр. падеж на *-а* отмечен только после аффикса принадлежности 1-го лица ед. числа, причем лишь в двух словоформах, которые могут быть отнесены к поэтической лексике,— *мурад-ім-а* М $14б_{5}$ (то же МБ 246_{1}) 'моей цели' и *дард-ім-а* М $25б_{11}$ (то же МБ 262_{13}) 'моему страданию'. При именах с аффиксом принадлежности 3-го лица форматив дат.-напр. падежа *-а* не наблюдается; в этих условиях интерфикс *-н-* отмечен всего лишь в одной словоформе и притом в сочетании с формантом *-ҕа*: *ніҫаб-і-н-ҕа* (М $56б_{11}$) 'определенному размеру его имущества, подлежащему оплате десятинной податью', ср. близко в тексте дважды повторенную обычную словоформу без интерфикса *-н-*: *ніҫаб-і-ҕа* (М $58а_{2,8}$). Необычная для языка Бабура словоформа *ніҫаб-і-н-ҕа* может быть интерпретирована двояко. Во-первых, и это самое простое, можно предположить описку переписчика, ср. сходную, совершенно явную описку в «Бабур-наме»: *кöңл-(у)м-н-га* (БН 426_{11})[25]. Во-вторых, необычная для языка Бабура словоформа может быть диахронически верифицирована фактами, принадлежащими различным тюркским языкам в разные периоды их развития, в том числе — древнеуйгурскому и современным тувинскому и шорскому (в последнем формы *-і-н-га|-і-н-а* употребляются параллельно); сочетание морфем *-(с)і-н-ҕа* было обычным в языке «Кутадгу билиг», а также среднеазиатского тефсира XIV—XV вв. (с. 27). На этом основании можно предположить, что в языке Бабура эта форма — единичный осколок, который либо сохранился от более старой книжно-письменной традиции, либо привнесен переписчиком, владевшим этой традицией. Как подтверждение этой гипотезы можно было бы рассматривать столь же единичную форму именно того же самого слова в исх. падеже с интерфиксом *-н-* (при восстанавливаемом во время чтения аффиксе принадлежности 3-го лица — дело в том, что *йай* в этой словоформе не

---

[25] Эта описка отмечена также в кн.: C. Brockelmann. Osttürkische Grammatik, c. 74.

проставлен: نصابندین *ніçаб-(і)-н-дін* (М 58а$_7$). Эта форма в тексте «Мубаййин» также выглядит необычным вкраплением на фоне регулярного отсутствия интерфикса *-н-* в названных условиях.

В местн. падеже интерфикс *-н-* при аффиксе принадлежности 3-го лица зафиксирован в пяти словоупотреблениях: *су(w) бар-і-н-да* (М 30а$_9$, то же: МБ 269$_5$) 'при наличии воды', а также еще в двух рифмующихся словоформах, каждая из которых встречается по два раза,— *ада-сі-н-да* (М 33б$_1$, 39б$_{12}$) 'в исполнении его' и *ара-сі-н-да* (М 33б$_1$, 39б$_{12}$) 'среди них'; ср. обычное отсутствие интерфикса *-н-* в названных условиях для служебных имен: *ара-сі-да* (М 94б$_3$), *ӱст-і-дӓ* (12б$_7$, 90а$_{11}$, 97б$_7$) 'на нем', *ал-і-да* (8а$_{10}$, б$_7$) 'перед ним', *йан-і-да* (17б$_5$) 'рядом с ним', *аст-і-да* (18а$_7$) 'под ним', *іч-і-дӓ* (12б$_8$, 15а$_6$) 'в нем'.

Таким образом, падежные формы, представляющие в языке «Мубаййин» ущербную периферийную систему поэтического варианта ПЛЯ, здесь еще более разрозненны и единичны, обладая прямо-таки ничтожной частотностью и нулевой регулярностью. Весьма показательно, однако, что в сравнении с языком лирики Бабура в языке «Мубаййин» убывание (или «свертывание») форм ущербной периферийной системы огузского типа происходит строго пропорционально в зависимости от отмеченной частотности каждой из форм в текстах лирики. Самое большое число словоупотреблений (пять) в «Мубаййин» приходится на формы местн. падежа с интерфиксом *-н-* при аффиксе принадлежности 3-го лица (в языке лирики эта форма по частотности занимает первое место). Две словоформы отмечены для дат.-напр. падежа на *-а* при аффиксе принадлежности 1-го лица ед. числа (в языке лирики эта форма по частотности стоит на втором месте), по одной форме — для исх. и дат.-напр. падежей с интерфиксом *-н-* при аффиксе принадлежности 3-го лица(форма дат.-напр. падежа в этих условиях имеет ярко выраженный не огузский, но кыпчакский характер), причем и в языке лирики соответствующие словоформы являются единичными.

Так или иначе, в языке «Мубаййин» репертуар иносистемных падежных форм доведен до минимума. Если в языке лирики можно говорить о парадигматической избыточности форм падежного склонения, то в «Мубаййин» о подобной избыточности не может быть речи: огузско-туркменские формы здесь действительно являются единичными и разрозненными вкраплениями. Думается, что минимальная дозировка этих форм (что особенно заметно при учете тех же форм в языке лирики) здесь целиком обусловлена предметом изложения, а главное — назначением текста. «Мубаййин» — «Объясняющий» — адресо-

ван подрастающему сыну Бабура, Хумаюну, и излагает хотя и в стихотворной форме, но предельно ясным, лишенным поэтических украшений языком нормы поведения правоверного мусульманина в обыденной жизни.

Из этого факта вытекают два вывода. Во-первых, при сравнении в изучаемом плане языка лирики Бабура и языка «Мубаййин» совершенно ясно видно, что Бабур сознательно относился к употреблению иносистемных, огузско-туркменских и прочих, форм и сознательно регулировал их частотность в зависимости от предмета и, главное, от предназначения поэтического текста. Во-вторых, если Бабур стремился упростить поэтический язык произведения, предназначенного для юного поколения, предельно сокращая употребление иносистемных форм, то это значит, что, с одной стороны, речевые границы общенародного употребления этих форм были различными, а с другой — что даже разные поколения одной семьи обладали речевыми умениями разной степени сложности, видимо, в зависимости от уровня образованности, литературного опыта и пр. Учитывая это и исходя из неодинаковых частотных соотношений гетерогенных, но функционально тождественных падежных форм в поэтических произведениях, адресованных взрослому читателю и юному читателю, видимо только приобщавшемуся к чтению, можно предложить следующую гипотезу. Скорее всего, обыденному, разговорному языку, которым пользовались в семье даже привилегированного образованного сословия, эти формы были несвойственны и, напротив, были свойственны формы, принадлежащие к центральной системе склонения карлукского типа: ведь для того чтобы текст был понятен, его формально-лингвистические характеристики не должны во многом расходиться с языковой системой читателя, которому адресован текст. Тем самым ставится под сомнение утвердившееся мнение о «сильно смешанном» характере ПЛЯ XIV—XV вв. — вполне отчетливо открываются основа этого языка, нейтральная для всех стилевых вариантов ПЛЯ, и сознательно дозируемые иносистемные напластования, которые по традиции использовались преимущественно в поэтическом варианте ПЛЯ.

Таким образом, и в поэтическом варианте ПЛЯ, как он представлен в творчестве Бабура, можно произвести своего рода субстилевую стратификацию по изучаемым признакам, ибо, обладая различной частотностью, а следовательно, различной дистрибуцией в языке произведений разных стихотворных жанров, иносистемные формы ущербной периферийной системы падежного склонения могут служить различительными, дистинктивными признаками. В самом деле, язык лирики Бабура представляет более свободное взаимодействие системно

противопоставленных, гетерогенных падежных форм, подлинную «динамическую координацию двух структурных типов языка». Между тем в языке «Мубаййин» динамичность подобного взаимодействия ограничена жесткими рамками строго минимального дозирования иносистемных форм и явного доминирования нейтральных форм карлукского типа. Уже на основании неодинаковости принципов соотношения и взаимодействия адекватных гетерогенных падежных форм, а следовательно, неодинаковой меры динамичности того и другого текстов приходится усматривать в языке лирики Бабура и языке «Мубаййин» разные субстилевые варианты. Из их сопоставления особенно заметно, что иносистемные формы несут определенную стилистическую нагрузку, являясь одним из значимых компонентов именно «высокого» поэтического стиля. Косвенным подтверждением тому являются и данные «Бабур-наме» по исследуемому вопросу.

4. Падежное склонение в языке «Бабур-наме». Для именной парадигмы характерно, что все падежи имеют формативы исключительно лишь с консонантическим началом независимо от того, оканчивается склоняемое имя на гласный или на согласный. Род. падеж *-ніӊ: мірза-ніӊ* (БН 55_7) 'мирзы' и *қурған-ніӊ* (БН 6_2) 'крепости', *хандақ-ніӊ* (БН 108_{20}) 'окопа, рва'. Вин. падеж *-ні: су(w)-ні* (БН 139_2) 'воду' и *черік-ні* (БН 80_{23}) 'войско', *таш-ні* (59_5) 'камень', *масджід-ні* (58_6) 'мечеть', *Сайрам-ні* (24_{17}). Дат.-напр. падеж *-гӓ|-ға| -қа: ара-ға* (БН 44_{13}, 305_{23}) 'между', *мірза-ға* (21_{20}) 'мирзе' и *қушлар-ға* (6_{19}) 'птицам', *йаш-қа*, *wілайат-қа* (БН $149_{11, 12}$) 'возрасту', 'владению'. Местн. падеж *-да*, *-та: ҳіçар-да* (БН 37_{19}) 'в Хисаре', *йўрт-тӓ* (53_{18}) 'в лагере, на стоянке'. Исх. падеж *-дін*, *-тін: ташқарі-дін* (БН 44_4, 50_8) 'извне', *ӧзбек-дін* (35_{21}) 'из узбеков', *сійасӓт-тін* (20_{18}) '[после] наказания'.

При сопоставлении различных списков и изданий «Бабур-наме» видно, что расхождения и разночтения в области падежей никоим образом не затрагивают парадигматической природы падежных формативов (эти последние при любых взаимозаменах сохраняют консонантическое начало), а касаются лишь их функционирования. Ср., например, род. падеж *-ніӊ* в Хайдарабадском списке[26]: *мірза-ніӊ* (BN $44б_{11}$), *ҳасан-ніӊ* ($53б_7$) *арғунлар-ніӊ* ($210б_8$), *йіл-ніӊ* ($215б_{14}$) и соответственно

[26] The Bābar-nāma. Ed. by A. Beveridge. Leyden — London, 1905 (далее — BN). Приняты также следующие сокращения: К — Керовский список «Бабур-наме», хранящийся в Рукописном отделе ЛО ИВАН СССР под шифром D 685; С — список Сенковского, который хранится там же под шифром D 117.

вин. падеж *-ні* в БН: *мірза-ні* (55_{10}), *һасан-ні* (66_{11}), *арҕунлар-ні* (267_{12}), *йіл-ні* (274_{18}); заметно реже бывает наоборот: вин. падеж *-ні* в BN ($212б_{6}$ *хазанлар-ні*) и род. падеж *-нің* в БН (280_{5} *хазана-нің*). Подобные взаимозамены можно наблюдать также в Керовском списке и, например, в рукописи Сенковского; ср. род. падеж *-нің* в первом (К 97: *қаẓі-нің*) и вин. *-ні* во второй (С 15: *қаẓі-ні*), и наоборот (К 80, 124: *хан-ні*, но С 13, 18: *хан-нің*). Примеры взаимозамены дат.-напр. падежа *-ҕа*, *-гä* (БН 24_{19}: *мірза-ҕа*, 321_{5}: *баҕ-і wафа-ҕа*, 323_{13}: *бад͡жур-ҕа*, 293_{9}: *кімä-гä*) и местн. падежа *-да* (соответственно BN $20а_{8}$: *мірза-да*, $249а_{13}$: *баҕ-і wафа-да*, $251а_{4}$: *бад͡жур-да*).

Посессивно-именная парадигма в формантном отношении почти ничем не отличается от именной парадигмы. Основной показатель перекрещивания категорий падежа и принадлежности — интерфикс *-н-* после посессивного аффикса 3-го лица — в прозаическом тексте «Бабур-наме» полностью отсутствует. Падежное оформление имен с аффиксами принадлежности 1-го и 2-го лица как ед., так и мн. числа не имеет никаких различий внутри себя и ничем не отличается от именной парадигмы; склонение имен с аффиксом принадлежности 3-го лица имеет только одно отличие, и притом факультативное, а именно оформление вин. падежа формативом *-н*. Для посессивно-именной парадигмы, как и для именной, характерны падежные формативы исключительно с консонантическим началом.

Склонение имен с аффиксами принадлежности 1-го и 2-го лица ед. и мн. числа: вин. падеж *-ні* — *р̣іẓа-м-ні*, *іні-ң-ні* (БН 452_{20}) 'мое согласие', 'твоего младшего брата'; *йігітлар-іміз-ні* (БН 132_{10}) 'наших молодцев', *wілайатлар-іміз-ні* (133_{2}) 'наши округа', *хабар-іміз-ні* (49_{2}) 'наше сообщение'; дат.-напр. падеж *-ҕа*, *-гä* — *қаш-ім-ҕа* (БН 143_{11}, 453_{4}) 'ко мне', *рубаруй-ім-ҕа* (144_{11}) 'навстречу мне'; *қаш-ің-ҕа* (БН 452_{21}) 'к тебе'; *ӱст-іміз-гä* (343_{5}) 'на нас', *ӱй-іміз-гä* (282_{3}) 'в наш дом'; местн. падеж *-да* — *менің ал-ім-да* (БН 196_{17}) 'передо мной'.

Склонение имен с аффиксами принадлежности 3-го лица: род. падеж *-нің* — *ат айаҕ-і-нің* (БН 36_{16}) 'ног коня', ср. *öз-і-нің* (БН 29_{11}, 108_{6}) 'самого себя'; дат.-напр. падеж *-гä*, *-ҕа* — *кöз-лäр-і-гä* (БН 46_{18}) 'в его глаза', *тäңрі раһмат-і-ҕа* (БН 190_{23}) 'к милости божьей', *аһл-і-га* (БН 38_{1}) 'его населению'; местн. падеж *-да* — *қазақліҕ-і-да* (БН 213_{2}) 'во [время] его казачества', *дарwаза-сі-да* (143_{14}) 'в его воротах', *таң баш-і-да* (149_{18}, 446_{9}) 'в начале утра'; исх. падеж *-дін* — *барі оҕланлар-і-дін*, *барі қізлар-і-дін* (БН $10_{14,18}$) 'из

всех его сыновей', 'из всех его дочерей', *ата-сі-дін* (БН 396_6) 'от его отца'.

Единственное отличие посессивно-именной парадигмы от именной приходится на вин. падеж имен, снабженных аффиксом принадлежности 3-го лица,— в оформлении этого падежа здесь имеются колебания. С одной стороны, как и в именной парадигме и других частях посессивно-именной парадигмы, для имен с аффиксом 3-го лица используется, причем весьма часто, обычный показатель вин. падежа *-ні*: *хабар-і-ні* (198_{17}) 'его известие', *ат-і-ні* (41_8) 'его коня', *хатун-і-ні* (30_7) 'его жену', *баш-і-ні* (БН 265_{13}, BN $208а_{12}$) 'его голову'. С другой стороны, наряду с *-ні*, хотя здесь и заметно реже его, в этом случае употребляется гомогенный (с консонантическим началом, но без гласной финали) формант *-н*. Примеры, встретившиеся нам в издании Ильминского, немногочисленны: *ілқілар-і-н сӯруб кішілар-і-н ӧлтӯрӯб* (БН 88_3) 'угнав много их скота, убив много их людей', *қалін кіші-сі-н қірҕан ӯчӯн* (БН 14_{19}) 'из-за того, что истребил много их людей', *йігітлар-і-ні хаҫҫа таб-і-н қіліб* (БН 19_{10}) 'создав особый отряд [из] его молодцов'. Правда, сопоставление этого издания с коренным для него Керовским списком и с рукописью Сенковского показывает, что в некоторых, довольно редких случаях Н. И. Ильминский «подравнивал» отдельные формы с *-н* под более распространенные на *-ні*, ср. К 118: *іхтійар-і-н* (اختيارين), так же С 17, но БН 26: *іхтійар-і-ні* (اختيارينی). Если исходить из отмеченного случая замены Н. И. Ильминским *-н* на *-ні*, можно было бы предположить, что именно этим и вызваны подобные же расхождения между его изданием и изданием Хайдарабадского списка; ср. BN $231а_4$: *кіші-сі-н*, но БН 295_{19}: *кіші-сі-ні*; BN $35б_6$: *тарh-і-н* 'его резервный отряд', но БН 43_{23}: *тарh-і-ні*; BN $40б_8$: *джіhат-і-н* 'его причину', но БН 50_4: *джіhат-і-ні*. Однако подобной трактовке препятствует наличие примеров противоположного характера, когда показателю *-ні* в Хайдарабадском списке соответствует *-н* в издании Ильминского; ср. БН 422_{19}: *іш-і-н* 'его дело', но BN $327а_5$: *іш-і-ні*. Если же учитывать при этом, что в языке лирики Бабура и в языке «Мубаййин» формы на *-ні* и *-н* обладают одинаковой грамматической регулярностью, их можно признать стилистически равноправными в ПЛЯ XV — начала XVI в.

В целом же расхождения в области посессивно-именной парадигмы по изданным и неизданным спискам и рукописям «Бабур-наме» не затрагивают падежной парадигматики (в результате этих расхождений не появились гетерогенные варианты падежных показателей), а касаются лишь функциони-

рования отдельных падежей, семантика которых допускает их взаимозамены.

Местоименная парадигма в целом также располагает падежными показателями с консонантическим началом. Род. падеж *-нің:* 1-е лицо ед. числа *менің* (БН 80_{10}, 92_{7}, 129_{6}, 144_{12}, 242_{15},, 251_{15}, 452_{19}, 453_{4}), 1-е лицо мн. числа *біз-нің* (БН 75_{3}, 81_{23}, 101_{12}), *біз-лäр-нің* (83_{19}) (ср. разные способы образования субстантивированного притяжательного местоимения — на базе род. падежа *біз-нің-кі* (БН 101_{20}) или же вин. падежа *біз-ні-кі* (БН 135_{12}), но в том и другом случае с использованием показателей с консонантическим началом); 2-е лицо ед. числа *сенің* (БН 30_{8}) (ср. притяжательное местоимение *сенікі* (BN $264a_{1}$)) и мн. числа *сіз-нің* (БН 144_{14}). Род. падеж местоимения 3-го лица ед. числа представлен двумя формами — более частотной *анің* (БН 26_{20}, 206_{21}, 207_{20}, $213_{3,13}$, 220_{18}) и весьма редкой *унің* (БН 351_{12}, то же BN $271a_{14}$: *унің*), мн. числа *алар-нің* (БН 29_{23}); род. падеж *-нің* указательных местоимений *му-нің* (БН 220_{18}), *бу-лар-нің* (БН 343_{23}), возвратного местоимения *öз-і-нің* (БН 180_{23}). Вин. падеж *-ні* лично-указательных местоимений *ані* (БН 52_{1}), *ошбу-ні* (БН 264_{1}), возвратного местоимения *öз-лäрі-ні* (БН 126_{22}), неопределенного местоимения *häр кім-ні* (БН 351_{12}). Дат.-напр. падеж *-гä*, *-ҕа*, очень редко *-қа* — все эти формативы представлены в варьирующихся словоформах местоимения 1-го лица ед. числа, ср.: *мен-гä* (БН 11_{2}, 126_{2}, 146_{16}), *мäн-гä* (БН $451_{1,5}$), *ман-ҕа* (БН 120_{20}), *ман-қа* (БН 127_{22}, 128_{21}, 141_{2}); местоимения 1-го лица мн. числа *біз-гä* (БН 47_{6}, 79_{2}); 2-го лица ед. числа *сен-гä* (БН 320_{22}, $451_{1,5,21}$) и мн. числа *сіз-гä* (БН 144_{12}); 3-го лица ед. числа *анга* (БН 11_{4}, 255_{19}) и мн. числа, в двух формах — *алар-га* (БН 67_{13}) и *улар-ҕа* (125_{21}), возвратного местоимения *öз-і-гä* (БН 29_{9}) и указательных *мунга* (БН 31_{5}), *мундақ-қа* (БН 214_{10}). Местн. падеж *-да*: ср. формы лично-указательных местоимений *анда* (БН 247_{7}) и *унда* (БН 118_{9}), *алар-да* (БН 350_{2}), *мунда* (БН 19_{1}), *ошбунда* (БН 468_{10}, 490_{20}). Исх. падеж *-дін*: 1-е лицо мн. числа *біз-дін* (БН 108_{6}), 3-е лицо мн. числа — в двух формах *алар-дін* (БН 44_{9}) и *улар-дін* (БН 118_{12}), указательного местоимения *ошандін* (БН 112_{23}).

Местоименная парадигма для всех типов тюркского склонения представляет собой наиболее сложный случай перекрещивания категорий падежа и «притяжательности~местоименности», требующий особого изучения. Отметим только, что в «Бабур-наме» не наблюдается падежных форм местоимений, которые бы резко противоречили обрисованному выше единству именной и посессивно-именной парадигм. Во всяком случае, «огузско-туркменская» форма род. падежа местоиме-

ния 1-го лица ед. числа *менім* (БН 267_{20}) воспринимается как единичное инородное вкрапление[27] на фоне обычного *менің*, к тому же она не подтверждается ни соответствующим текстом BN $211а_{2}$, где она не зафиксирована, ни данными поэтического идиолекта Бабура, которому она не свойственна. Остальные расхождения изданий Н. И. Ильминского и А. Беверидж не затрагивают парадигматики личных и прочих местоимений, не показывают расхождений в характере падежных формативов, но относятся лишь к функционированию соответствующих форм. Ср. БН 320_{22}: *сӓн-гӓ болсун* 'пусть будет тебе' и BN $264а_{1}$: *сенікі болсун* 'пусть будет твоим'. Ср. также случаи взаимозамены род. и вин. падежей местоимений: BN $210б_{12}$: *біз-нің*, БН 265_{15}: *біз-ні* и противоположный случай: БН 14_{14}: *мунің*, но BN $13б_{11}$: *муні*.

В целом падежное склонение в его основных соотношениях именной и посессивно-именной парадигм для языка «Бабур-наме», наиболее полно представляющего прозаический вариант ПЛЯ своего времени, должно быть охарактеризовано как целостная система, последовательно гомогенная и единообразная, пропорциональная и симметричная, с очень незначительной, мозаично-единичной вибрацией в строго локализованной части посессивно-именной парадигмы (причем второй член вибрирующей пары показателей вин. падежа *-ні*~*-н* для имен с аффиксом принадлежности 3-го лица, во-первых, гомогенен всей анализируемой системе склонения, во-вторых, обладает гораздо меньшей частотностью, чем обычный *-ні*). Посессивно-именная парадигма почти полностью (за исключением указанной факультативной и менее частотной черты — вин. падеж *-н*) выводима из именной парадигмы; обе парадигмы предсказуемы во всех своих частях. Тип падежного склонения, представленный в языке «Бабур-наме»,— четко выраженный карлукский.

5. О роли Бабура в решении проблем лингвостилистической стратификации ПЛЯ. Если сравнить в изучаемом отношении язык «Бабур-наме» и язык лирики, язык «Мубаййин», то становится видно, что в прозаическо-мемуарном жанре вполне осознанно произведен целенаправленный отбор падежных форм и проведена значительная регламентация в области склонения в аспекте утверждения карлукского его типа как пока еще не кодифицированной нормы. Именно трудами Навои и

---

[27] Столь же неожиданные и единичные «огузско-туркменские» формы, например *білмам* БН 402_{4} (ср. BN $310а_{11}$ *білман*, тоже огузская форма, но довольно часто употребляющаяся в «Бабур-наме») и *ілӓ* С 20 (К 148, БН 32 *біла*), по-видимому, также целиком лежат на совести переписчика.

Бабура формам карлукского типа склонения был придан известный языковой престиж[28].

Языковой анализ «Бабур-наме» показывает, что в лингвистическом плане Бабур пошел дальше Навои: он с полной четкостью разграничил формально-лингвистические средства, используемые, с одной стороны, в поэзии, а с другой — в прозе, и тем самым окончательно завершил дифференциацию поэтического и прозаического вариантов ПЛЯ, начатую трудами Навои. «Бабур-наме», признаваемое «крупным явлением в литературной жизни первой четверти XVI в.»[29], представляет собой образец завершенности такой дифференциации: в этом прозаическом произведении Бабур сознательно избегает огузско-туркменских форм, причем не только в склонении, но также, например, в области послелогов и служебных имен, вспомогательных глаголов (из этих последних употребляются только *ḳіл-* 'делать', но не *айла-*, и *бол-* 'становиться', но не *ол-*).

Новаторству Бабура в лингвистическом аспекте способствовали факторы социолингвистические и, в частности, его более высокое и независимое (по сравнению с Навои) социальное положение: этот «образованнейший человек своего времени и блестящий поэт»[30], недюжинный писатель и трезвый хронограф, принадлежащий к правящей тимуридской верхушке, а впоследствии ставший основателем империи Великих Моголов, не подлаживался к вкусам и запросам придворной литературы, изощрявшейся в нанизывании изящных метафор и «лучезарно-красноречивых фраз». Бабур был оригинален не только в плане содержательном (что в историографической литературе отмечалось не единожды); что касается вопросов языка и стиля, то он первым осуществил настойчивое пожелание знаменитого предшественника — Тимура, который некогда безуспешно требовал от составителя «Дневника похода Тӣмӯра», чтобы сочинение было написано «языком, далеким от витийства и близким к пониманию»[31]. В «Бабур-наме», написанном, по сло-

---

[28] В иных терминах это признавал А. К. Боровков. Говоря о «наличии „вставочного" *н* при локативных падежах после основ с посессивным аффиксом 3-го лица», он указывал: «Это морфологическая особенность памятников до эпохи Навои, когда закрепилось склонение локативных падежей без „вставочного" *н*» (с. 29).

[29] История Узбекской ССР. Т. 1. Кн. 1. Таш., 1955, с. 448. См. также: С. А. Азимджанова. Предисловие.— Бабур-наме. Записки Бабура. Таш., 1958, с. 5, 7.

[30] История Узбекской ССР. Т. 1. Кн. 1, с. 447.

[31] Г̣ийāс̱аддӣн 'Алӣ. Дневник похода Тӣмӯра в Индию. М., 1958, с. 24. В связи с вышесказанным представляет интерес тот факт, что и другой писатель, бывший одновременно полководцем и императором,— Кай Юлий Цезарь, с военными записками которого нередко сравнивают «Бабур-наме», был, так же как и Бабур, пуристом в отношении языка (А. Мейе. Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954, с. 16).

вам Н. И. Ильминского, «без всякого притязания на литературное щегольство» (БН, Предисловие, с. I), отказ от традиционных риторических украшений и лингвостилистических ухищрений, зримая простота языка, как теперь можно видеть, были результатом, во-первых, сознательного отказа Бабура от весьма престижной до него языковой традиции, дань которой писатель отдал в своей лирике, и, во-вторых, его смелого, новаторского подхода к проблемам языка и стиля [32].

Опираясь на предварительные наблюдения, по данным произведений Навои можно было бы предложить нижеследующую стилистическую стратификацию ПЛЯ: 1) поэтический («высокий») стиль — соответственно поэтический вариант ПЛЯ; 2) прозаический стиль — соответственно прозаический вариант ПЛЯ, отличающийся от поэтического меньшей насыщенностью огузско-туркменскими формами, которые здесь имеют ярко выраженный характер разрозненных вкраплений: а) «высокий» прозаический стиль с облигаторным (как и в поэзии) наличием иносистемных элементов — своего рода переходная ступень от поэтического стиля к нейтрализованному прозаическому; б) нейтрализованный прозаический стиль.

Стилистическая стратификация ПЛЯ по данным произведений Бабура предстает уже в несколько измененном (смещенном) виде: 1) поэтический стиль — соответственно поэтический вариант ПЛЯ: а) «высокий» поэтический стиль со значительной степенью насыщенности иносистемными формами; б) нейтрализованный поэтический стиль, по умеренности использования иносистемных форм представляющий собой как бы переходную ступень к нейтральному стилю; 2) прозаический нейтральный стиль, исключающий употребление иносистемных форм, по крайней мере в области падежного склонения, послелогов и служебных имен, вспомогательных глаголов.

Из этих двух лингвостилистических построений можно видеть, что литературной деятельностью Навои и Бабура была узаконена стилистическая стратификация ПЛЯ: поэтический вариант ПЛЯ — прозаический вариант ПЛЯ, каждый со своими, от Навои к Бабуру все более специализирующимися формально-лингвистическими средствами выражения. На эту объективно существовавшую в XV — начале XVI в. стилистическую стратификацию как бы налагается индивидуальное, а именно

[32] Учет вышеназванных обстоятельств, как и самого характера языка «Бабур-наме», может способствовать решению давно дискутируемого вопроса о том, представляет ли собой это произведение подневные записи их автора, которые делались непосредственно сразу после описываемого события, или же оно было создано целиком в более поздний период жизни Бабура. Основываясь на том, ка́к решаются вопросы стиля и использования формально-лингвистических средств выражения в «Бабур-наме», мы склоняемся ко второй из названных гипотез.

авторский подход к лингвистическим проблемам своего времени, к языковому престижу литературно-письменной традиции.

6. О природе ПЛЯ XV — начала XVI в. и некоторых направлениях его развития. На примере изучения характера соотношений стилистических различительных элементов в языке разножанровых произведений Бабура ясно видно, как необходим строго дифференцированный подход к языковым явлениям в плане принадлежности их к поэтическому или прозаическому варианту ПЛЯ. В противном случае квалификация их будет недостаточно точной. Так, например, по поводу интерфикса *-н-* в формах локативных падежей имен с аффиксами принадлежности 3-го лица говорится: «...нет его и в памятниках XV—XVI вв., но группа памятников сохраняет „вставочное *н*“»[33] или: «Это морфологическая особенность памятников до эпохи Навои, когда закрепилось склонение локативных падежей без „вставочного *н*“» («тефсир», с. 29). Между тем из приведенного анализа видно, что наличие или отсутствие интерфикса *-н-* в названных грамматических условиях в произведениях как самого Навои, так и Бабура является стилистически обусловленным и зависит от того, с поэтическим или прозаическим вариантом ПЛЯ мы имеем дело. Точно так же не упоминается о принадлежности к поэтическому варианту ПЛЯ, когда безотносительно к жанру констатируется наличие падежных формативов с вокалическим началом[34], между тем, как явствует из авторских примеров, имеется в виду именно поэтический вариант ПЛЯ.

Другой способ подачи иносистемных форм — это, также не отмечая их стилистической обусловленности, преподносить различия типов склонения в качестве фонетических явлений, связанных «с утратой начального консонанта» или «ослаблением» *-qa, -γa, -ga* в *a*[35], хотя из приводимых примеров видно, что подобные «утраты» и «ослабления» действуют только в языке поэзии. Не дают представления об истинных соотношениях гетерогенных падежных форм также и указания на то, что в локативе «в языке поэзии после посессивного суффикса 3-го лица часты *-nda/-ndä*» и в аблативе «в языке поэзии после посессивного суффикса 3-го лица часты *-ndïn/-ndin*»[36], тем более что примеры подчас приводятся без документации. Частотность иносистемных падежных форм также

---

[33] См.: А. К. Боровков. Очерки по истории узбекского языка. 1, с. 247.

[34] А. М. Щербак. Грамматика староузбекского языка, с. 106, 112—113. Ср. наличие соответствующих помет в кн.: J. Eckmann. Chagatay manual. Bloomington, 1966, с. 86, 92, 84—95.

[35] C. Brockelmann. Osttürkische Grammatik, с. 154 и 74.

[36] J. Eckmann. Chagatay manual, с. 92 и 94—95.

требует конкретизации. Например, в поэзии Бабура формы на *-н-дін* единичны; они не столь широко употребительны, как, например, *-н-да*, и в поэзии Навои; закономерен, таким образом, вопрос: в произведениях каких именно поэтов *-н-дін* используется часто?

Подача всех гетерогенных падежных форм в едином потоке как свойственных в целом ПЛЯ XV—XVI вв., без разграничения его поэтического и прозаического вариантов, делает возможным утверждения как о «ясно выраженной тенденции отдаления ПЛЯ от живого разговорного языка даже опорных диалектов» в донациональный период (М. З. Закиев), так и, в частности, о том, что «в эпоху Навā'ӣ „чагатайский" язык... оторвался от той или иной конкретной диалектной базы»[37].

Между тем, как свидетельствуют наблюдения над языком разножанровых произведений именно Навои и Бабура, эта «тенденция отдаления» действовала вовсе не столь непрерывно и прямолинейно, как это можно было бы себе представить исходя из приведенных высказываний, и уж по крайней мере — не во всех вариантах ПЛЯ. Яркий пример тому — лингвистическая деятельность Навои и особенно Бабура, активно предпринимавших попытки сблизить прозаический вариант ПЛЯ в его формально-лингвистических характеристиках с языком тюрков Мавераннахра и тем самым переменить диалектную ориентацию для ПЛЯ своего времени. (Иначе говоря, Навои и Бабур в борьбе за эффект информативности своих произведений стремились уменьшить разрыв между ПЛЯ, на котором они писали, и языковой общностью читателей, которым непосредственно эти произведения были адресованы.) Именно в этом плане следует толковать широко известное высказывание Бабура о том, что язык Навои, его старшего единомышленника по лингвистической деятельности, в основе своей был ориентирован на говор городского населения Андижана.

В свою очередь, системное изучение соотношения гетерогенных форм падежного склонения в поэтическом варианте ПЛЯ приводит к заключению, что традиционное искусственное напластование ущербной периферийной системы склонения огузского типа на нейтральную центральную систему склонения карлукского типа в этом варианте ПЛЯ могло поддерживаться кыпчакским языковым окружением и, более того, восприниматься им в качестве родственного. Такому восприятию способствовали следующие черты «собственно поэтического» склонения: 1) закрепление за именной парадигмой падежных показателей с консонантическим началом; 2) отличия (хотя и

[37] А. М. Щербак. Грамматика староузбекского языка, с. 13.

факультативные, неодинаково регулярные) песессивно-именной парадигмы от именной: а) интерфикс *-н-* после посессивного аффикса 3-го лица в формах локативных падежей; б) форматив дат.-напр. падежа с вокалическим началом при аффиксах принадлежности 1-го (и 2-го?) лица ед. числа, а также 3-го лица; в) форматив вин. падежа после аффикса принадлежности 3-го лица *-н*.

Благодаря тому что поэтический вариант среднеазиатско-тюркского ПЛЯ XV — начала XVI в. по формально-лингвистическим параметрам своего склонения воспринимался носителями кыпчакских языков как имеющий родственные черты, он получил широкое распространение, стабилизируя свои гетерогенные падежные формы в качестве свойств поэтического койне и придавая им в силу этого статут наддиалектных черт. Взгляд на поэтический вариант ПЛЯ как на койне был механически перенесен на ПЛЯ в целом, включая его прозаический вариант.

Системный и функционально-стилистический дифференцированный анализ фактов ПЛЯ, включающий в себя изучение взаимодействия структуры и парадигматики склонения, последовательный учет стилистической стратификации ПЛЯ на каждом этапе его развития показывают, что репертуары форм различны для поэтического варианта ПЛЯ, с одной стороны, и для прозаического — с другой, и благодаря этому позволяют пересмотреть старинное воздействие, согласно которому «книжный язык представляет больше или меньше искусственную, случайную и произвольную смесь разных языков и наречий»[38] и отголоски этого воззрения в современной тюркологии.

[38] Из письма Н. И. Ильминского, цит. по: На память о Ник. Ив. Ильминском. Казань, 1892, с. 149.

Д. Д. Васильев

ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ ЭПИГРАФИКА ЮЖНОЙ СИБИРИ

Бассейн Енисея остается на первом месте по числу находок тюркской эпиграфики. Полевые исследования последних лет в этом районе позволили пополнить список памятников письменности древних тюрков рядом новых находок. Ниже предлагаются воспроизведения, транскрипция и перевод нескольких надписей, ранее не публиковавшихся или требующих уточнения. Индексация памятников дана в соответствии со сводным указателем памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала их распространения[1].

Е 101. БАЙКАЛОВО
(рис. 1)[2]

Надпись находится на скале севернее Абакана, на берегу Красноярского водохранилища, в местности Байкалово, второй распадок с юга на север, в 25—30 м от берега. Надпись в одну строку, состоит из 17 знаков, процарапанных инструментом с тонким лезвием. Средняя высота знаков — 5—6 см.

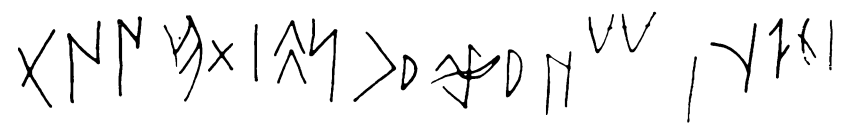


Рис. 1. Байкалово. Е 101

Транскрипция:

$s^2\ {}^{i}z\ddot{a}\ {}^{a}q \quad q^{a}j^{1}a \quad j^{1}ur^{1}t^{1}\ {}^{\ddot{a}}\check{s}^{2}\ {}^{\ddot{a}}d^{2}g\ddot{u} \quad \ddot{o}d^{2}$

[1] Д. Д. Васильев. Памятники тюркской рунической письменности азиатского ареала.— СТ. 1976, № 1, с. 71—81.

[2] Пользуясь случаем, чтобы поблагодарить Я. А. Шера, который обнаружил и зарисовал эту надпись и любезно предоставил ее автору.

Перевод:

«Вам,— белая скала, родина, друг,— [желаю] доброй поры!»

Примечания.

Последнее слово *öd* 'время, определенная пора' в подобной стилистической позиции в рунике встречается впервые. В. В. Радлов приводит в словаре близкий пример из «Кутадгу билиг» (174_2): *pudun a azïq qïl polu bärzä öd* 'делай выгоду для народа, пусть время такое будет!'[3]. Семантически близкий пример дают также уйгурские буддийские тексты: *kin keligme öd* 'грядущее время'[4].

Из палеографических особенностей надписи можно отметить перебой в позиции знака для *a*/*ä* — ʅ/ʃ и зеркальный вариант *g* — ϶.

Е 104. ОЗНАЧЕННОЕ II
(фото 1—3)[5]

Памятник представляет собой плоский обломок плиты с обработанной поверхностью. Обнаружен был в поселке Означенное в 1972 г. М. И. Боргояковым и С. Г. Кляшторным. В настоящее время хранится в Абакане в Хакасском НИИЯЛИ. Надпись расположена на трех сторонах: по одной строке на узких боковых и 6 строк — на широкой передней плоскости, в нижней части которой высечена тамга. Надпись выполнена опытным резчиком — строки строго параллельны, знаки одинаковой высоты и пропорций, закругления и пересечения линий без срывов руки, знаки высечены глубоко, специальным инструментом. С технической точки зрения памятник может быть отнесен к лучшим образцам тюркской рунической эпиграфики. Фотографии достаточно отчетливо воспроизводят текст.

Транскрипция:

[Правая сторона:] *aγïl*^{1a}*: š s(?)...*

[Левая сторона:] *ä*$_{r}^{2}$

[Фасад:] [1] *oz*^{a}*t*^{1} ^{a}*p*^{a}*m...*

[2] *t*^{2}*ir*^{2} *(ig-?)...*

---

[3] В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. Т. 1. Ч. 2. СПб., 1893, стб. 1260.

[4] W. Bang, von Gabain. Türkische Turfan-Texte. IV.— SPAW. Bd 24. 1930 (Anmerk. 36).

[5] Фото выполнены В. П. Бодровым.

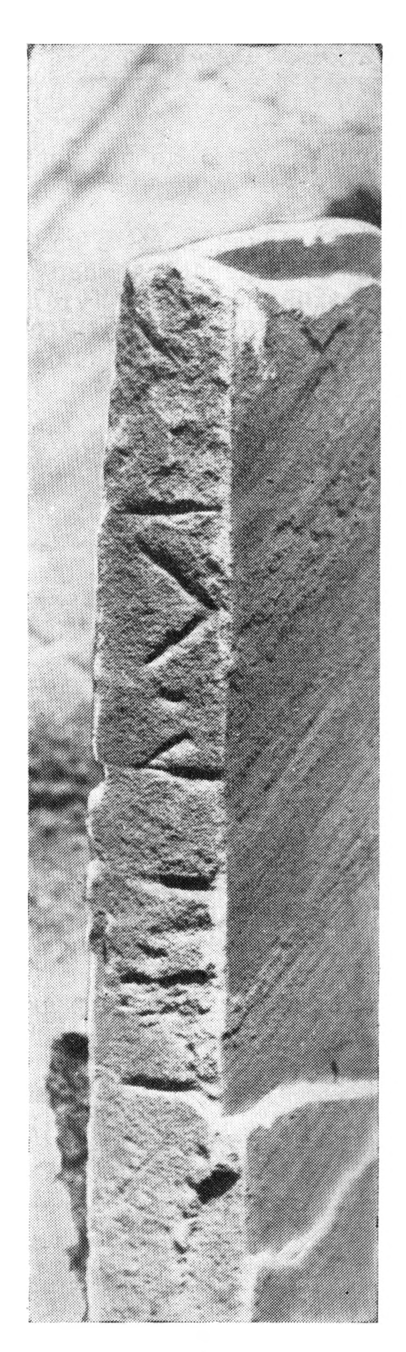


Фото 1. Означенное II
(правая сторона)

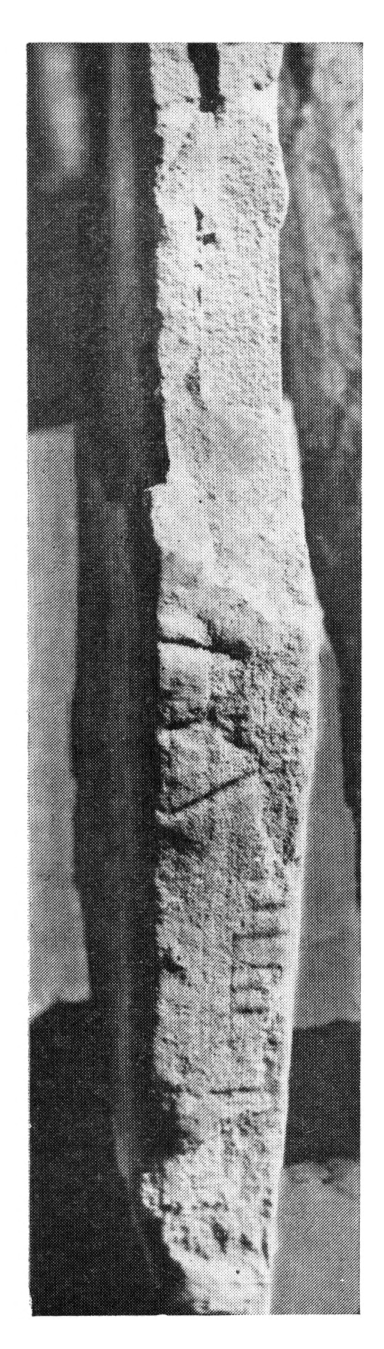


Фото 2. Означенное II
(левая сторона)

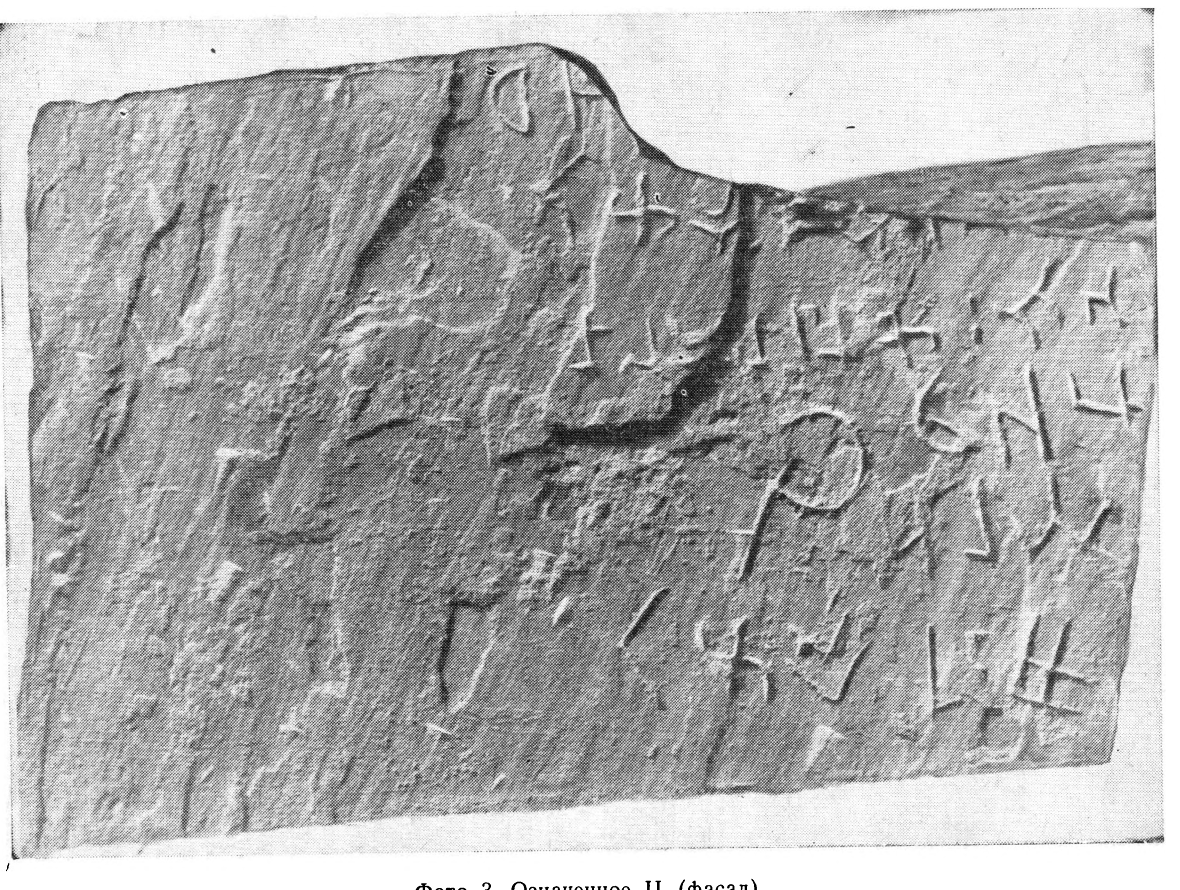


Фото 3. Означенное II (фасад)

[3] $j^{2}\ddot{u}z$ ...
[4] $^{a}ɒ\ddot{\imath}t^{1}\ddot{\imath}ɒ\ \ s^{2}iz\ :\ k^{2}\ddot{o}(k^{2}—?)$...
[5] $oz^{a}t^{1}\ ^{a}p^{a}m$...
[6] $j^{1a}q$...

Перевод:

[Правая сторона:] «Плачь!..
[Левая сторона:] Муж...
[Фасад:] [1] Мой старший родственник (предок) Озат...
[2] живой (?)...
[3] сто ...
[4] подчинитесь,— вы! (?) Небо...
[5] мой старший родственник (предок) Озат...
[6] приблизился (?) ...»

Примечания. Обломок памятника содержит лишь начальные части слов, и общее содержание эпитафии восстановить невозможно. Однако текст все же имеет определенную ценность как источник. В 1-й и 5-й строках повторяется имя, чтение которого вряд ли может вызвать сомнение. Строка 4 сохранила наибольшее количество знаков, в том числе и разделительное двоеточие. Здесь поверхность камня более разрушена, чем в других строках. Натурные наблюдения позволили установить все уцелевшие знаки. Для *ɒ* здесь вариант [illegible], который отмечен также, например, в енисейских памятниках № 2, 25, 116. Хотя все знаки слова могут быть легко восстановлены, все же нельзя быть абсолютно уверенным в чтении этой строки, так как мы располагаем лишь фрагментом текста.

Палеографически памятник выделяется среди енисейских текстов. Начертание ряда знаков приближается к рунам на бумаге из Восточного Туркестана и отчасти к группе Тайхир-Чулу (Хойто-Тамир)[6]. Это графемы 4-й строки для k^{2} и *ü*, 4-й и 5-й строк для t^{1} и *z*, 5-й строки для губной гласной.

Е 87. ПРЯСЛИЦЕ МИНУСИНСКОГО МУЗЕЯ, инв. № 2164 (фото 4—5, рис. 2)

Частичная прорисовка текста была опубликована в 1953 г. со значительными отклонениями от оригинала[7]. Был приведен

[6] W. Radloff. Die alttürkischen Inschriften der Mongolei. 3. Lfg. St.-Pbg., 1895, с. 260—268; Corpus Scriptorum Mongolorum. T. 16. Fasc. 1. Les dessigns piktographiques et les inscriptions sur les rochers et sur les steles en Mongolie. Ulanbaatar, 1968, с. 34—36.

[7] Э. Р. Рыгдылон. К древнетюркским рунам Прибайкалья.— ЭВ. Вып. 8. 1953, с. 90.

Фото 4*а, б*. Пряслице с руноподобной надписью (знаки на плоскостях диска)

Фото 5*а, б, в, г*. Пряслице с руноподобной надписью (надпись по окружности диска)

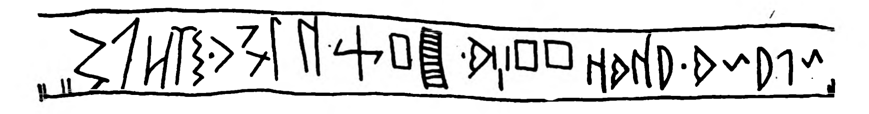


Рис. 2. Пряслице с руноподобной надписью

только текст, нанесенный на боковую поверхность цилиндрического прясла (фото 5*а*). Однако на обеих плоскостях также имеются знаки, слабо процарапанные тонким резцом (фото 4).

Палеографически памятник выделяется среди енисейских рунических текстов: несколько аллограф являются уникальными для этого региона и затрудняют чтение. Принимая во внимание регион находки, а также известную по другим примерам практику надписей на пряслицах, полагаем возможным считать этот текст одним из образцов тюркской рунической эпиграфики.

КОШ-АГАЧ (АЛТАЙ)
(рис. 3)

Наскальная надпись в долине р. Юстыд в 70 км от дер. Кокуря Кош-Агачского района Горно-Алтайской АО была в 1971 г. обнаружена Д. Г. Савиновым, зарисована им и любезно предоставлена автору. Однако автору не было известно, что надпись уже была зарисована в 1969 г. Е. М. Тощаковой. После выхода в 1973 г. публикации надписи[8] в зарисовках обнаружились незначительные расхождения. Получив в 1975 г. дополнительную копию надписи, предлагаем здесь возможный вариант чтения.

Надпись выполнена в горизонтальном направлении, имеются небольшие лакуны.

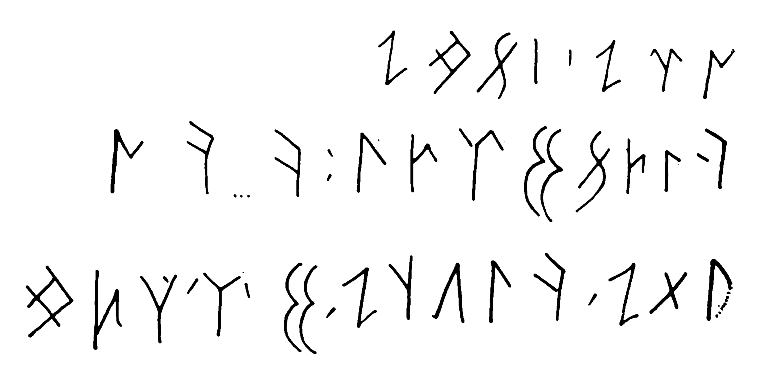


Рис. 3. Кош-Агачская надпись, Алтай

Транскрипция:

$ör^2ä$: $s^{2i}z^imä$

[8] В. М. Наделяев. Древнетюркская руническая надпись из Кош-Агача.— «Известия СО АН СССР». № 1. Вып. 1. 1973, с. 108—110.

$^{i}k^{2}i$ $t^{2i}z$ $^{a}d^{1\ddot{ı}}r^{2}t^{2}i$ $k^{2}[\ddot{o}]k^{2}$ $\ddot{u}$...

...$j^{i}d^{2\ddot{a}}$: $k^{2}i\check{s}^{i}ŋ\ddot{a}$ $^{a}d^{1\ddot{ı}}r^{2}\ddot{ı}l^{2}t^{2\ddot{ı}}m$

Перевод:

«Öрэ отделил от вас оба колена. Небо... С людьми я расстался».

Примечания. «Öрэ» встречается как составная часть имени в четвертом руническом отрывке на бумаге из Дуньхуана (ThSIV)[9]. Большинство исследователей (в том числе и составители ДТС) соглашаются с таким чтением, хотя это слово и написано в оригинале на 4-й и 5-й строчках с переносом. Как имя собственное Öрэ встречается у тюркских народов и сейчас. В первой публикации этой надписи слово читается иначе, и объясняется это тем, что писцом пропущена буква. Содержание надписи не совсем понятно. Вероятно, здесь имеет место идиоматизированный эвфемизм, вызванный словарным табу, которое существует в отношении понятия смерти во многих языках. В рунических памятниках *uča bir-*, *adïrïl-* также чаще заменяют *öl-*. Следует отметить, что глагол *adïr-* здесь впервые в рунике встречается без залогового аффикса.

Текст памятника свидетельствует о том, что писец был слаб в орфографии: даже в традиционных для эпитафий словах здесь постоянные перебои графем для палатальных и велярных. Возможно, автором надписи являлся один из тех «бродячих грамотеев», существование которых предполагал С. Е. Малов[10].

Палеография памятника ординарна, за исключением, пожалуй, менее распространенной зеркальной позиции графемы для велярного *d*.

ПАМЯТНИК КЫЗЫЛЬСКОГО МУЗЕЯ

(рис. 4)

В тувинском республиканском краеведческом музее под №28 хранится расколовшаяся надвое стела с тюркской рунической надписью. Обломки довольно массивны, лежат на некотором расстоянии друг от друга, как разные памятники. Предполагалось, что один из обломков является частью памятника № 12 (по списку в издании С. Е. Малова)[11], так как

[9] V. Thomsen. Dr. M. A. Stein's Manuscripts in Turkish «Runic» Script from Miran and Tun-huang.— JRAS. January 1912, c. 181—227; H. N. Orkun. Eski türk yazıtları. İstanbul, 1939, c. 96, 100.

[10] С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 1952, с. 7.

[11] Там же, с. 34—35 (Улуг-Кем-Кули-Кем).

Фото 6. Памятник из Кызыльского собрания

палеография отдельных знаков, цвет и размеры стелы оказались сходными. Специально обломки не соединялись, и в целом текст не исследовался.



Рис. 4. Памятник из Кызыльского собрания

Во время фотосъемки всех памятников Кызыльского собра ния в 1973—1975 гг. с целью подготовки Корпуса тюркских рунических памятников бассейна Енисея обломки были составлены и надпись скопирована. Оказалось, что текст совер-

шенно не совпадает с памятником № 12, хотя, вероятно, принадлежит также к Алды-Бельской группе. Памятники Алды-Бель I (Улуг-Кем-Кули-Кем — № 12) и Алды-Бель II (№ 72)[12] имеют палеографию, сходную с данной, и по материалу также идентичны — голубовато-зеленый песчаник с прожилками.

Здесь предлагаются фото[13], транскрипция и перевод различных фрагментов памятника.

Транскрипция:

[1] $q^{a}d^{1a}\check{s}^{\ddot{\imath}}mqa\quad b^{2}\ddot{o}k^{2}m^{\ddot{a}}d^{2i}m\ \dots\ m$

[2] $k^{2}\bar{\ddot{u}}l^{2\ddot{u}}g\ s\ddot{u}\ \dots\ k^{2\ddot{a}}sd^{2i}m\ \dots$

Перевод:

[1] Я не насладился моими товарищами ...

[2] Славное войско ... я преградил путь...

Строки текста по спирали переходят с одной плоскости обелиска на другую, направление текста — сверху вниз.

Данный памятник содержит редкое для руники слово *käs-*. Уйгурская гадательная книжка из Яр-Хото, близкая по языку к руническим памятникам, дает для распространенного в тюркских языках глагола *käs-* пример со значением «отрезать, преграждать путь»[14]. В настоящее время какие-либо дополнительные детали, например тамгу, на стеле различить уже трудно: поверхность камня отслаивается и текст разрушается. Данные о том, как попал камень в музей, сотрудникам музея неизвестны.

* * *

Находки памятников рунической письменности в последние годы заметно увеличили число текстов и позволяют предполагать перспективность полевых исследований в районах, казалось бы освоенных в археологическом отношении.

[12] Памятники древнетюркской письменности Тувы. Вып. 3. Кызыл, 1965, с. 17—18.

[13] Фото выполнено В. С. Трофименко.

[14] W. Bang, A. von Gabain. Türkische Turfan-Texte. I.— SPAW. 1929, с. 28.

И. Г. Добродомов

О ПОЛОВЕЦКИХ ЭТНОНИМАХ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Таинственное название народа *хинове*, встречающееся в «Слове о полку Игореве», породило большое число попыток найти народ, к которому этот термин мог бы быть отнесен.

Хинове упоминаются при образном описании поражения князя Игоря в комментариях на сон Святослава: «Темно бо бѣ в 3 день: два солнца помѣркоста, оба багряная стлъпа погасоста, и съ ним молодая мѣсяца, Олегъ и Святославъ тъмою ся поволокоста [...] и въ морѣ погрузиста, и великое буйство подасть Хинови». (На месте многоточия в квадратных скобках в первом издании «Слова» находятся слова, помещаемые обычно после приведенной цитаты: «На рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла: по Русской земли прострошася Половци, аки пардуже гнѣздо», с. 25.) Здесь *хинови* — новая форма дательного падежа или от **хинъ* (по основам на *-й*), или от **хинова* (также новая форма вместо **хиновѣ*).

Вторично термин *хинове* встречается при обращении Святослава к князьям Роману и Мстиславу: «Суть бо у ваю желѣзныи папорзи подъ шеломы Латинскими. Тѣми тресну земля и многие страны: Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела и Половци сулицы повръгоша, а главы своя поклониша подъ тыи мечи харалужныи» (с. 31—32). В форме *хинова* можно видеть или собирательное существительное на *-а* (ср. рядом *Литва*), или же новую форму на *-а* именительного падежа множественного числа от *хинъ* (основа на *-й*) вместо старой **хинове*.

Третий раз в «Слове» упомянуто прилагательное *хиновьский* также в прямой речи — в «Плаче Ярославны»: «О вѣтрѣ, вѣтрило! Чему, Господине, насильно вѣеши? Чему мычеши Хиновьскыя стрѣлкы на своею нетрудною крилцю на моея лады вои?» (с. 38). И здесь прилагательное может быть выведено как от основы *хинъ*, так и от основы *хинова*.

Большинство исследователей, однако, склонны к восстановлению в качестве исходной формы *хинъ* или же к реконструкции фонетически более старой формы *хынъ* (с учетом исторического изменения сочетания *хы* в *хи* в русском языке XII—XIII вв.). В дальнейшем именно эта реконструированная форма *хынъ* будет принята за основу для исследования.

РАЗНЫЕ ГИПОТЕЗЫ

В специальной статье Д. А. Расовского[1] сделан обзор прежних попыток толкования и этимологизации слова *хинъ* (<**хынъ*):

1) Вслед за первым изданием *хынъ* толковалось как *хан*, но сейчас такое толкование оставлено.

2) *Хынъ* рассматривалось как память о *гуннах*[2].

3) Вс. Ф. Миллер видел в спорном этнониме искаженное название *финнов*[3].

4) Некоторые комментаторы усматривают здесь общее наименование языческих народов, в том числе и половцев. В этом случае используются лишь указания контекста (без опоры на этимологию), а также реминисценции термина в «Задонщине».

5) Сам Д. А. Расовский видел в загадочном термине отражение имени жителей упоминаемого у Идриси города *Кинов* (قينيو, в транскрипции А. Жобера — *Kiniow*, возможны также чтения *Кинив*, *Киниу*). Гипотеза Д. А. Расовского сочувствия не получила. Б. А. Рыбаков в этом загадочном городе предпочитает видеть современный *Канев*, хотя قينيو — *Кинов* Идриси находился у северного побережья Азовского моря[4].

---

[1] Д. А. Расовский. Хинова.— Сборник статей по археологии и византиноведению, издаваемый Институтом имени Н. П. Кондакова (Seminarium Kondakovianum). Т. 8. Прага, 1936, с. 301—306.

[2] Ю. Моравчик считает, что этноним *хынъ* относится к венграм, которые в средневековой традиции считались потомками гуннов (Gy. Moravcsik. Zur Frage der *Хинове* im Igor Lied.— «International Journal of Slavic Linguistics and Poetics». Т. 3. 1960, с. 69—72). Ср.: A. Sobolevskij. Altrussisches *хинъ*.— «Archiv für slavische Philologie». Bd 30. H. 3. 1909, с. 474. В более ранней работе (Д. Дубенский. Слово о полку Игореве Святославля песнотворца старого времени. М., 1844, с. 130, прим. 45) сопоставление *хинъ* — *гунны* дается со ссылкой на П. Г. Буткова.

[3] Вс. Ф. Миллер. «Хинова» Слова о полку Игореве.— ИОРЯС. Т. 19. Кн. 1. 1914, с. 110—118.

[4] Б. А. Рыбаков. Русские земли по карте Идриси 1154 г.— КСИИМК. Вып. 43. 1952, с. 3—44. На схемах 11, 12, 13, 14 *Канев* отождествлен с *Кано* и *Киниов* карты Идриси, а на с. 41 говорится о невозможности локализовать загадочный город *Киниу*; на схеме 5 *Киниу* помещен на Дону выше впадения в него Северского Донца. На с. 9 говорится о тождестве названий *Кано* и *Киниов* с *Каневом.* Ср. с. 14, 32 и др. с упоминанием этих городов. В полемику с Д. А. Расовским Б. А. Рыбаков не вступает, хотя и ссылается на его работу.

Против отождествления загадочного пункта قينيو — *Kiniov* в Кумании с *Каневом*, что было предложено еще И. Н. Березиным, решительно выступил О. Блау, указавший, что *Канев* у Идриси упомянут в форме قنو (в переводе А. Жобера قانو — *Cano*.— *И.Д.*)[5].

6) Нельзя принять всерьез не учтенные Д. А. Расовским рассуждения автора «Полного церковнославянского словаря» (М., 1900) протоиерея Григория Михайловича Дьяченко, который поместил в свой словарь явно нецерковное слово: «*Хинъ* — („хинови" в сл. о п. Игореве) — Под словом „хинови" разумеются не одни половци; в другом месте странами хиновными названы литва, ятвяги, деремела и половцы, из чего надо заключить, что название хинъ не было народным или племенным, а означало народов полудиких, преимущественно тех, которые тревожили Русь набегами. Не взято ли слово „хинъ" с греч. χήν, χηνός = гусь? В таком случае слово „хинъ" могло бы означать стада диких гусей, налетавших с криком на благодатную землю трояню. В великолуцком наречии есть слово *хинарный*, соответствующее слову: лукавый (*Арх. ист. и практ. свед.* 5, стр. 64). Нет ли чего общего между этим словом и словом *хинъ?* (См. *Записки отд. рус. и слав. археол.* Т. III, стр. 272—273)». Однако псковское слово *хинарный*, имеющееся у В. И. Даля с толкованием «лукавый?» (вопрос В. И. Даля) в 5-й книге изданного Николаем Калачевым «Архива исторических и практических сведений, относящихся до России» (СПб., 1860), не встречается в указанном месте. Вся статья *хинъ* в словаре Гр. Дьяченко является простой выпиской из работы Д. И. Прозоровского «Новый опыт объяснительного изложения Слова о полку Игореве», помещенной в т. III «Записок Отделения русской и славянской археологии Имп. Русского археологического общества» (1882), на что и сделана ссылка в конце словарной статьи.

7) Только ради полноты можно упомянуть совершенно фантастическое и экстравагантное толкование А. Карасика в докладе об ориентализме в «Слове» (в изложении Ф. М. Головенченко): «В основе слова „хинова" А. Карасик видит венгерское слово *hin* — злоба, коварство, а *va*- является суффиксом...»[6].

К этим точкам зрения в 1966 г. присоединились еще два новых толкования термина *хинове* в «Слове о полку Игореве».

---

[5] О. Blau. Ueber Volksthum und Sprache der Kumanen.— ZDMG. Bd 29. 1876, c. 561 (Fußnote 16). Ср.: И. Н. Березин. Первое нашествие монголов на Россию.— ЖМНП. 1853, № 9, с. 240 (отд. отт., с. 20, прим.).

[6] Ф. М. Головенченко. Слово о полку Игореве. Библиографический очерк. Перевод. Пояснения к тексту и переводу. М., 1963 («Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина». № 193), с. 111.

8) В связи с рецензией на словарь к «Слову о полку Игореве» Т. Чижевской высказать новые соображения относительно содержания термина *хинове* пришлось и мне: «...по мнению Т. Чижевской, которая в данном случае следует за Ю. Моравчиком, неясное *хынъ* в „Слове“ означает „гунн“ и относится к Венгрии (refers to Hungary). Если с фонетической точки зрения это сопоставление и приемлемо, то оно противоречит историческим фактам. Достаточно обратиться лишь к „Повести временных лет“, составленной приблизительно на столетие раньше „Слова“, но в которой *гунны* совершенно не упоминаются; здесь содержится лишь упоминание легенды об аварах-обрах, хотя авары были разгромлены лишь в конце VIII в. Известно, что авары появились на месте гуннов еще в VI в. Представляется весьма проблематичным, чтобы гунны были известны лучше, чем авары-обры, поэтому естественны попытки найти каких-то гуннов-хинов в XII в. Да и контекст, в котором употреблен этот загадочный термин, противоречит такому объяснению. Едва ли поражение русских князей на реке Каяле могло подать *великое буиство* венграм — *Хынови*. Естественно думать, что большую смелость придало это поражение именно половцам. *Хыновьскыѣ стрѣлкы,* которые ветер бросает на русских воинов, тоже могут быть только половецкими. Труднее объяснить *Хынове* в перечне многих стран, которые *главы своѣ поклонишя* владимиро-волынскому князю Роману и луцкому князю Мстиславу. В этом перечне *(Хынове, Литъва, Ятвязи, Деремела и Половьци)* упомянуты также и *половцы*, что кажется противоречащим толкованию термина *Хынъ* как „половцы“. Но половцы занимали слишком большую территорию в южнорусских степях и делились на два объединения — Западное (Днепровское) и Восточное (Донское). Известно, что у половцев были два самоназвания, отразившихся в русских источниках как *сорочины* (<тюрк. *сары кӯн*) и *куманы* (<тюрк. *қуман*). Русское *половцы* представляет собой кальку с обоих этих самоназваний[7].

На основании исторических данных можно предполагать, что название *сорочины* относилось к Западному объединению, а *куманы* — к Восточному, а термин *половцы* был общим названием для обоих объединений. Тюркский этноним *қуман* известен также и в форме *қӯн* с долгим ӯ (в венгерской,

[7] См.: И. Г. Добродомов. Из древнерусской этнонимики. Древнерусское *сорочининъ* и греческое Σαραχηνός. — СЭ. 1966, № 3, с. 137—143; ср. также: С. А. Плетнева. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях. М.—Л., 1958 (МИА. № 62), с. 220.

персидской и арабской передаче)[8]. Тюркологи отмечают, что для кипчакских языков (в том числе и для половецкого) была характерна спирантизация заднеязычных, т. е. изменение *ķ*>*х*[9]. Отсюда половецкое **хӯн*, которое дало древнерусское *хынъ*. Следовательно, *хынъ* должно относиться к Восточному (Донскому) объединению половцев. Поэтому в списке покорившихся стран *хынъ* относилось к одной, а *половьци* к другой группе половцев»[10]. Однако это отождествление загадочных *хинов* с половцами — *кунами* не было замечено и соответственно с этим не получило ни поддержки, ни осуждения.

9) Почти одновременно с этим толкованием появилась на русском и французском языках заметка Л. Н. Гумилева «Монголы XIII века и „Слово о полку Игореве“», которая в дальнейшем была развернута в целую главу его книги «Поиски вымышленного царства», где автор в решительных, хотя и безосновательных выражениях отвергает отождествление *хинове — гунны*[11] и возражает тем ученым, которые считали, что *хинове* — это название каких-то неведомых восточных народов: «Но народа с таким именем не было! Больше того, хины упоминаются как соседи Руси. Поражение Игоря „буйство подаста (sic! — *И.Д.*) хинови“ (стр. 20)[12]. Воины двух западнорусских князей — Волынского Романа и Городенского Мстислава — гроза для „хинов“ и литовских племен (стр. 23). И наконец, „хиновьскыя стрелкы“ в устах Ярославны — образ совершенно ясный для читателей „Слова“. Значит, этот термин был хорошо известен на Руси! Единственное слово, соответствующее этим трем цитатам, будет названием чжурчжэнской империи — Кин (современное чтение цзинь — „золотая“) (1115—1234). Замена „к“ и „х“ показывает, что это слово было занесено на Русь монголами, у которых в языке

[8] J. Németh. Die Volksnamen *quman* und *qūn*.— KCsA. 3. kötet. 1941—1943, с. 95—109.

[9] Н. А. Баскаков. Тюркские языки. М., 1960, с. 144 (с опечаткой).

[10] И. Г. Добродомов, И. С. Улуханов. [Рец. на:] Т. Čiževska. Glossary of the Igor' Tale, The Hague, Mouton and C°, 1966, 408 с. («Slavistic Printings and Reprintings». 53).— ВЯ. 1966, № 6, с. 117—118 (в цитатах из «Слова о полку Игореве» соблюдена «нормализованная» орфография Т. Чижевской).

[11] Причем критикуемую статью Ю. Моравчика о слове *хинове* Л. Н. Гумилев, судя по воспроизведению опечатки, не видел, а знал лишь по дилетантской работе А. А. Зимина «К вопросу о тюркизмах „Слова о полку Игореве“ (опыт исторического анализа)» («Уч. зап. Научно-исследовательского института при Совете Министров Чувашской АССР». Вып. 31. Исторический сборник. Чебоксары, 1966, с. 141), где содержится опечатка-первоисточник, сохраненная Л. Н. Гумилевым.

[12] Ссылки в тексте Л. Н. Гумилева на страницы издания: «Слово о полку Игореве». 1950.

звука „к“ нет[13]. Но тогда возраст этого сведения не XII в., а XIII в., не раньше битвы на Калке в 1223 г., а, скорее, позже 1234 г., и вот почему.

Империя Кинь претендовала на господство над восточной половиной Великой степи до Алтая и рассматривала находившиеся там племенные державы как своих вассалов. Этот сюзеренитет был отнюдь не фактическим, но юридическим, и племена кераитов, монголов и татар считались политическими подданными империи, т. е. кинами, хотя отнюдь не чжурчжэнями. Такое условное обозначение было в Азии весьма распространено»[14]. Однако примеров этого «распространенного» условного обозначения Л. Н. Гумилев привести не смог.

Считаю необходимым еще раз вернуться к анализу загадочного термина *хинове*, ибо предложенное Л. Н. Гумилевым толкование, не имеющее под собой никаких фактических оснований, не только слишком широко пропагандируется, но и получает невнятно-одобрительную поддержку А. А. Зимина, который принимает рассуждения Л. Н. Гумилева за доказанные и исходит из них в своих построениях[15], каковые с построениями Л. Н. Гумилева не совпадают, но тоже напускают туману.

Н. Ц. Мункуев в рецензии на книгу Л. Н. Гумилева дал критику построений последнего с точки зрения синологической и монголоведческой: «К сожалению, слово „хин“ в „Слове о полку Игореве“ не совсем справедливо связано Л. Н. Гумилевым с названием чжурчжэньской династии Цзинь (1115—1234) (стр. 313 и сл.). Автор читает кит. 金 *цзинь* ‘золото, золотой’ как *кин*, следуя позднейшей западноевропейской транскрипции и считая ее за средневековое чтение этого иероглифа. Иероглиф *цзинь* в среднекитайском звучал (т. е. читался.— *И.Д.*) как *kim*, но в XIII—XIV вв. на монгольском алфавите Пхагсбы читался *gim*[16]. Однако в „Тайной истории

[13] Л. Н. Гумилев забывает, что в монгольском языке XIII в. такой звук еще был. Этих звуков было даже два: *q* и *k*. Частично они сохранились как смычные и в современных монгольских языках и диалектах (см.: N. Poppe. Introduction to Mongolian Comparative Studies. Helsinki, 1955 (MSFOu. 110), с. 129—146, особенно с. 129—130, 139—140. Л. Н. Гумилев все многообразие монгольских языков (новых и старых) сводит фактически к современному монгольскому языку.

[14] Л. Н. Гумилев. Поиски вымышленного царства (Легенда о «государстве пресвитера Иоанна»). М., 1970, с. 313—314.

[15] А. А. Зимин. К вопросу о тюркизмах «Слова о полку Игореве», с. 142. Для А. А. Зимина важно лишь то, что Л. Н. Гумилев относит «Слово» не к XII в., а остальное А. А. Зимина не интересует, хотя с его концепцией вымыслы Л. Н. Гумилева находятся в непримиримом противоречии.

[16] См.: A. Dragunov. The ḫPhags-pa Script and Ancient Mandarin.— ИАН СССР. Сер. VII. 1930, № 10, с. 785.— *Прим. Н. Ц. Мункуева.*

монголов" чжурчжэни называются *Jurčed*, а их император и династия *Altan-qahan* (букв. „Золотой кахан"). Поэтому русские едва ли могли впервые услышать слово *хин* от монголов в XIII в.» (см.: НАА. 1972, № 1, с. 188).

* * *

В подавляющем большинстве случаев исследователи рассматривали название *хинове* само по себе, предпочитая этимологический подход (соотнесение с каким-либо известным словом) подходу контекстному, а между тем прежде всего анализ контекста, в котором употреблено загадочное слово, позволит вскрыть его значение и далее определить его этимологию.

Во всех трех случаях речь идет о врагах Руси, которые радуются поражению Игоря, боятся могущества отдельных князей и стрелки которых ветер нес на русских воинов. В первом и последнем случае такими врагами могли быть только половцы: половцы обрадовались поражению Игоря, половецкие стрелы летят на русских воинов. Но такому пониманию, кажется, противоречит второй пример, где в числе испугавшихся врагов упомянуты и *хинове* и *половцы*, которые здесь как будто даже противопоставлены. Чтобы снять это противоречие, представляется необходимым более внимательно рассмотреть все известные названия половцев.

КАК НАЗЫВАЛИСЬ ПОЛОВЦЫ?

Уже давно обращалось внимание на то, что половцы во многих языках обозначаются словами, производимыми от корней со значением «желтый», «бледный»: рус. *половцы* (ср. *полóвый*, устар. *половóй*); польск. (из чеш.) *plavci* (*Pławcy*, *Plauci*, *Plawci*); отсюда также венг. *palócz(ok)*, взятое у восточных славян; нем. *Val(e)we(n)* (ср. совр. нем. *fahl* и *falb* 'блеклый', 'белесоватый', 'буланый'), латинизированное *Valvi*, а также латинизированные славянские формы *Falones*, *Phalagi*. Такое же значение имеет упоминаемое под 1050/51 г. в 75-й главе «Истории» армянского автора Матвея Эдесского название народа *хартеш* (досл. 'светлый', 'белесоватый', 'белокурый')[17].

[17] Ср. обзор литературы: J. Marquart. Über das Volkstum der Komanen.— «Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philos.-hist. Klasse». NF. Bd 13. № 1. B.—Lpz., 1914. Важные дополнения см. в рецензиях: В. В. Бартольд. Новый труд о половцах.— Сочинения. Т. 5. М.. 1968, с. 392—408; немецкий перевод Г. Шедера в предисловии к кн.:

ПОЛОВЦЫ

Мнения В. Н. Татищева о самоназвании и названии половцев противоречивы: 1) «Половцы по Донцу и Дону до нашествия татар великия войны с русскими чрез 160 лет продолжали, а наконец от татар исчезли; греки же сих номады, а они себя кумани именовали» (1739); 2) «Половцы был род сарматский, как и из имян владетелей их видно. Но сие имя русское дано от поль. Они жили по Северскому Донцу и по Дону в степях, а сами как именовались, неизвестно. Их конец — нашествие татар в начале 13 века» (1744)[18]. Впоследствии этимология слова *половцы* от *поле* приводилась неоднократно даже в наши дни[19]. Русское народноэтимологическое производство имени *половцы* от *полевой* нашло поддержку и на Западе[20].

Решительно высказался против производства названия *половцы* от *поле* А. А. Куник в своем разыскании «Начались ли русские торговые сношения и походы по Черному и Каспийскому морям во времена Мухаммада или при Рюрике?», опубликованном в качестве приложения III к исследованию Б. А. Дорна «Каспий» (Прил. № 1 к XXVI тому Записок имп. АН. СПб., 1875, с. 387, прим.), производя это название от прилагательного *полóвый* без дальнейших уточнений.

Возражая Ф. Миклошичу, считавшему невозможным связывать русское *половцы* и чешское *plavci* с церковнославянским прилагательным *плавъ* и русским *половый*, ибо половцы, по мнению Ф. Миклошича, не были белокурыми, А. И. Соболевский привлекает немецкое название половцев *blawen*, *blauen* 'синие', 'голубые' и южнославянское *плав* 'голубой' и считает, что половцы были названы по имени своей Синей орды, а поэтому отвергаемая Ф. Миклошичем связь устанавливается уже несколько на другом основании. В этих рассуждениях А. И. Соболевского особенно ценной представляется мысль (явно не высказанная, но предполагаемая) о символическом характере употребления в этнониме «цветового

J. Markwart. Wehrot und Arang. Leiden, 1938, с. 29*—51*; с точки зрения преимущественно синологической написана рецензия П. Пельо: P. Pelliot. A propos des Comans.— JA. Sér. 11. T. 15. № 2. 1920, с. 125—185. Подробную этимологию названий дал Ю. Немет: J. Németh. Die Volksnamen *quman* und *qūn*, с. 109.

[18] В. Н. Татищев. Избранные труды по географии России. М., 1950, с. 110, 180.

[19] В 1968 г. мне пришлось вновь указывать на ошибочность такой трактовки (см.: И. Г. Добродомов. Половцы и поле.— «Русская речь». 1968, № 6, с. 105).

[20] H. Vámbéry. Der Ursprung der Magyaren. Lpz., 1882, с. 102 (прим. 3); E. Bretschneider. Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources. Vol. 2. L., 1888, с. 70.

корня». Слабым местом его гипотезы является опора на южнославянский, а не на восточнославянский лексический материал[21].

Мнение А. Н. Щекатова о происхождении названия *половцы* от того, что они брали много *полона*, а также мнение Пл. Бурачкова о связи его с *полог* 'палатка?' (половцы якобы жили в палатках-шатрах) сочувствия ни у кого не нашли[22], ибо они мало согласуются с законами языка.

Принятое в статье О. Блау отождествление половцев с парфянами (заимствовано последним из работы: G. Rawlinson. The Sixth Great Oriental Monarchy)[23] основано на латинизации славянского названия *половцы* у средневековых историков (*parthi*)[24] и поэтому легко отвергнуто И. Марквартом[25].

КЫПЧАК

Имя *кыпчак* ранним русским источникам совершенно неизвестно. А. И. Попов вскользь отмечает лишь случай употребления названия *кипчаги* в XVII в. в «Исторических актах Ярославского Спасского монастыря» (М., 1896)[26]. Известно оно некоторым средневековым путешественникам, писавшим по-латыни, в форме *капчат* (Kaptschat) (Рубрук, Карпини).

---

[21] А. И. Соболевский. Этимологические заметки.— ЖМНП. Ч. 247. 1886, сентябрь, с. 154. То же в статье «Несколько этнографических названий» («Русский филологический вестник». Т. 14. № 3—4. 1910, с. 175), добавлено только, что «собственное название половцев было, в русской передаче,— *кумане*». Идея А. И. Соболевского была поддержана А. Е. Крымским («Тюрки, їх мови та литератури. I. Тюркські мови». Вип. 2. Київ, 1930, с. 158—159, прим.), который, однако, считал, что *половый* 'серый' обозначал цвет половецких шапок в противоположность черным клобукам. А. Пономарев (Куман — половцы.— ВДИ. 1940, № 3—4, с. 366—370) доказывает, что *половцы* — перевод тюрк. *куман, кубан* 'синий'. Эту точку зрения приемлет В. А. Гордлевский [Что такое «босый волк»? (К толкованию «Слова о полку Игореве»).— Избранные сочинения. Т. 2. М., 1961, с. 487]. Идея А. И. Соболевского плохо подкреплялась тюркским материалом.

[22] А. Н. Щекатов. Словарь географический Российского государства. Ч. 4. М., 1805, стб. 1225: «Название Половцев дали им Россияне, как некоторые мнят, от полей, по которым они кочевали, или от полона, чинимого ими у Россиян». См. также: Пл. Бурачков. Опыт исследования о куманах или половцах.— ЗООИД. Т. 10. 1877, с. 135.

[23] O. Blau. Ueber Volksthum und Sprache der Kumanen, c. 586—587.

[24] См., например: Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. М.— Л., 1938, с. 415: «fuerunt Tartari in terra Valvolum paganorum, qui Parthi a quisbusdam dicuntur»; на с. 562—563 — аналогии из других латинских хроник.

[25] J. Marquart. Über das Volkstum der Komanen, c. 28—29.

[26] А. И. Попов. Кыпчаки и Русь.— «Уч. зап. ЛГУ». № 112. Серия исторических наук. Вып. 14. 1949, с. 94. В связи с этим представляется не вполне понятным замена немецкого komanisch «русским» *кипчакский* в русском переводе «Этимологического словаря русского языка» М. Р. Фасмера.

Существует предположение, восходящее к А. Н. Бернштаму, о том, что древнейшее упоминание кыпчаков содержится в 110-й главе «Исторических записок» (*Ши-цзи*) китайского историка Сыма Цяня (жил ок. 145—87 гг. до н. э.), повествующей о державе хуннов (сюнну) в II—I вв. до н.э. и ее основателе Модэшаньюе. Одно из названий покоренных владений, 屈射 *цюйше* (*Кюеше* у Н. Я. Бичурина), реконструировалось как *кыпчак* (*кыйчак*)[27]. Однако эта гипотеза, основанная лишь на частичном сходстве реконструированной формы с этнонимом, не вполне убедительна и с хронологической точки зрения: предполагаемое первое упоминание кыпчаков оторвано от последующих слишком большим промежутком времени, да и в монгольскую эпоху этноним *кыпчак* передавался у китайцев другими средствами. Иногда ссылаются также на упоминание кыпчаков в рунической надписи второй половины VIII в. в честь уйгурского хана Моюн-чора, или Баян-чора («Селенгинский камень», открытый Г. И. Рамстедтом)[28]. Однако чтение *ҟыбчаҟ* основано на конъектуре Г. И. Рамстедта, которая оговорена им в издании и немецком переводе, но в русском переводе этой оговорки уже нет. Безоговорочно воспринята эта конъектура в книге С. Е. Малова «Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии» (М.— Л., 1959, стр. 30, 34, 38), где соответственно в тексте, транскрипции и переводе фигурирует: 𐱅𐰇𐰼𐰚𐰴𐰉𐰲𐰴 *тӳрк ҟыбчаҟ* 'тюрки-кипчаки'. Лишь в «Словаре» к этой книге (с. 98) с помощью скобок отмечен конъектурный характер начала слова *(ҟы)бчаҟ* 'народ кыпчаки', причем значение этих скобок специально не оговорено. Согласно любезному сообщению С. Г. Кляшторного, на эстампаже Г. И. Рамстедта и фотографии сейчас от реконструируемого слова *ҟыбчаҟ* видны лишь две конечные буквы 𐰲 *ч* и 𐰴 *ҟ*, а от слова *тӳрк* — лишь буквы 𐱅𐰇𐰼 — *тӳр*.

Название *ҟыпчаҟ* особенно широко представлено у мусульманских авторов в формах: قپچاق *ҟипчāҟ*, قفچاق *ҟифчāҟ*, خفچاق

[27] См.: А. Н. Бернштам. Древние тюркские элементы в этногенезе Средней Азии.— Советская этнография. Сборник статей. Т. 6—7. М.—Л., 1947, с. 154; Н. Я. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. М.—Л., 1950, с. 50; т. 3. Приложения. М.—Л., 1953, с. 181, 183, 210 (Указатель), 311 (Карта).

[28] [G. J. Ramstedt]. Zwei uigurische Runeninschriften in der Nord-Mongolei. Aufgefunden und mit Transkription, Uebersetzung und Bemerkungen veröffentlicht von G. J. Ramstedt. — JSFOu. T. 30. 1913; Г. И. Рамстедт. Перевод надписи «Селенгинского камня».— «Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела имп. Русского географического общества». Т. 15. Вып. 1. СПб., 1914, с. 40.

χифчāķ, قفشاق *χифшāķ*[29], в китайских источниках монгольского времени этноним *ķыпчаķ* отражен в виде *Kin-ch'a* или *K'in-tch'a*[30], в русской современной транскрипции — *циньча*.

Представляет некоторый интерес беглая этимология этого слова у В. Н. Татищева: «Имя же Кипчак мне переводчик, якобы с сегодайского, перевел конюх или коней пасущий, которое в описании положенному несогласно, а потребно внятнее изъяснить»[31]. Эта «невнятная» этимология интересна тем, что монголы при первой встрече с русскими, по сообщению русских летописцев, называли половцев своими конюхами.

Попытку К. И. Петрова вывести название *ķыпчаķ* из того же корня, что и *куман*, а также приписать этнониму то же значение желтого цвета[32] нельзя признать во всем убедительной, ибо в его построениях слишком много вольных сближений и трансформаций без учета тюркских языковых данных, хотя основная мысль гипотезы заслуживает внимания и может быть предметом дальнейших разысканий.

КУМАНЫ

Другое, менее известное, название половцев — *куманы* — также представлено в русских летописях, но исключительно в рассуждениях общего характера, так что даже ставился вопрос о возможности книжно-византийского происхождения имени *куманы*[33]. Во всяком случае, в отличие от *половцы* название *куманы* на русской и вообще славянской почве не объясняется.

В русских летописях встречается форма *Кумани* (или *Куманы*), в византийско-греческих — κόμανοι, κομάνοι наряду с κου-

[29] В. В. Бартольд. Кипчаки.— Сочинения. Т. 5. М., 1968, с. 550—551; там же изложено старое народноэтимологическое объяснение термина *ķыпчаķ* от *ķобуķ, ķопы* 'дупло': родоначальник этого народа родился-де в дупле дерева.

[30] Соответственно: E. Bretschneider. Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources. Vol. 2, c. 68; P. Pelliot. A propos des Comans, c. 149.

[31] В. Н. Татищев. Избранные труды по географии России, с. 232.

[32] К. И. Петров. Очерк происхождения киргизского народа. Фрунзе, 1963, с. 67; обзор этимологий см.: А. Н. Кононов. Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази хана Хивинского. М.—Л., 1958, с. 43, 86—87.

[33] В. В. Бартольд. Новый труд о половцах, с. 402; А. И. Попов. Названия народов СССР (Введение в этнонимику). Л., 1973, с. 127. Любопытно упоминание этого этнонима в русском азбуковнике конца XVI в.: *Кумáни — Роýсa*[*ь*] *прêже тáко нарицашеa*[*я*]. См.: Л. С. Ковтун. Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1975, с. 288.

μάνοι, κουμᾶνοι, κούμανοι, латинских — *Cumani*, *Comani*[34], причем формы с огласовкой *у* Ю. Немет считает древнейшими. Двойственность огласовки отражена также в личных и местных именах.

Как указывает В. В. Бартольд, «слово *команы* не встречается в мусульманской литературе, кроме писавшего в XII в. в Европе Идриси и тех авторов, которые пользовались его сочинением»[35].

Название *ķуман* одни ученые выводили из гидронима *Ķума* (Аделунг, Бретшнейдер, И. Н. Березин)[36], другие связывали этнический термин *куман* с рекой *Кубань* (д'Оссон, Г. Юл[37]), хотя у нас нет никаких исторических свидетельств о происхождении половцев с Северного Кавказа, где протекают *Кума* и *Кубань*.

Невниманием к словообразовательной стороне вопроса страдает мнение историка Д. И. Иловайского: «Полагают, что название *Куманы* означают „степняки" и что русское Половцы есть перевод этого названия, произведенный от слова *поле*, *степь*. „Кум" на языке татарских народов значит „песок"; отсюда, пожалуй, можно заключить, что Куманы это собственно обитатели песчаных степей. По свидетельству путешественника XIII века Рубруквиса, Куманы сами себя называли *Капчатъ*»[38]. Затруднения вызываются тем обстоятельством, что тюркский суффикс *-ан* имеет уменьшительное значение, которое не вполне согласуется с названием этнонима[39]. П. В. Голубовский поставил вопрос о возможной связи *ķуман* с тюркским *кӱн* 'солнце'+*мäн* 'подобный' (аналогично *тӱркмäн*).

На невозможность производства названия *Ķуман* от реки *Ķума* указал О. Блау, возражавший И. Н. Березину на том основании, что «западный суффикс *-ан-* (греч. κόμανοι, κομανεῖς, лат. *Cumani*) не может быть принят для арабского قومانية».

---

[34] См. обзор: Gy. Moravcsik. Byzantinoturcica[2]. II. B., 1958, c. 167—168.

[35] В. В. Бартольд. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии.— Сочинения. Т. 5. М., 1968, с. 99.

[36] И. Н. Березин. Первое нашествие монголов на Россию, с. 237 (отд. отт., с. 17) (прим.); E. Bretschneider. Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources. Vol. 2, с. 70, прим. 825.

[37] H. Yule. Cathay and the Way Thither. Vol. 3. L., 1914, с. 83. См.: К. д'Оссон. История монголов от Чингиз-хана до Тамерлана. Т. 1. Иркутск, 1937, с. 193 (прим. 1). Переводчик книги К. д'Оссона Н. Н. Козьмин считает, что, наоборот, кыпчаки дали свое имя реке *Кубань* (там же).

[38] Д. И. Иловайский. История России. Т. 1. Ч. 1. М., 1876, с. 307; изд. 2. Т. 1. М., 1906, с. 695.

[39] Э. В. Севортян. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. Опыт сравнительного исследования. М., 1966, с. 172.

Еще раньше И. Хаммер ссылался на отсутствие свидетельств о связи *куманов* с рекой *Кумой*[40].

Ю. Немет отмечает, что этническое название *қуман* пережиточно сохранилось у других тюркских народов в форме этнонимов *қубан* и *қуманды*[41].

Только полноты ради следует упомянуть произвольное производство названия *қуман(ы)* из *Turcomane* (И. Хаммер-Пургшталь, 1834) или как невероятное образование из венгерского *kün* 'половец' с латинским суффиксом прилагательного *-anus*[42].

Встречаются иногда и некритические контаминационные объяснения: «Слово куман производная форма от кум или кун. А если мы вспомним о таких распространенных словосочетаниях, как кзыл кум[ы], кара кум [ы] [песок], то станет ясно, что куман значит из песков, степняк, а если же от кун, то почему не сравнивать с кун — казах. солнце, дêнь; или от кум со значением „народ" [ср. кумык]»[43]. Авторы подобных «разъяснений» наивно предполагают, что сопоставления уже решили вопрос, и не заботятся о приведении этих сопоставлений в соответствие с грамматикой (определить характер суффиксальных элементов), без чего их рассуждения совершенно лишаются силы и приняты быть не могут.

КУНЫ

Название *қун*-известно венграм в форме *kun* (и в латинизированной форме *Cuni*), но на венгерской почве оно не объясняется [впрочем, Ю. Немет (Die Volksnamen *quman* und *qūn*) отмечает у этого названия эпизодическую долготу, которая отражена и в мусульманских источниках: قون *қӯн*; правда, это название упоминается далеко на Востоке]. Попытку И. Маркварта («Über das Volkstum der Komanen», с. 57), поддержанную с колебаниями К. Менгесом[44], увидеть следы

---

[40] O. Blau. Ueber Volksthum und Sprache der Kumanen, с. 558 (прим. 2); J. von Hammer (Purgstall). [Обзор в журнале].— «Jahrbücher für Literatur». Bd 65. Wien, 1834, с. 15.

[41] Иную точку зрения высказал Н. А. Аристов. Ср. сейчас: А. Н. Кононов. К этимологии этнонимов *кыпчак, куман, кумык*.— Ural-Altaische Jahrbücher. Bd 48. Wiesbaden, 1976, с. 159—166.

[42] J. von Hammer (Purgstall). [Обзор в журнале], с. 15; H. Vámbéry. Der Ursprung der Magyaren, с. 104.

[43] Х. Х. Махмудов. Олжас Сулейменов — поэт и филолог.— «Простор». 1969, № 6, с. 109, причем из-за неправильной расстановки знаков препинания это высказывание может быть приписано мне как продолжение цитаты, хотя я ничего подобного не утверждал.

[44] K. H. Menges. The Oriental Elements in the Vocabulary of the Oldest Russian Epos, The Igor' Tale. N. Y., 1951, с. 11.

этого названия в имени половца *Кунуй* (Лавр. летопись под 1096 г.) нельзя признать удачной, ибо совершенно неясной остается последняя часть имени *-уй*[45].

Параллелизм венгерского названия половцев *kun*, *kún* с названием народа قون *қӯн* в мусульманских источниках вызвал весьма оживленную полемику. Древнейшее упоминание тюркского (?) народа قون *қӯн* И. Маркварт (с. 39) обнаружил в перечне восточнотюркских народов VI климата у хорезмийца Бируни (XI в.) рядом с народом قاى *қāй* (в «Географическом словаре» Йакута, I, ٢٩, 3 ff.). Персидский автор XIII столетия Ауфи (ок. 1228) сообщает, что народ قون *қӯн* также назывался مرقة *м-рқа*, а вышел он из страны قتا *қыта(й)*. Впоследствии народ قاى *қāй* прогнал *қӯн'ов* в страну سارى *сāры*, жители которой отступили в страну туркменов; гузы двинулись в страну печенегов вблизи Армянского моря (арабский текст Бируни и персидский Ауфи приведены у И. Маркварта с немецкими переводами, с. 39—42). Правда, В. В. Бартольд и первоначально В. Ф. Минорский сомневались в существовании народа قون *қӯн*, ибо в других списках и у иных мусульманских авторов, писавших на эту тему, на месте قون *қӯн* обычно читается قورى *қӯрӣ* или فورى *фӯрӣ*, этому написанию они и отдавали предпочтение[46].

Однако в обнаруженном несколько позже непосредственном источнике Ауфи — сочинении сельджукского придворного врача Мервези (Марвазӣ) (ок. 1120) упоминаются два разных народа: قون *қӯн* и قورى *қӯрӣ*, правда в разных отделах[47]. Кроме того, Ю. Немет отмечает, что имя народов *қӯн* и *қāй* читается на одной сирийской карте 1150 г. (с. 107).

Вопрос о другом названии загадочных восточных *қӯнов* — مرقة *м-рқа* — после открытия рукописи Мервези отпал, ибо в тексте у последнего ясно читается арабское слово فرقة *фирқа* группа', т. е. «племя». Мервези также сообщает о том, что

---

[45] На произвольность такого анализа указал уже П. Пельо (A propos des Comans, с. 136).

[46] Ḥudūd al-ʿĀlam 'The Regions of the World'. A Persian Geography 372 A. H.— 982 A. D. Transl. and expl. by V. Minorsky. L., 1937, c. 284—286; В. В. Бартольд. Киргизы. Исторический очерк.— Сочинения. Т. 2. Ч. 1. М., 1963, с. 497; он же. Новый труд о половцах, с. 99, 395.

[47] Sharaf al-Zamān Ṭāhir Marvazī on China, the Turks and India. Arabic text (circa A. D. 1120) with an English Translation and Commentary by V. Minorsky. L., 1942 (см. указатель под словом *qun*). Русский перевод главы о тюрках см.: «Труды сектора востоковедения АН КазССР». А.-А., 1959. Т. 1, с. 211—218.

қӯны были христианами несторианского толка, а это характерно и для половцев.

Существовало много сторонников отождествления названия *қӯн* с *гуннами* (*hun*)[48].

ТЕОРИЯ Ю. НЕМЕТА[49]

Известный венгерский тюрколог Ю. Немет в специальной статье доказал, что все «бледно-желтые» наименования половцев являются калькой с их тюркских (само?)названий *куман* и *қӯн*, которые восходят к тюркскому прилагательному *қӯ* (из более старого **қуб*) 'бледный', 'желтый', представленному в «Опыте словаря тюркских наречий» В. В. Радлова следующими примерами: алт., тел.; саг., кач.; казах.; половецк. *қӯ* 'бледный', 'желтовато-бурый'; (казах.) 'седая, старая, хитрая (о старой женщине)'; (алт., половецк.) 'высохшее дерево' (II, стлб. 882—883).

Кроме того, тюркским языкам известна форма этого же прилагательного с отыменным суффиксом *-а:* в словаре Махмуда Кашгарского *қуба* 'цвет между красным и желтым'[50], у Абу Хайяна *қуба* 'землистый цвет'; по материалам словаря В. В. Радлова: тел., шор.; сойонск. (тув.) *қуба* 'бледный', 'сероватый' (II, стлб. 1034); *қӯа* (кюэр.) 'бледный' (казанско-тат.) 'бурый', 'темно-красный' (II, стлб. 884); казанско-тат. *қөбω* (т. е. *qǫbă*) 'буланый' (II, стлб. 685).

К тюркскому материалу Ю. Немет добавляет ряд алтайских параллелей и приводит также несколько глагольных и именных образований от основы *куба* в тюркских и монгольских языках, которые показывают ее активность в этих языках. Далее Ю. Немет заключает: «Из прилагательного *қу*, *қуба* образованы этнонимы *қун* и *қуман* посредством отыменного суффикса *-н*[51]. (Менее вероятно, что *қуман* образовано от *қӯ* с помощью суффикса *-ман*, подобно *тӯрк-мӓн*, *қара-*

---

[48] Беглый обзор см.: J. Németh. Die Volksnamen *quman* und *qūn*. Одно время Ю. Немет принимал это сближение наряду с объяснением из тюрк. *kün* 'народ'～монг. *kümün* 'человек'. Ср. изложение точки зрения Ю. Немета в рецензии Ю. фон Лазициуса на книгу: J. Németh. A Honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest. 1930.— «Zeitschrift für slavische Philologie». Bd 8. H. 1—2. 1931, c. 289 (с индоевропейско-уральскими параллелями). Название *қӯн* Ю. Немет выводил здесь также из *қӯн+ман* (ср. *тӯрк*～*тӯркмӓн*) (с. 141—142).

[49] J. Németh. Die Volksnamen *quman* und *qūn*, c. 99.

[50] См. теперь ДТС.

[51] А. Н. Кононов (Показатели собирательности—множественности в тюркских языках. Сравнительно-исторический этюд. Л., 1969, с. 17) считает этот *-н* аффиксом собирательности—коллективности.

ман, *кäг-мäн* и т. д.)». Далее даются многочисленные примеры чередования *м/б*, особенно перед *-н*[52] (с. 100).

Большой, но недостаточно критически подобранный и не всегда правильно оцененный материал об употреблении цветообозначения *қуба* в географических и этнических наименованиях собран в статье А. Гусейнзаде «Об этимологии топонима *Куба*» (СТ. 1971, № 2, с. 119—125), однако название *қуман*, *қун* при этом не затрагивается. Топонимический материал, безусловно, связан генетически с этнонимами.

Указав на равнозначность русского, немецкого и армянского названий половцев и этнонима *қуман*~**қубан*, Ю. Немет, однако, допускает также другую возможность этимологизации этих ка́лек, высказанную ранее В. В. Бартольдом в рецензии на труд И. Маркварта: «Если половцы действительно, как полагает Маркварт, были светловолосым народом, то едва ли мы имеем только случайное звуковое совпадение между географическим (и этнографическим?) названием и турецким прилагательным»[53] (речь идет о стране ساری *сāры̄* в тексте Ауфи и тюркском прилагательном *сары(ғ)* 'желтый').

Впрочем, это предположение, по мнению Ю. Немета, не противоречит предыдущему: перевод мог относиться к двум народам, у которых внутренняя форма названий была одинакова.

Далее Ю. Немет возражает против тех точек зрения, согласно которым название половцев могло характеризовать цвет их волос (П. Пельо, Д. А. Расовский), обозначать излюбленную у них масть лошадей (к этой точке зрения первоначально склонялся и сам Ю. Немет), и указывает, что цветовое обозначение характеризует кожу половцев. Особенно большое внимание он уделяет свидетельству Адама Бременского (XI в.), обнаруженному И. Марквартом: «Ibi sunt homines pallidi virides et macrobii quos appellant Hussos» (здесь, правда, половцы отождествляются с гузами, место которых они заняли с середины XI в.). А. Зайончковский в целом принял этимологию Ю. Немета, но растолковал это цветовое обозначение как наименование излюбленной у них конской масти[54].

К. Менгес также в основном согласен с этимологией Ю. Немета, хотя в объяснении тюркского материала стоит

---

[52] Ср. теперь: М. Рясянен. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955, с. 147.

[53] В. В. Бартольд. Новый труд о половцах, с. 396. (В немецком переводе Г. Г. Шедера — с. 34* — опущено очень важное *каит* 'едва ли', на что обратил внимание Ю. Немет.)

[54] A. Zajączkowski. Związki językowe połowiecko-słowiańskie. Wrocław, 1949, с. 8—11.

на иной точке зрения: форму *қӯ* он считает стяженным вариантом *қуба* [55].

С Ю. Неметом можно не соглашаться только в одном: в свете новейших исследований о символике цветовых обозначений у тюркских и других народов Востока представляется наиболее вероятным считать, что цветовое обозначение в названии половцев было чисто символическим, как это предполагал уже А. И. Соболевский. Известно, что тюрки пользовались двумя системами обозначения стран света с помощью цветовых наименований — китайско-уйгурской и буддистско-ламаистской. В соответствии с первой системой желтый цвет обозначал центр, а в соответствии со второй — север [56]. Правда, исторических данных для точного определения значения цветовой символики в этом случае у нас пока недостаточно. Дело осложняется также тем, что «желтое цветовое обозначение» относилось к двум народам — *қун* и *сары*, внутренняя связь между которыми тоже остается не вполне ясной.

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК

Исследователи русского героического эпоса уже давно обратили внимание на некоторые странные и противоречивые черты отрицательного персонажа наших былин — Соловья-Разбойника, который преграждал прямоезжую дорогу из Мурома в Киев, но был побежден богатырем Ильей Муромцем. Особенно много недоумений вызывало странное имя *Соловей*-Разбойник; его объяснению посвящена довольно большая литература, обзор которой можно найти в работах М. Р. Фасмера и Т. Н. Кондратьевой [57].

Особенно привлекает внимание то обстоятельство, что у Соловья-Разбойника подозрительно восточное отчество *Рахматович*, *Рахманович*, *Рахмантович* и т. п. (частичный перечень его отчеств дан в указанной книге Т. Н. Кондратьевой, с. 76—77, прим. 56), определенно указывающее на неславянское происхож-

---

[55] K. H. Menges. The Oriental Elements, c. 8—14. По словам самого К. Менгеса, он ознакомился со статьей Ю. Немета после завершения своей работы. Ср.: I. Laude-Cirtautas. Der Gebrauch der Farbbezeichnungen in der Türkdialekten. Wiesbaden, 1961, c. 95—97. Такова же точка зрения М. Рясянена (Материалы по исторической фонетике тюркских языков, с. 112, где тюркский материал рассматривается вне связи с этнонимом).

[56] Н. А. Баскаков. К вопросу о происхождении этнонима «кыргыз».— СЭ. 1964, № 1; H. Ludat. Farbenbezeichnungen in Völkernamen.— «Saeculum». 5 (1954); A. Gabain. Vom Sinn symbolischer Farbenbezeichnungen.— AOH. T. 15. Fasc. 1—3. 1962.

[57] М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М., 1971, с. 712; Т. Н. Кондратьева. Собственные имена в русском эпосе. Изд-во Казанского университета, 1967, с. 75—80.

дение персонажа, на его связь с мусульманским Востоком[58]. Это дает нам основание сближать Соловья-Разбойника с тюркскими кочевниками южнорусских степей — печенегами или особенно половцами, которые, сами оставаясь немусульманами, испытывали сильное влияние со стороны ислама. «Кипчакские ханы, даже в Южной России, имели у себя на службе представителей мусульманской культуры, особенно специалистов военного дела; но даже в непосредственном соседстве с мусульманскими областями были немусульманские кипчакские ханства...»[59].

Русское *половцы*, как уже говорилось, происходит от прилагательного *полóвый* (у Даля с иным ударением — *половóй*) «палевый, изабеловый или бледный, белесовато-соломенного цвета, как полова; бол(ьше) гов(орится) о собаках и зверях». «*Половáя лошадь,* по хвосту и гриве глядя, бывает: *половобулáная* и *половосолóвая*». Известна также поговорка: «Половой соловому под масть», указывающая на близость половой и соловой мастей. Ср. *соловый* (у Даля *соловóй*) о шерсти, масти конской: «желтоватый, со светлым хвостом и гривой»[60].

Эта близость цветовых обозначений *половый* и *соловый* могла послужить основой для их взаимной замены, особенно в довольно условных случаях их применения к этническим названиям. Правда, случаев употребления прилагательного *соловый* для именования половцев в памятниках древней русский письменности нам неизвестно. Обычное обозначение этого народа здесь *половцы* или же изредка в книжно-назидательных контекстах *куманы.* Возможно, между образованиями от *половыи* и *словыи* были какие-то стилистические различия, не позволяющие последнему проникать в письменность, но лишь употребляться в произведениях героического эпоса. Вполне возможное для это-

---

[58] На этот факт не обратил внимания Б. А. Рыбаков, который по традиции видит в образе Соловья-Разбойника лишь олицетворение сепаратистски настроенных местных племенных князьков (см.: Б. А. Рыбаков. Древняя Русь. М., 1963, с. 72—74; он же. Первые века русской истории. М., 1964, с. 51). Это отчество восходит к мусульманским именам *Рахман* и *Рахмат.* В форме *Рахмантович* оба имени контаминировались. С русским прилагательным *рахманный* связывать это отчество воинственного хищника затруднительно по семантическим причинам, ибо *рахманный* связано с комплексом противоположных значений: «смирный», «тихий», «простодушный», «чудной», «неуклюжий» и т. п. (см.: В. Н. Прохорова. Замечания к истории и этимологии слова *рахманый.*— «Этимологические исследования по русскому языку. Вып. 5. Изд-во МГУ, 1966, с. 94—103). В связи с наличием у мусульман имени *Рахмат* отпадает надобность выводить отчество *Соловья Рахматовича* «из *вор Ахматович* — от имени хана Золотой Орды *Ахмата*, который в 1480 г. выступил против русских», как это принято в «Этимологическом словаре русского языка» М. Р. Фасмера (Т. 3. М., 1971, с. 450).

[59] В. В. Бартольд. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии, с. 100.

[60] В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. [Изд. 6]. М., 1955, т. 3, с. 263; т. 4, с. 266.

го рода устных текстов гиппологическое (коневодческое) сочетание *соловый разбойник* постепенно в связи с забвением внутренней формы названия превратилось в название пернатого *Соловья-Разбойника,* который приобрел некоторые птичьи черты, сохранив, однако, и человеческие признаки.

Такому сближению в немалой степени помогло и то обстоятельство, что слова *соловый* и *соловей* однокоренные. Искажение первоначального названия привело к тому, что черты хищника были приписаны совершенно безобидной птичке. Здесь безусловно справедливым должно быть признано высказанное акад. Н. П. Дашкевичем «объяснение птичьих черт Соловья-Разбойника влиянием его имени, его свистом и пребыванием на дубах» [61].

В большинстве былинных сюжетов о Соловье-Разбойнике последний обычно выступает как абсолютно отрицательный персонаж, которого убивают как заклятого врага, но в некоторых вариантах Владимир Красное Солнышко идет на мировую с Соловьем-Разбойником, жалуя его детям высокие должности в Киеве. Эта развязка, кажется, скорее, говорит в пользу традиционной трактовки образа Соловья-Разбойника как непокорного удельного князя, но если мы вспомним, что тюркский этнический элемент преимущественно черноклобуцкого происхождения играл довольно значительную роль в исторических событиях Киевской Руси [62], да и половцы находились с русскими не всегда только во враждебных отношениях, то и эта развязка былинного сюжета не будет противоречить предложенному объяснению образа Соловья-Разбойника как собирательного образа половецкого кочевника лесостепной полосы, наблюдавшего за дорогой с дерева.

Итак, известный нам по былинам *Соловей*-Разбойник появился на месте *Соловогo* Разбойника — *Половца,* что следует учитывать и при анализе содержания былин.

В экземпляре первого издания «Слова о полку Игореве», хранящемся под шифром Гр. 5254 в Государственной публичной библиотеке Академии наук УССР (Киев), на с. 22 на поле слева

[61] Н. П. Дашкевич. Разбор сочинения В. Ф. Миллера «Экскурсы в область русского народного эпоса. I—VIII».— Отчет о XXXVI присуждении наград гр. Уварова. СПб., 1895 (отд. отт.), с. 34.

[62] См.: Д. А. Расовский. О роли черных клобуков в истории древней Руси.— Сборник статей по археологии и византиноведению, издаваемый Институтом имени Н. П. Кондакова (Seminarium Kondakovianum). 1. Прага, 1927; он же. Печенеги, тюрки и берендеи на Руси и в Угрии.— Там же. 6 (1933); он же. Русь, черные клобуки и половцы в XII в.— Сборник в памет на проф. Петър Ников. София, 1941 («Известия на Българското историческо дружество». № 16—17); В. А. Пархоменко. Следы половецкого эпоса в летописях.— Проблемы источниковедения. Сборник 3. М.—Л., 1940.

против фразы «и падеся Кобякъ въ градѣ Кіевѣ, в гридницѣ Святъславли» сделана поздняя приписка «Соловей разб[ойник]»[63], которая представляет попытку найти реального прототипа для былинного героя. Действительно, обстоятельства гибели Боняка и Соловья-Разбойника весьма сходны, хотя этих данных маловато для отождествления персонажей.

ЗОЛОТАЯ ОРДА

Возможно, с калькированием половецкого наименования *қӯн — куман* связано возникновение в довольно позднее время (XVI—XVII вв.) загадочного термина *Золотая Орда,* который восточным источникам совершенно неизвестен (В. В. Бартольд. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии, с. 138). Ведь половцы составляли весьма значительную часть населения улуса Джучи, по географическому названию территории расселения половцев задним числом могло быть названо и политическое объединение, государство. В плане связи названия Золотой Орды с половцами особый интерес представляет замечание В. В. Бартольда: «...имя Кипчак было перенесено и на монгольское государство Золотой Орды»[64].

РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛОВЦЕВ

Половцы занимали огромные территории, но без единой, централизованной власти над всем половецким народом: «Движение кипчаков представляет редкий пример занятия народом огромной территории без политического объединения и без создания своей государственности. Были отдельные кипчакские ханы, но никогда не было хана всех кипчаков»[65]. Однако, вероятно, среди половецких кочевий возникали отдельные территориально огра-

---

[63] Л. А. Дмитриев. История первого издания «Слова о полку Игореве». Материалы и исследование. М.—Л., 1960, с. 55; но на фотокопии этого экземпляра (между с. 76—133 книги) надпись не видна.

[64] В. В. Бартольд. Кипчаки.— Сочинения. Т. 5. М., 1968, с. 550—551 (к сожалению, ссылки на источники отсутствуют). О следах прилагательного *сары(ғ)* «желтый» в ономастике Восточной Европы см.: Г. Ф. Благова. В. В. Радлов и изучение тюркской топонимии в аспекте современных топонимических проблем.— Тюркологический сборник. 1971. М., 1972, с. 126. О термине *Золотая Орда* см.: Г. А. Богатова. Золотая орда.— «Русская речь». 1970, № 1, с. 70—77. Эта тема заслуживает специальных разысканий. Ср. также: L. Rásonyi. Les noms toponymiques comans du Ķiskunság.— «Acta linguistica Academiae scientiarum Hungaricae». T. 7. Fasc. 1—2. Budapest, 1957, с. 73—146.

[65] В. В. Бартольд. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии, с. 99.

ниченные племенные объединения. Обычо эти объединения именовались или по главной местности, или по главному племени (роду) объединения, но были также и условные наименования объединений, охватывавших обычно большие подразделения половецкого народа[66].

В арабской географии Идриси середины XII в. противопоставляются в половецкой земле *Белая*, *Черная и Внешняя Кумании*. Б. А. Рыбаков считает, что *Белая* (западная) *Кумания* включала приднестровские и приднепровские половецкие кочевья, а центром *Черной Кумании* был Северский Донец. *Белая Кумания* была владением Бонякидов, а *Черная* — Шаруканидов[67].

Идриси неоднократно[68] упоминает в описании VI климата *Куманию* قمانية (или ارض القمانية), а также один раз в VII климате; кроме того, это название Идриси снабжает уточняющими определениями: *Черная Кумания* (قمانية السودآ), *Белая Кумания* (قمانية البيضآ), *Кумания Внешняя* (القمانية الخارجة), однако в издании А. Жобера исправлено на *Кумания Внутренняя* القمانية الداخلة на основе латинского перевода; О. Блау считает эту конъектуру неудобной[69].

Любопытно, что противопоставление западной части Половецкой степи ее восточной части у поздних арабских авторов, использовавших и сочинение Идриси, опирается на другую терминологию: западная часть именуется страной Каманской (بلاد القامانية), а восточная получает название Кыпчакской (بلاد الخفشاق, или القبجاق, или الخفجاق). Но эта терминоло-

[66] См. карту расселения половецких орд Приднепровья в кн.: К. В. Кудряшов. Половецкая степь. М., 1948, между с. 128—129; карту половецких кочевий XI—XIII вв. см. в работе: С. А. Плетнева. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях, с. 174, также с. 193—194. Впрочем, А. И. Попов в книге «Названия народов СССР...», с. 128—129, решительно и справедливо отвергает названия половецких родовых групп от речных имен как результат безосновательного и беспрецедентного сочинительства К. В. Кудряшова, а Г. А. Федоров-Давыдов в книге «Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. Археологические памятники» (М., 1966, с. 147—150) солидарен с К. В. Кудряшовым.

[67] Б. А. Рыбаков (Русские земли по карте Идриси 1154 г., с. 42—43) сопоставляет свою трактовку данных Идриси с трактовкой К. Миллера в виде двух схем. Г. А. Федоров-Давыдов (Кочевники Восточной Европы, с. 203) говорит не об областях, а о двух городах «Белая и Черная Кумания близ Тмутаракании (!) на карте Идриси», но с текстом его «Географии» он свое мнение не согласовал. Впрочем, на с. 149—150 он ведет речь и об областях *Белая* и *Черная Кумании*, но окончательное мнение Г. А. Федорова-Давыдова по этому вопросу уловить трудно.

[68] Géographie d'Édrisi, traduite de l'arabe en français... par P. A. Jaubert. T. 1—2. P., 1836—1840; T. 2, c. 391, 399, 400, 401, 404, 434, 435.

[69] O. Blau. Ueber Volksthum und Sprache der Kumanen, c. 562 (прим. 19).

гическая путаница, возможно, связана с контаминацией разных источников, как это обычно бывает у поздних компиляторов [70].

ЕЩЕ РАЗ О ПОЛОВЦАХ-СОРОЧИНАХ

В 1966 г. я опубликовал разного рода свидетельства в пользу того, что западные половцы в древних русских источниках именовались сорочинами, в чем отразилось название народа ساری *са̄ры̄*, который шел впереди народа قون *қун*. (Впоследствии это название сблизилось и слилось с европейским названием мусульман *сарацины* [71].) Особо следует подчеркнуть колебание начального согласного между *с-* (Ауфи) и *ш-* (Мервези): ساری и الشارية, которое напоминает соответствующий переход *с->ш-* в булгарском языке, поскольку он эпизодически отражается в чувашском языке. В частности, общетюркское прилагательное цвета *сары(ғ)* 'желтый' в современном чувашском языке — единственном сохранившемся булгарском диалекте — имеет вид *шурӑ* (*šurə*) и значит «белый» (!) [72]. Конечно, трудно установить пути, по которым к Мервези попала булгаризованная форма этнического названия *шари(йя)* при *са̄ры̄* у Ауфи. Но происхождение названия *Белая Кумания* (قمانية البيضا) у Идриси относящегося именно к западным половцам (потомкам народа ساری *са̄ры̄* — الشارية

---

[70] Géographie d'Aboulféda. Texte arabe publié... par M. Reinaud... et M. le B^{on} Mac Guckin de Slane. P., 1840, c. 205—206; Géographie d'Aboulféda, traduite de l'arabe en français... par M. Reinaud... T. 2. P. 1. P., 1848, c. 291—294.

[71] И. Г. Добродомов. Из древнерусской этнонимики. Древнерусское *сорочининъ* и греческое Σαρακηνός.— СЭ. 1966, № 3, с. 122—128. Д. Е. Еремеев в книге «Этногенез турок (происхождение и основные этапы этнической истории)» (М., 1971, с. 67) не вполне корректно и без ссылок на источники акцептовал гипотезу И. Г. Добродомова как непреложный факт, что в рецензии на эту книгу Р. А. Гусейнов отнес к числу недостатков (СТ. 1972, № 2, с. 106).

[72] Гласный *у* начального слога, по мнению многих лингвистов, развился в чувашском языке сравнительно поздно из гласного *а*. Именно значение «белый» у этого прилагательного в составе названия знаменитой хазарской крепости *Саркел — Белая Вежа* (в византийском греческом Σάρκελ может также быть скрыто более вероятное чтение *Шар(ӑ)кел* с начальным *ш-*) в противоположность значению «желтый» в прочих тюркских языках позволило П. Пельо (P. Pelliot. Notes sur l'histoire de la Horde d'Or. P., 1949, c. 214—215) высказываться в пользу булгарского характера языка хазар. Чтение *Ш-р-кил* обнаруживается в еврейско-хазарской переписке; см.: Б. Н. Заходер. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. [1]. Горган и Поволжье в IX—X вв. М., 1962, с. 192, со ссылкой на книгу: П. К. Коковцов. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л., 1932, с. 102 и прим. 18 (с. 105—106), где дается чувашская этимология этого названия, обоснованная материалом Н. Н. Поппе. Там же обширная библиография.

аш-шāри(йя) — сорочинов), становится понятным. Прилагательное «белый» — калька именно булгаризованного прилагательного *шары* 'белый' в соответствии с тюркским *сары(ғ)* 'желтый'[73].

БУЛГАРСКИЕ СЛЕДЫ

Исследователи уже давно испытывали большие затруднения при классификации тюркских языков из-за пестрой и сложной картины схождений (общих черт) и расхождений (различий) между этими языками, возникших в ходе разного рода исторических взаимодействий, в которые на разных этапах истории вступали между собой тюркские народы — преимущественно кочевые. Кочевники легко преодолевали довольно большие расстояния и легко устанавливали контакты и взаимодействия, результатом которых было обоюдное обогащение контактирующих языков за счет друг друга. Подобное взаимопроникновение гетерогенных элементов внутрь контактировавших тюркских языков делает необходимым при построении классификации тюркских языков не только брать во внимание современное состояние этих языков, но и учитывать исторические процессы формирования языков в связи с историей их носителей — тюркских народов. Опыт такой историко-типологической классификации тюркских языков в связи с исторической периодизацией их развития и формирования разработан в трудах известного русского тюрколога Н. А. Баскакова[74], который постоянно учитывает исторические судьбы тюркских народов при общей характеристике их языков, обращая внимание на возможные разнородные компоненты в составе языков у тюркских народов, сменявших друг друга в южнорусских степях. В частности, Н. А. Баскаков отмечает, впрочем без конкретных примеров, в этих языках даже позднего времени сильные булгарские следы, хотя ни торки, ни печенеги, ни половцы не были булгарами: булгарские черты в этих языках появились в процессе ассимиляции древних булгаров, суваров и хазаров, которые заселяли южнорусские степи в более ранний период[75].

О булгарских элементах в разных тюркских языках говорил уже В. Н. Татищев в замечаниях на труд П. И. Рычкова по истории татар, написанных в 1749 г. под названием «Напомнение на присланное описание народов, что в описании географическом наблюдать нуждно», в связи с характеристикой чагатайского

[73] Любопытно, что булгарские диалекты, из которых были заимствованы венгерские формы *sár, sárog, sárga* (венг. *s*=*ш*) 'желтый', сохраняли общетюркское значение (см.: Z. Gombocz. Die bulgarisch-türkische Lehnwörter in der ungarischen Sprache. Helsinki, 1912 (MSFOu. 30), с. 114).

[74] Н. А. Баскаков. К вопросу о классификации тюркских языков. — ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 11. Вып. 2. 1951, с. 121—134; ср.: он же. Введение в изучение тюркских языков. Изд. 2. М., 1969, с. 210—230.

[75] Н. А. Баскаков. Тюркские языки, с. 127—128.

языка: «Астраханские и бухары ученые сказывают, яко бы чегодайский язык есть старейший и полнейший во всех татарских языках, а прочие все болгарским испорчены, и оного все прилежат научиться»[76].

Булгарские следы в Северном Причерноморье были известны еще в начале XIV в., когда на основании более старых источников сириец Абу-л-Фида писал свою «Географию». Описывая северные страны, Абу-л-Фида отмечает, что причерноморские города اقجا كرمان *Аķчāкермāн* (Аккерман — Белгород-Днестровский) и صاری كرمان *Çāрыкермāн* (совр. Севастополь) находятся в области булгаров и тюрков[77].

Тюркоязычные булгары, известные по историческим источникам с VI в. н. э., были основоположниками двух государств — одного на Волге и Каме, другого на Дунае[78]. Однако салтово-маяцкая культура, которую археологи связывают с аланскими и хазарско-булгарскими кочевниками, переходившими от таборного кочевания к полуоседлости и земледелию, имеет гораздо более обширные районы распространения[79], что свидетельствует о распространении булгарско-хазарского и аланского этнических элементов за пределами булгарско-хазарских государственных объединений. Основными создателями салтово-маяцкой культуры, видимо, были булгары[80]. В дальнейшем булгары — создатели салтово-маяцкой культуры влились в состав других тюркских народов, но некоторые черты их языка можно обнаружить косвенно, как в случае с Белой Куманией (قمانية البيضا) у Идриси, где прилагательное цвета «белый» отражает следы булгарского варианта *шары* 'белый' общетюркского цветообозначения *сары* (*г*) 'желтый'.

ĶУН—ХЫНЪ

При учете булгарского посредства между русскими и половцами тождество наименований — *ķун* — *хынъ* оказывается довольно прозрачным и очевидным. Из материалов Мервези — Ауфи следовало, что по стопам народа *сары* — **шары*, образовавшего потом в южнорусских степях западную ветвь половцев-сорочинов под эгидой Бонякидов, шел другой половецкий народ — *ķӯн*, название которого до сих пор сохранилось в венгерском *kun(ok)* 'половцы'. Именно этот народ образовал во-

---

[76] В. Н. Татищев. Избранные труды по географии России, с. 233.

[77] Géographie d'Aboulféda. Texte arabe..., с. 212—215; Géographie d'Aboulféda... Т. 2. P. 1, с. 317—318.

[78] В. В. Бартольд. Болгары.— Сочинения. Т. 5. М., 1968, с. 509—520.

[79] С. А. Плетнева. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. М., 1967 (МИА. № 142), с. 180—190.

[80] Там же, с. 188.

сточную часть половцев, населявших южнорусские степи и составлявших так называемую Черную Куманию (قمانية السوداء), по Идриси. Глубокозаднеязычный смычный согласный *к̧* в половецком языке уже к концу XIII в., как показывают данные памятника Codex cumanicus, окончательно перешел в фрикативный *х*[81], который был первоначально чужд тюркской фонетической системе. Аналогичное изменение произошло с этим звуком также и в чувашском языке; возможно, между этими явлениями и обнаруживается какая-то связь: половецкий язык изменялся под влиянием булгарского субстрата?[82]. Однако гласный *у* в половецком языке обнаруживал устойчивость и обычно сохранял свое качество, но в современном чувашском языке старый тюркский лабиализованный гласный *у* утрачивал свою лабиализованность (огубленность), изменяясь в гласный типа *ы* или *ӑ*[83]. Следовательно, этническое название *к̧ӯн* на булгарской почве могло приобрести звучание **хын* (или **хӑн* с редуцированным гласным), которое в точности соответствует древней форме *хынъ* загадочного термина *хинове*, упомянутого в «Слове о полку Игореве».

Итак, *хинами* назывались восточные половцы, занимавшие районы Подонья и находившиеся под эгидой Шаруканидов. Именно против этих половцев был предпринят поход, воспетый в «Слове о полку Игореве». Любопытно отметить, что все три случая упоминания *хинов* приходятся на прямую речь персонажей, а не на авторскую. Именно *хинам* — Шаруканидам подало повод к буйству поражение Игоря, именно *хины* — Шаруканиды осыпали русских воинов во время битвы стрелами *хиновскими*. Упоминание же *половцев* в одном списке с *хинами* в «Золотом слове Святослава», вероятно, можно объяснить тем, что в указанном контексте восточные *хины* — Шаруканиды противопоставлены западным *половцам* — Бонякидам, которые иногда именовались *сорочинами*. Восточные половцы здесь названы *хинова*, а западные *(сорочины* — ساری *сāры̄)* почему-то поименованы калькированным (дословно переведенным) названием *половцы*, которое в других контекстах относилось и к *хинам*, и к *сорочинам*.

Можно также предположить, что одно из названий — *половцы* или *хинова* — является маргинальной глоссой, ошибочно попавшей не на свое место в текст «Слова о полку Игореве» при переписке, тогда вопрос о противопоставлении *хинова* — *половци* в данном контексте снимается, а, скорее, возникает вопрос об их тождестве. Логичней всего было бы считать, что глоссой — пояснением на полях сгоревшей рукописи был более привычный

---

[81] Документы на половецком языке XVI в. (Судебные акты Каменец-Подольской армянской общины). М., 1967, с. 351—352.

[82] Н. А. Баскаков. Введение в изучение тюркских языков, с. 274.

[83] В. Г. Егоров. Современный чувашский литературный язык в сравнительно-историческом освещении. Изд. 2. Чебоксары, 1971, с. 142—145.

термин *половци*, которым пояснялся редкий и малоизвестный термин *хинова*, но наличие соединительного союза *и* перед словом *половци* при неуместности союза или даже усилительной частицы *и* в случае опущения этнонима *половцы* предполагаемой глоссы заставляет принять иное объяснение — в пользу глоссового характера термина *хинова*, который мог быть написан несколько выше строчки с поясняемым словом *половци*. Правда, здесь речь могла идти не о пояснении более хорошо известного этнического термина менее известным (впрочем, раньше степень известности этих терминов могла не совпадать с современной!), а, скорее, о конкретизации слишком широкого и неопределенного этнического наименования *половци*. Автор глоссы, возможно, хотел сказать, что в данном случае речь шла не обо всех половцах, а лишь об их значительной и главной части, которая после поражения неудачного похода Игоря воспрянула духом. В пользу глоссового характера этнонима *хинова* говорит следующий факт: в выписке Н. М. Карамзина из «Слова о полку Игореве», содержащейся в знаменитой «Истории государства Российского», *хинова* в перечне покорившихся народов отсутствует. Можно полагать, что Н. М. Карамзин не включил в выписку этот загадочный термин из-за того, что в рукописи он не вполне удачно вписывался в текст, выпадал из него. Опущение у Н. М. Карамзина термина *хинова* в силу непонятности последнего не может быть принято из-за того, что столь же, если не более, загадочный термин *деремела* в выписке сохранен. В первом издании «Слова о полку Игореве» загадочное слово *хинова* оказалось включенным в текст; возможно, с включением в текст слова-глоссы каким-то образом связаны особенности пунктуации этого места в первом издании. Текст выписки Н. М. Карамзина в III томе «Истории государства Российского» (первое издание 1816 г., с. 464) воспроизведен также в книге Л. А. Дмитриева «История первого издания „Слова о полку Игореве“» (с. 256).

Возможно, что в названии *Черная Кумания* (قمانية السوداء) у Идриси отразилась калька соответствующего тюркского термина, а в тюркских языках цветовое прилагательное *қара* ʻчерныйʼ может употребляться в переносном значении «несмешанный, чистый, единственный и т. п.»[84]. На этом основании можно полагать, что наиболее чистыми, настоящими, несмешанными были донецкие половцы из области Шаруканидов — *хинове*.

Не лишен интереса тот факт, что *черными* именовались также *кубанские булгары*, оставшиеся в этом районе Северного Причерноморья после переселения одной части булгар в Подунавье, а другой — в Волго-Камье из мест своего прежнего обитания

---

[84] I. Laude-Cirtautas. Der Gebrauch der Farbbezeichnungen in den Türkdialekten, c. 33.

в Предкавказье. Волжских булгар в поздних русских летописях называют *серебряными* (=*белыми*?).

Представляется чрезвычайно сложным вопрос о делении хазар на *черных* и *белых,* ибо уже первоисточники переводят это противопоставление в соматическую плоскость, обнаруживая буквальное понимание сообщаемых сведений [85].

ХИНЫ У АРАБСКОГО АВТОРА XII в.

Употребление названия *қӯн — хынъ* для восточных половцев, находившихся под эгидой Шаруканидов, возможно, обнаруживается и в других источниках кроме «Слова о полку Игореве», но, к сожалению, планомерных поисков в этом направлении сделано не было. Вероятно, именно о *хинах* идет речь в описании маршрута арабского путешественника середины XII в. Абу Хамида Гарнати, который в 1131—1153 гг. жил в разных местах Восточной Европы (Поволжье, Русь, Венгрия). Рассказывая о своем путешествии (1150 г.) из Булгара в Венгрию, Абу Хамид описывает свое пребывание в одном городе страны славян:

و وصلت الى مدينة من الصقاليب ، يقال لها غور كومان ، فيها من أبناء المغربة الالوف ، على صورة الأتراك ، يتكلمون بكلام الترك ، يرمون بنشاب مثل الترك ، و يعرفون فى تلك البلاد بحذ

«И прибыл я в город страны славян, который называют *гӯркӯмāн* (غوركومان). А в нем тысячи „сынов магрибинцев“, по виду тюрков, которые говорят (в рукописи: يتعلمون 'учатся'; исправлено Ц. Дублером) на тюркском языке и стрелы мечут, как тюрки. И известны они в той стране [под именем] *х̣н*... (حذ)» [86].

Прежде всего следует иметь в виду, что слово «магрибинцы» нужно понимать буквально как «западные (люди)» и видеть в них западных тюрков страны славян по отношению к восточным тюркам Поволжья, откуда приехал Абу Хамид. Следовательно, Абу Хамид был в тюркском городе страны славян. Название этого города *гӯркӯмāн* (غور كومان) можно разбить на две части, в первой из которых (غور *гӯр*) следует видеть булгарский вариант племенного названия *гуз(з)*

[85] Б. Н. Заходер. Каспийский свод сведений о Восточной Европе, с. 137 и сл.

[86] Abū Ḥāmid el Granadino y su relación de viaje por tierras eurasiáticos por César E. Dubler. Madrid, 1953, с. 25 (текст), 64 (испанский перевод). В русском переводе О. Г. Большакова [Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131—1153 гг.). М., 1971, с. 37] текст искажен ненужными конъектурами.

(с булгарским ротацизмом: чувашский *р* в соответствии с огузско-кыпчакским *з*), а во второй — славянскую или тоже булгарскую передачу этнического названия половцев *қуман*: именно в этих языках глубокозаднеязычный *қ* заменился постпалатальным звуком *к*, какой встречается в русском или чувашском языке. Если бы это название было усвоено Абу Хамидом от самих тюрков, то вместо كومان *кӯмāн* в тексте стояло бы قومان *қӯмāн* или خومان *х̣ӯмāн* с иным начальным согласным: *қ-* или *х̣-*. Как доказал еще П. В. Голубовский, в русских летописях *гузы* именовались *торками*. О тождестве же куманов с половцами известно еще из наших летописей. Следовательно, Абу Хамид в 1150 г. посетил город торков (и) половцев, называемый так по имени населявших его народов, причем слитное, бессоюзное соединение двух слов в одно название свидетельствует, вероятно, о тесном сплаве двух разных этнических компонентов городского населения (غوركومان *г̣ӯр-кӯмāн*)[87]. Что касается последней фразы о другом наименовании жителей этого города حن *х̣н*⟨...⟩, то отсутствие конечной буквы слова حن *х̣н* в арабском тексте по изданию Ц. Дублера не позволяет с полной уверенностью указать, что это именно *хины* «Слова о полку Игореве». В испанском переводе Ц. Дублер дает это слово в транслитерации *ḥnh*, что позволяет восстановить арабское начертание حنه, но остается неясным, взято ли конечное *-h* (ه) Ц. Дублером из рукописи или же оно является плодом его конъектуры. Если конечный согласный *-h* (ه) есть в рукописи сочинения Абу Хамида, то тогда встает вопрос о том, нельзя ли в этом названии видеть древнерусский местный падеж множественного числа *(въ) хинѣхъ~(въ) хинохъ*, воспринятый как исходная форма названия, причем смягченный и твердый согласные *х'* и *х* были переданы в арабской транскрипции разными буквами.

В заключение представляется нужным отметить, что предложенное в настоящем разыскании отождествление загадочных *хинов* с восточными половцами *қӯнами* в целом по направлению поисков для выяснения темного слова совпадает с поисками Д. А. Расовского, хотя методика и пути исследования различны. Общим с концепцией Д. А. Расовского является большое внимание к данным самого текста «Слова о полку Игореве», что иными исследователями делалось в гораздо меньшей степени.

---

[87] Ср. название сблизившихся готов и аланов у И. Барбаро (XV в.): *Gothalani* (Барбаро и Контарини о России. Л., 1971, § 51, с. 132, 157, 181).

С. Н. Иванов

ОБ ИСТОРИЗМЕ В СОДЕРЖАНИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ

Вопрос об историзме в содержании грамматического понятия — это вопрос о диахронических элементах в синхронной системе языка, и при этом не об отдельных реликтах в том или ином звене этой системы, а о принципиальном понятии диахронического вообще в синхроническом. Однако, если говорить об историзме в содержании грамматического понятия, нужно будет договориться о том, чтó следует называть в данном случае понятием. Естественно, что речь должна идти о научном понятии, т. е. о минимальной единице теоретического знания относительно того или иного объекта исследования. И здесь мы вплотную подходим к методологическим вопросам.

Недостатка в общих рассуждениях о методологии в науке о языке нет. Однако тщетно бы мы искали в конкретных грамматических исследованиях, в частности и в тюркском языкознании, обоснованное определение того, что именно надлежит понимать под методологией исследования применительно к грамматике. Нет и опытов приложения определенной методологии к конкретному грамматическому материалу. Этот факт отражает собой то известное обстоятельство, что тюркское языкознание, в особенности грамматические изыскания в области тюркских языков, небогато собственно теоретическими исследованиями.

В настоящее время, когда в тюркском языкознании осуществлена огромная работа по сбору фактов, в которых отражаются современное состояние и история тюркских языков, чрезвычайно остро встает вопрос о теоретическом исследовании тюркской грамматики, вопрос о таком ее изучении, которое только и возможно на теоретической основе,— об изучении грамматики на системно-структурном уровне. Но это совершенно невозможно без четкой методологической основы теоретического исследования, без определенных мировоззренческих принципов. Это последнее обстоятельство приводит иссле-

дователя к пониманию того, что не существует науки вне философии.

Любой ученый, сознает он это или нет, стоит в своих исследованиях на тех или иных философских позициях, и отсутствие сознательно избранной философской основы в научных построениях исследователя объективно оказывается тоже разновидностью философского подхода. Как правило, в этом последнем случае основой исследования является позитивистское убеждение в том, что изучение той или другой совокупности фактов должно представлять собой простое описание ее, «упорядоченную запись непосредственных наблюдений» [1].

Эта разновидность «внефилософского» знания, как и другие его проявления, имеет своим истоком непонимание методологической функции марксистско-ленинской диалектико-материалистической философии. В последние двадцать лет советская философия многое сделала для разъяснения того, что упрощенное понимание диалектики как «учения о наиболее общих законах развития природы и общества», характерное для конца 30-х — начала 50-х годов, недостаточно, так как при этом упускается из виду познавательная, методологическая функция диалектики [2].

Между тем еще Ф. Энгельс писал: «Диалектика ... является единственным, в высшей инстанции, методом мышления, соответствующим теперешней стадии развития естествознания» [3]. Диалектика в ленинском понимании полностью совпадает с логикой, с теорией познания марксистской философии. В. И. Ленин говорил: «...не надо 3-х слов: это одно и то же...» [4]. В этом своем качестве диалектика является диалектиче-

---

[1] См., например: А. Ф. Зотов. Структура научного мышления. М., 1973, с. 34—56.

[2] См., например: И. Д. Андреев. Проблемы логики и методологии познания. М., 1972; Диалектическая логика. Ростов-на-Дону, 1966; В. С. Добрянов. Методологические проблемы теоретического и исторического познания. М., 1968; А. Ф. Зотов. Структура научного мышления. М., 1973; Э. В. Ильенков. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. М., 1960; он же. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М., 1974; Историко-философские очерки. М., 1964; П. В. Копнин. Диалектика как логика и теория познания. М., 1973; Ленин об элементах диалектики. М., 1965; Логика и методология науки. М., 1967; Логика научного исследования. М., 1965; Методологические проблемы современной науки. М., 1970; З. М. Оруджев. Диалектика как система. М., 1973; он же. К. Маркс и диалектическая логика. Баку, 1964; Г. А. Подкорытов. Историзм как метод научного познания. Л., 1967; М. М. Розенталь. Принципы диалектической логики. М., 1960; Философия. Методология. Наука. М., 1972.

[3] Ф. Энгельс. Диалектика природы.— К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 20, с. 527—528.

[4] В. И. Ленин. Философские тетради.— Полное собрание сочинений. Т. 29, с. 301.

ской логикой, которая и представляет собой логическую основу теоретического познания мира, логику теоретического исследования[5]. И если мы хотим от общих рассуждений о методологии перейти к формулированию конкретных методологических задач, то нужно будет признать, что та или иная методология — это тот или иной способ построения теории и конструирования научных понятий, из которых слагается данная теория.

Как логика теоретического исследования диалектическая логика содержит в себе вполне определенные указания относительно способов построения теории и научного понятия. Эти способы включают в себя оперирование строго разработанным аппаратом категорий диалектики (общее и единичное, сущность и явление, элемент и система и т. д.). Следовательно, если пытаться приложить методологические диалектические основания к изучению конкретных явлений грамматики, то нужно будет предпринять попытку построить точные и конкретные научные понятия об этих явлениях с учетом тех требований, которые предъявляет диалектическая логика к научному понятию[6].

Для темы настоящей статьи весьма существенным оказывается то обстоятельство, что если соблюсти все требования диалектической логики при конструировании научного понятия, то тем самым в научное понятие будет введен и необходимый элемент историзма[7]. Но прежде чем перейти (и для того, чтобы перейти) к вопросу об элементах историзма в содержании грамматического понятия, необходимо коротко рассмотреть основные положения диалектической логики о принципах построения научного понятия. Здесь следует различать метод конструирования понятия и то содержание понятия, которое должно возникнуть в результате применения этого метода.

Методом конструирования научного понятия в диалектической логике является метод восхождения от абст-

---

[5] Э. В. Ильенков. Диалектическая логика, с. 211—232.

[6] См., например: Историко-философские очерки, с. 295—329.

[7] В настоящей статье формулируются основные принципы методологического подхода к истолкованию тюркских грамматических категорий и форм, входящих в эти категории, и образованию научных понятий об этих категориях и формах. При этом главное внимание обращается на элементы историзма в содержании понятий. Принципы эти представляются пригодными для всех тюркских языков (с соответствующими изменениями в зависимости от конкретного грамматического материала), поэтому примеры из конкретных языков, за небольшими исключениями, не приводятся. Последнее обстоятельство объясняется также и тем, что в статье речь идет о фактах, широко известных применительно ко многим тюркским языкам, и никаких новых данных о самих фактах статья не содержит; она содержит новые данные о связях фактов друг с другом и суждения относительно самих принципов отыскания этих связей.

рактного к конкретному[8]. Такое восхождение предполагает постепенный переход от отдельных, высказываемых еще вне их всеобщих связей (и потому абстрактных!) определений данного предмета к уяснению конкретного знания о данном предмете, взятом уже в его всеобщих связях со всеми остальными предметами данной совокупности фактов. «Конкретное потому конкретно,— говорил К. Маркс,— что оно есть синтез многих определений, следовательно, единство многообразного»[9]. И вот тут мы подходим к вопросу о содержании научного понятия: оно должно отразить в себе скрытую от непосредственного наблюдения и потому устанавливаемую теоретическим путем глубинную единую основу того многообразия фактов, которое открыто исследователю в данной более или менее замкнутой области явлений в непосредственном наблюдении[10].

Применительно к грамматике это можно понимать так, что если, например, нам дана в наблюдении определенная (и она может быть очень большой) совокупность разнообразных и внешне иногда как будто не связанных («разрозненных») значений какой-либо грамматической формы (например, того или иного падежа), то исследование должно выработать теоретическим путем конкретное научное понятие о данной грамматической форме, которое показало бы единую основу и связь всех этих значений как необходимость, т. е. не как «случайный набор» вариаций, а как систему, связанную с системами значений других грамматических форм в рамках всей данной категории (например, связь всех значений всех падежей друг с другом). Таким образом, конкретное научное понятие об одной совокупности фактов (о значениях, например, одного какого-нибудь падежа) должно быть связано с конкретными научными понятиями о других совокупностях фактов (о значениях, например, других падежей), и всеобщая связь понятий (в которых отражена объективная связь данных фактов) образует собою теоретическое знание о данном круге явлений. Та́к исследователь получает знание о единой основе многообразия, об урегулированности единичных фактов их общей основой, о связанности разрозненных явлений их общей скрытой сущностью, о функционировании отдельных элементов в составе целостной системы.

[8] Диалектическая логика, с. 337—354; Э. В. Ильенков. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса, с. 112—185; З. М. Оруджев. Диалектика как система, с. 280—288; М. М. Розенталь. Принципы диалектической логики, с. 427—473.

[9] К. Маркс. Введение (Из экономических рукописей 1857—1858 годов).— К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 12, с. 727.

[10] См.: Историко-философские очерки, с. 295—329.

Познанная в целостном виде совокупность фактов с необходимостью должна привести, таким образом, к знанию ее скрытой сущности, и при этом самой важной составной частью этого знания должно явиться уяснение того, в чем, в какой своей части эта сущность является противоречивой: за всеми многообразными связями и отношениями надлежит увидеть то единственное и главное отношение, в котором данная сущность выявляет противоречивость — противоречивое отношение к себе самой [11].

Именно это знание противоречивой сущности любого предмета или явления действительности и составляет саму основу научного понятия, так как понятие должно отразить не мертвый статус данного объекта изучения, а ту глубинную закономерность, которая является причиной его самодвижения: противоречивость сущности самой себе означает известную смещенность ее относительно себя самой. Диалектическая логика видит в установлении этой смещенности главное требование к содержанию научного понятия. Не мертвое тождество данного объекта самому себе, а различие, проступающее на фоне этого тождества, должно стать главным знанием о данном объекте, отраженным в научном понятии о нем. Закон единства и борьбы противоположностей составляет самую суть теоретического мышления. При бессистемном пересказе, при эмпирическом перечислении вопрос о противоречивости данного предмета не возникает, он встает лишь тогда, когда задаются целью систематически отразить предмет в понятии и связать определенную группу понятий в целостную теорию. «...Диалектическое мышление ... имеет своей предпосылкой исследование природы самих понятий...» [12] — говорил Ф. Энгельс.

Для понимания того, каким должен быть элемент историзма в научном понятии, очень существенным является уяснение того обстоятельства, что каждый предмет действительности содержит в себе самом основу своего самодвижения, которое, будучи воспроизведено в научном понятии о данном предмете, и сообщит этому понятию необходимую историчность. Но дело не только в этом. Историчность в составе научного понятия трактуется диалектической логикой гораздо глубже.

В категориальном аппарате диалектической логики имеются разработанные категории логического и исторического, рассматриваемые в их взаимном отношении. Согласно диалектической логике, всякая развитая структура (предмет, объект и т. д.) не только заключает в себе самой элемент само-

[11] См.: Диалектическая логика, с. 161—162; Э. В. Ильенков. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса, с. 222; Ленин об элементах диалектики, с. 191.

[12] Ф. Энгельс. Диалектика природы, с. 537—538.

движения, т. е. причину и основание своего дальнейшего развития, но и содержит в снятом, преодоленном виде следы своей собственной истории[13]. Поэтому воссоздание в научном понятии всех особенностей данной структуры (т. е. любого предмета действительности в его расчлененном и развитом виде), являющееся логическим отражением сущности данной структуры, с неизбежностью отразит в себе такие черты данной структуры, в которых могут быть усмотрены основные особенности ее исторического развития.

* * *

Попытка усмотреть целостность и единство в бесконечном разнообразии грамматических фактов, в которых отражается функционирование той или иной грамматической формы, той или другой грамматической категории, с неизбежностью приводит к необходимости методологической интерпретации самих принципов подхода к решению этой сложнейшей задачи. Для истолкования скрытой единой основы видимого многообразия нужна теория, ибо это как раз тот случай, когда простое перечислительно-эмпирическое знание недостаточно, когда должен быть получен результат, не достигаемый иным, кроме теоретического, путем[14].

И здесь уже самая первая задача — задача уяснения самой сути грамматической многозначности приводит прямо к вопросу о соотношении единичного и общего, т. е. к той проблеме, которая чрезвычайно глубоко изучена диалектической логикой. Методологически и мировоззренчески эта задача стоит так: какие взгляды разделяет исследователь в отношении данной проблемы, к какому философскому разъяснению этого вопроса примыкает он, что́ он считает возможным положить в основу специальной, грамматической интерпретации той проблемы, которой он не может избежать, если только не захочет ограничиться эмпирическим перечислением значений в виде скучного рядоположения,— проблемы стройного объяснения значений как системы. В такой ситуации естественно обратиться к диалектико-материалистическому пониманию данной проблематики.

В самом деле: если есть, с одной стороны, грамматическая проблема соотношения частных и общих значений грамматических форм, обсуждаемая в языкознании уже очень давно (ра-

---

[13] См., например: Ф. Энгельс. Карл Маркс. «К критике политической экономии».— К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 13, с. 497; Диалектическая логика, с. 312; Э. В. Ильенков. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса, с. 188—193; Историко-философские очерки, с. 105.

[14] См.: Историко-философские очерки, с. 295—329.

боты К. С. Аксакова, Н. П. Некрасова, А. А. Потебни, труды представителей Пражской школы, и прежде всего Р. О. Якобсона), и существует, с другой стороны, разветвленное и точное понимание вопроса о соотношении единичного (особенного) и общего в диалектической логике, то уместно рассмотреть грамматическое своеобразие этой проблемы на фоне философской, диалектико-материалистической ее интерпретации.

Такое рассмотрение приводит к очень важным выводам: если понимать общее не метафизически — как абстрактное извлечение одинаковых признаков из всех единичных явлений данного ряда, данной совокупности фактов, а диалектически — как систему, в которую включены все единичные явления, то суть этого общего, в рамках которого функционируют единичности, в грамматическом его преломлении состоит в том, что общее грамматическое значение несомненно существует (и согласно диалектико-материалистической точке зрения не может не существовать!) и представляет собой совершенно определенно организованную совокупность значений, регулируемую вхождением каждой формы в два ряда грамматических противопоставлений [15].

В этом и состоит противоречивая двойственность каждой грамматической формы. Ее единство обеспечивается принципиально двояким отношением к смежным явлениям, она имеет обязательно два дифференциальных признака — отношение к «своему» (малому) ряду форм и отношение к общему (большому) ряду форм всей данной грамматической категории. При этом в одном ряду противопоставлений (в малом, семантическом) отражен консервативный элемент противоречивой сущности грамматической формы, а в другом (в большом, синтаксическом) — проявляется прогрессивный элемент противоречия [16].

Таким образом, выше были сформулированы, а далее будут интерпретированы грамматически определенные понятия:

понятие о двух рядах противопоставления грамматических форм — малом и большом;

---

[15] Подробнее см.: С. Н. Иванов. «Родословное древо тюрок» Абу-л-гази-хана. Грамматический очерк (Имя и глагол. Грамматические категории). Таш., 1969, с. 8—26, 49—93, 151—152, 191—195; он же. К истолкованию многозначности грамматических форм (На материале тюркских языков). — ВЯ. 1973, № 6, с. 101—109; он же. Курс турецкой грамматики. Ч. 1. Грамматические категории имени существительного. Учебное пособие. Л., 1975, с. 66—97.

[16] С. Н. Иванов. О сохранении в строе языка следов его прежних состояний.— СТ. 1973, № 6, с. 9—16. При этом очень важно понимать, что признание принципиальной противоречивой двойственности форм не имеет ничего общего с бинарным, попарным их соположением в духе бинаристских построений (см.: С. Н. Иванов. Курс турецкой грамматики. Ч. 1, с. 91—97).

понятие о семантических и синтаксических значениях грамматических форм и соответственно о семантических и синтаксических оппозициях;

понятие о противоречивой двойственности каждой грамматической формы;

понятие о консервативном и прогрессивном элементах противоречивой сущности грамматической формы;

понятие о сохранении следов истории каждой грамматической формы в ее наличном состоянии (диахрония в синхронии).

Эти понятия теснейшим образом связаны между собой и в этой своей связанности образуют понятия иного плана и другого объема — понятия о грамматических категориях и входящих в эти последние формах. Связанность понятий и расчлененность каждого понятия, как известно, являются основными требованиями, предъявляемыми к теории. Известно также, что зрелый уровень развития науки и профессионализм в подходе к исследованию предполагают непременное определение понятий.

Ниже будут рассмотрены понятия о грамматических категориях и образующих их формах, построенные на изложенных выше методологических принципах. При этом очень существенным представляется тот факт, что категории с многочленным противопоставлением форм (например, категории падежа и времени) выявляют значительную общность в характере оппозиций с категориями, которым свойственно двучленное противоположение форм (например, категория числа). Для наибольшей наглядности изложения возьмем для начала категорию с многочленным противопоставлением форм — категорию падежа [17].

КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА

Основной падеж

Два ряда оппозиций, в которые входит основной падеж, это, с одной стороны, малый ряд форм, включающий три падежа — основной, винительный и родительный, и, с другой стороны,

---

[17] То, что будет показано ниже, уже было сформулировано с большей или меньшей степенью детализации в других работах автора (см.: «Родословное древо тюрок» Абу-л-гази-хана; К истолкованию многозначности грамматических форм, с. 101—109; Курс турецкой грамматики. Ч. 1). Здесь же эти вопросы рассматриваются со специальной целью, вытекающей из задачи настоящей статьи,— в аспекте выявлений черт историзма в синхронном статусе форм и категорий.

большой ряд форм — вся падежная система в целом. В малом ряду основной падеж противопоставлен двум другим падежам по своей грамматической семантике: винительному падежу он противостоит как форма отвлеченно-предметного дополнения форме конкретно-предметного дополнения, а родительному — как форма отвлеченно-предметного определения форме конкретно-предметного определения. В рамках большого ряда основной падеж противопоставлен всем другим падежным формам синтаксически — как форма подлежащего формам дополнения (винительный, дательный, исходный, местный падежи) и определения (родительный падеж). В этом ряду основной падеж нейтрален к указанным выше семантическим различиям отвлеченной предметности и конкретной предметности: в позиции подлежащего он может иметь оба названных значения.

Противоречивая сущность основного падежа именно и определяется этим его двояким положением в ряду других падежей — вхождением в два ряда оппозиций. При этом консервативным элементом противоречивой сущности основного падежа и является его семантическое противопоставление в рамках малого ряда форм. Здесь сохраняются те прежние свойства данного падежа, которые были, по-видимому, характерны для него в давние эпохи развития тюркских языков во всех его функциях.

Можно полагать, что и в позиции подлежащего некогда основной падеж имел не то собственно «подлежащное» значение, которое он имеет теперь, а своеобразное значение, лежащее где-то между семантикой подлежащего, как такового, и общеопределительным значением уточнителя при последующей форме, обладавшей значением признака. Нечто подобное можно наблюдать в тюркских причастных конструкциях типа современных узбекских *сув оққан ер* («место, где течет вода»), где отношения между словами *сув* и *оққан* не могут быть безоговорочно квалифицированы как субъектно-предикатные: *сув* осознается как слово с субъектным по отношению к слову *оққан* значением только на фоне уже развитых субъектно-предикатных отношений в истинных предложениях с финитной формой в исходе, но вне этого фона, т. е. безотносительно к нему, *сув* по отношению к *оққан* — нечто среднее между подлежащим и определением [18].

Таким образом, развитая структура отношений, которые характерны для современного состояния основного падежа, будучи логически воспроизведена в понятии, являет собою и историческое — прежнее состояние основного падежа, но

---

[18] Подробнее см.: С. Н. Иванов. О сохранении в строе языка следов его прежних состояний, с. 9—16.

не в «чистом» виде, а в снятом, преодоленном, т. е. как включенное в современную систему его функционирования и преображенное ею и в ней.

Винительный падеж

Винительный падеж характеризуется оппозитивным соотношением с двумя рядами форм. С одной стороны, он противостоит как форма прямого дополнения с конкретно-предметным значением основному падежу — форме прямого дополнения с отвлеченно-предметным значением, а также соотнесен с родительным падежом как формой конкретно-предметного определения. Это — проявление винительного падежа в малом ряду форм, характеризующемся семантическими противопоставлениями.

С другой стороны, винительный падеж как форма управляемого дополнения вместе со всеми другими формами управляемых дополнений (дательный, исходный, местный падежи) противопоставлен основному падежу как форме подлежащего синтаксически и безотносительно к семантическим противопоставлениям своего малого ряда (в отстоящей позиции он является единственной формой прямого дополнения). Это — проявление винительного падежа в большом ряду оппозиций.

Противоречивая сущность винительного падежа состоит, следовательно, в том, что он одновременно и является и не является управляемой падежной формой: в малом ряду, где два падежа могут выступать в функции прямого дополнения (основной и винительный), появление одной из двух форм прямого дополнения определяется не управлением, а семантическими причинами (отвлеченно-предметное или конкретно-предметное значения); в большом ряду форм винительный падеж представляет собой единственную форму прямого дополнения, в принципе управляемую.

В малом ряду, следовательно, консервированы прежние свойства винительного падежа — его некогда исключительно «артиклевая» функция. Однако это давнее свойство винительного падежа является не просто пережитком, реликтом прошлого его состояния, но одной, и притом очень существенной, частью современного его функционирования, включенной в сложные отношения с другой линией его применения. Следовательно, расчлененное внутри себя понятие о винительном падеже включает точные представления о двух его сутях, образующих единство в современном употреблении, но свидетельствующих также и об истории его: консервативный элемент его нынешней противоречивой сущности — это проявление более давней его сущности.

Родительный падеж

Двойственность родительного падежа проявляется в том, что он также входит в два ряда противопоставлений. Как было показано на примере основного и винительного падежей, родительный падеж соотнесен с этими падежами в малом ряду падежных форм семантически — на основе обозначения в позиции прилегающего определения конкретно-предметных (родительный падеж) или отвлеченно-предметных (основной падеж) значений и в рамках противоположения конкретно-предметной семантики вообще (родительный и винительный падежи) отвлеченно-предметному значению (основной падеж). В другой линии оппозиций — в большом ряду падежных форм родительный падеж является в отстоящей позиции единственной формой определения в притяжательных словосочетаниях (в изафете) и синтаксически противостоит всем остальным падежам как форма не только определения, но и притяжательного предикатива. И здесь, следовательно, налицо два ряда противоположений — по семантическим и синтаксическим основаниям, два ряда форм, два элемента противоречивой сущности — консервативный (семантическое противопоставление основному и винительному падежам) и прогрессивный (синтаксическое противопоставление всем падежным формам).

Дательный, исходный, местный падежи

Каждый из этих трех падежей входит в два ряда оппозиций, чем и обусловлена противоречивая сущность каждой падежной формы этой группы падежей. Общее отличие трех названных падежей от трех рассмотренных выше состоит в нейтральности их отношения к противопоставлению значений конкретной и отвлеченной предметности, релевантностью которых определяется противопоставление основного, винительного и родительного падежей. Соотношение дательного, исходного и местного падежей в рамках малого ряда форм строится на семантической основе их простейших обстоятельственных значений (лежащих вне зоны жесткого управления): куда? (дательный падеж) — откуда? (исходный падеж) — где? (местный падеж).

За пределами этого соотношения, т. е. вне данной оппозиции, у каждого из этих трех падежей, в особенности у наиболее многозначных — дательного и исходного, имеются многообразные объектные значения, определяющиеся жестким управлением данных падежей сопряженными с ними глагольными формами. В этих значениях, доходящих в своих крайних точках до противоположности простейшим значениям (ср. наличие значений объекта ответного действия у дательного падежа и «при-

ложительные» значения у исходного падежа, а также факт полного схождения значений дательного и исходного падежей, антиподных в своих простейших обстоятельственных значениях)[19], дательный, исходный и местный падежи вместе с формой управляемого прямого дополнения — винительным падежом синтаксически противостоят основному падежу как падежу подлежащего и не соотнесены друг с другом по какому-либо единому семантическому признаку.

Таким образом, и в этой части склонения можно наблюдать общие для всех грамматических словоизменительных форм закономерности: вхождение каждой формы в два ряда противопоставлений — малый (т. е. в рамках группы падежей) и большой (т. е. в рамках склонения в целом), обусловленное семантическими (малый ряд) или синтаксическими (большой ряд) основаниями; двойственную природу сущности каждой падежной формы и отражение в этом двояком противоположении логических и исторических моментов. Семантическая сторона их противопоставления, несомненно, представляет собой консервативный элемент их двойственности, тогда как синтаксическая сторона их оппозитивного соотношения является прогрессивным элементом их двойственной сущности. Это последнее убеждение зиждется на том основании, что та сторона любого явления, любой структуры, в которой отражено развитие внутренне противоречивых моментов (а именно в синтаксическом противопоставлении наличествуют значения, доходящие до противоположных), свидетельствует о наибольшей развитости данного явления или данной структуры. Наиболее древние простейшие значения рассмотренных падежных форм сосуществуют в этих формах с более новыми и оказываются включенными в современную сеть оппозиций, т. е. выявляют историю данных форм, но не прямо, а косвенно — в снятом и преодоленном виде.

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА

Категория числа в отличие от категории падежа является категорией с двучленным противопоставлением форм. Однако, как будет показано дальше, категории с многочленным и категории с двучленным противоположением форм проявляют очень своеобразную тенденцию к обоюдному выравниванию категориальных свойств и к унификации грамматических признаков.

Простейшее противопоставление двух форм числа — с нулевым формантом и с показателем *-лар/-лер* основано на про-

[19] С. Н. Иванов. Курс турецкой грамматики. Ч. 1, с. 37—43, 49—52.

тивоположении значений единицы и множества, единичности и множественности. Это — семантическая оппозиция, мотивированная соответствующими количественными отношениями самой реальной действительности. Однако общая картина функционирования двух форм категории числа гораздо сложнее, и она включает в себя выражение не только количественных соотношений, но и определенные качественные оценки говорящим явлений количественного порядка. Это проявляется в том, что реальная множественность может обозначаться собирательно формой единственного числа, а форма множественного числа может обозначать не только множество предметов, но и единичный предмет, а также обладает способностью выражать множественность с дополнительными оттенками раздельности, расчлененности, распределенности в пространстве и во времени тех единиц, которые слагают данное множество[20]. Эти различия форм числа основаны уже не на собственно семантических противопоставлениях, а на оппозиции модально-контекстуальных и синтаксических значений.

В этом факте сопряжения в категории числа количественных и качественных моментов отражается коренная, существеннейшая особенность грамматических категорий вообще. Как известно, грамматика отражает реальную действительность не прямо, а опосредствованно. По самой природе грамматической организации языка от грамматических категорий нельзя ждать однозначного выражения реальных отношений окружающего мира. Язык в своей грамматической структуре непременно обозначает наряду с отношениями реальной действительности также и экспрессивные оттенки, проистекающие из оценочных моментов, из позиции говорящего. Поэтому стремление видеть в формах категории числа выражение одних лишь количественных отношений, а все, что не укладывается в схему чисто количественных различий, относить к «некатегориальным» значениям основывается на непонимании автономности грамматики в ее отношении к реальной действительности. Категориальные значения какой-либо грамматической категории — это все то, что она может выразить и выражает, а не только то, что непосредственно мотивировано фактическими отношениями материального мира. Если бы это было не так, то очень трудно было бы понимать наличие, например, в каком-либо языке нескольких разновидностей прошедшего времени, а чисто формальные грамматические категории, например категорию рода имен существительных, где формальные различия утратили мотиви-

[20] А. Н. Кононов. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.—Л., 1956, с. 67—73; С. Н. Иванов. Курс турецкой грамматики. Ч. 1, с. 5—16; он же. «Родословное древо тюрок», с. 31—48.

ванную связь с действительностью, нужно было бы признать ... «некатегориальными»!

Таким образом, две формы числа двояко противостоят друг другу: как обозначения единичности и множественности и как обозначения собирательности (цельное множество, множественность как единица) и раздельной множественности.

Это — чрезвычайно интересный и очень существенный для понимания соотношения грамматических форм в составе грамматической категории вообще факт. Категория с двучленным противопоставлением форм как бы стремится к многочленности, ибо в ней оказываются уже не два, а четыре элемента, противопоставленных друг другу. В свою очередь, это свойство грамматической категории с двучленным противопоставлением форм находит известное соответствие в категориях с многочленным противоположением форм, где, как было показано выше на примере категории падежа, обилие всех форм (большой ряд форм) распадается на два малых ряда со специфическими оппозициями семантического плана в пределах каждого малого ряда.

Следовательно, в категориях с двучленным и в категориях с многочленным противопоставлением форм проявляются противоположные тенденции, ведущие тем не менее к своеобразной унификации грамматических свойств и характеристик этих двух типов грамматических категорий: двучленные категории стремятся к многочленности, а многочленные категории конституируются на основе явной двоичности рядов; в целом же в обоих типах категорий каждая форма определяется двояким противопоставлением своим коррелятам и вхождением в два ряда оппозиций.

Таким образом, в понятии о категории числа существенными оказываются те же моменты, которые отмечены и в понятиях о других категориях:

а) формы имеют двоякое противоположение (у каждой формы два обобщенных значения);

б) каждая форма входит в два ряда оппозиций (форма единственного числа по значениям противопоставлена как своему корреляту — форме множественного числа по линии «единичность — множественность», так и себе самой по линии «единичность — собирательная множественность»; форма множественного числа противопоставлена как своему корреляту — форме единственного числа по линии «множественность — единичность», так и себе самой по линии «простая множественность— раздельная множественность»);

в) двоякое противопоставление форм основывается на семантических (чисто количественные отношения) и синтаксических (количественно-качественные отношения) значениях;

г) в двояком противопоставлении форм отражены консервативный и прогрессивный элементы двойственности каждой формы числа — изначальное и непосредственно мотивированное реальной действительностью противоположение значений единичности и множественности (консервативный элемент) и развившееся на этой основе противопоставление более сложных значений собирательности и раздельности (прогрессивный элемент), причем в последней оппозиции (и это весьма важно для характеристики развитости категории и ее высокой организованности) в каждой из форм оказываются развернутыми значения, в известном смысле противоположные «основным» значениям единицы и множества (собирательная множественность в форме единственного числа и возможность выражения расчлененного, но единичного предмета формой множественного числа);

д) в современных логических соотношениях грамматических форм (т. е. в их воспроизведении в понятии) сохранены в преобразованном виде следы их исторического движения от выражения чисто количественных различий к обозначению усложненных семантических наслоений, выросших на основе количественных соотношений.

КАТЕГОРИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Категория принадлежности представляет собой совокупность аффиксов, противостоящих друг другу различиями в значениях лица и числа. При реализации этого противоположения в составе слова оппозиция аффиксов принадлежности предстает как семантическая, т. е. по значению притяжательности в рамках различий в лице и числе.

Другой ряд противопоставлений отчетливо проявляется при функционировании категории принадлежности в составе словосочетания. Здесь притяжательные словосочетания, построенные по модели изафета так называемого 3-го типа, т. е. с родительным падежом определения и возможностью аффиксов всех трех лиц при определяемом, противостоят изафетным словосочетаниям так называемого 2-го типа, где определение имеет форму основного падежа, а определяемое может иметь при себе аффикс принадлежности только третьего лица. Также только третье лицо может иметь место в определительных конструкциях с показателем относительной связи[21]. Таким

[21] Подробнее см.: А. Н. Кононов. Грамматика современного турецкого литературного языка, с. 523—526; С. Н. Иванов. Тюркские атрибутивные конструкции с показателем относительной связи. — «Уч. зап. ЛГУ», № 282. Серия востоковедческих наук. Вып. 11. Л., 1959, с. 189—196.

образом, при использовании категории принадлежности в составе словосочетаний возникает и принципиально иной ряд оппозиций самих аффиксов принадлежности: аффиксам всех трех лиц противостоит аффикс третьего лица в его особой, синтаксической, функции, не соотносимый в этом своем качестве с аффиксами первых двух лиц на собственно семантической основе. Это — синтаксический ряд оппозиций, отличный от семантического противопоставления аффиксов принадлежности в составе слова.

Следовательно, каждый аффикс принадлежности любого из трех лиц и двух чисел входит в два ряда противопоставлений: семантически (по значению притяжательности) аффиксы принадлежности соотнесены друг с другом в составе слова, а синтаксически аффиксы принадлежности трех лиц как показатели со значением притяжательности противопоставлены третьему лицу в его непритяжательном значении показателя относительности в составе словосочетаний или показателя контекстуальной отнесенности [22]. Интересно при этом отметить, что, как и в категории числа, в категории принадлежности имеется отношение формы к самой себе: подобно тому как форма, например, единственного числа противостоит не только форме множественного числа, но и значению собирательной множественности в себе самой, так и аффикс принадлежности третьего, например, лица противопоставлен не только двум первым лицам, но и самому себе в ином своем значении.

Для понятия, отражающего сущность категории принадлежности, следовательно, оказываются определяющими те же свойства, что и для других категорий: два ряда противопоставлений и соответственно противоречивая двойственность значений, реализующихся не только на семантическом, но и на синтаксическом уровне. При этом и здесь можно утверждать, что развитие функций и соответственно значений шло от простого к сложному: синтаксическое противопоставление аффиксов принадлежности возникло на основе их семантического противоположения. Соответственно семантическое противопоставление являет собою консервативный элемент двойственности значений аффиксов принадлежности, а синтаксическое — прогрессивный.

Следовательно, и в данном случае наличный статус категории принадлежности и логическое понятие о нем воспроизводят в себе в преобразованном, снятом, преодоленном виде историческое развитие категории, хотя более древнее семантическое противопоставление разумеется, включено уже в

[22] С. Н. Иванов. «Родословное древо тюрок», с. 100—113; он же. Курс турецкой грамматики. Ч. 1, с. 57—64.

ином качестве в общую систему сложных соотношений, наблюдаемых в аффиксах категории принадлежности в целом.

КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ

В сфере категории времени отчетливо противопоставлены два формально различающихся ф о н а времени. Очень наглядно это представлено, например, в турецком языке, где формальные приметы времени следующие:

1. Фон момента речи	2. Фон прошлого
-acak	*-acaktı*
-ar	*-ardı*
-mak üzere	*-mak üzereydi*
-yor	*-yordu*
-makta	*-maktaydı*
-mış	*-mıştı*
-dı	*-dıydı*

Времена первого фона в их взаимном соотношении противостоят друг другу с е м а н т и ч е с к и — по различным временным значениям и образуют стройный ряд, где звенья, обозначающие три «естественных» времени (будущее — *-acak*, настоящее — *-yor*, прошедшее — *-dı*), как бы разделены формами переходного характера (настоящее-будущее — *-ar*, прошедшее-настоящее — *-mış*) с ярко выраженными качественными оттенками значений. Кроме того, «по обе стороны» от настоящего времени располагаются формы с «картинными» значениями настоящего, готового перейти в будущее (*-mak üzere*), и настоящего-длительного (*-makta*), как бы захватывающего своей семантикой пограничную сферу прошедшего, т. е. обозначающего настоящее, развертывающееся из прошлого.

Времена второго ряда представляют собой формы, в которых отражено относительное употребление форм первого ряда — использование их по отношению к другому временному фону. Это, следовательно,— особый тип с и н т а к с и ч е с к о г о использования форм одного ряда, одного фона времени по отношению к другому ряду, другому фону времени.

Однако для современного состояния языка формы второго ряда нельзя рассматривать т о л ь к о как особый тип у п о т р е б л е н и я форм первого ряда. Во-первых, формы второго ряда противопоставлены друг другу различными семантическими оттенками прошедшего времени и, следовательно, являются ф о р м а м и прошедшего времени, а во-вторых, эти формы также обладают способностью употребляться по отношению к фону первого ряда, т. е. по отношению ко времени речи, со специ-

фическими значениями сослагательности (*-acaktı, -ardı*), абсолютной давности действия (*-mıştı*) и т. д.[23].

Таким образом, система времен глагола в целом выявляет как бы две подсистемы, наложенные одна на другую: с одной стороны, существуют формы первого ряда и особый тип употребления этих же форм по отношению к фону прошлого; с другой стороны, формы второго ряда, несомненно, морфологизированы, и внешним (синтаксическим) проявлением этого является возможность их использования по отношению к фону времени речи. Получается, что каждый из двух рядов форм семантичен «в себе» (т. е. во взаимном противопоставлении форм внутри данного ряда) и синтаксичен в своем отношении к другому ряду.

Следовательно, в понятии о категории времени и отдельных формах, образующих данную категорию, определяющими, как и в других рассмотренных категориях, оказываются понятия о семантических и синтаксических оппозициях, о противоречивой двойственности, о консервативном (следы неморфологизированности форм второго ряда) и прогрессивном (морфологизированность форм второго ряда) элементах противоречивой сущности категории, о сохранении в современном статусе категории следов ее прежнего состояния, получивших, однако, новое содержание на фоне современного развитого целого.

О ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО И СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГОВ В ПРИЧАСТИЯХ

К пониманию того, что было изложено выше относительно категорий падежа, числа, принадлежности и времени, автор пришел в результате сознательного использования познавательных категорий диалектической логики. Побудительным толчком к этому послужила попытка осмыслить проблему грамматической многозначности, т. е. соотношение частных и общих значений, в ее преломлении в категории падежа, где особенно ярко представлено бесконечное разнообразие частных значений падежных форм. Стремление уяснить те положения, на которых основаны попытки Р. Якобсона и его последователей решить проблему общих значений, привело к убеждению, что в трудах представителей Пражской школы методологически неправильно трактуется вопрос о соотношении единичного (частные значения) и общего (инвариантное значение). Без философской, методологической интерпретации этого вопроса нельзя решить

[23] С. Н. Иванов. К объяснению системы времен турецкого индикатива.— Turcologica. К семидесятилетию академика А. Н. Кононова. Л., 1976. с. 84—86.

его и в грамматической его разновидности. В этих условиях естественно было обратиться к рассмотрению того, как ставится и решается данный вопрос в марксистско-ленинской диалектико-материалистической философии, и попытаться интерпретировать его в познавательных категориях диалектической логики. Наука должна оперировать понятиями, а связь, отражаемая понятием, и есть связь всеобщего и единичного[24]. Попытка грамматической интерпретации связи общего и единичного убедила автора в возможности методологического применения и других категорий диалектической логики для истолкования грамматических проблем. Решающим здесь оказалось то обстоятельство, что все многообразие грамматических фактов из области функционирования грамматических категорий имени и глагола при таком подходе стало укладываться в определенную систему, объясняемую из единых оснований.

В этом плане примечательно, что усилия объяснить бесконечно сложное многообразие явлений, связанных с функционированием причастия на *-ган* (на узбекском языковом материале), предпринятые автором гораздо раньше[25] и без намеренного привлечения идей диалектической логики, привели к совершенно аналогичным результатам, в которых оказались отраженными все наиболее существенные понятия, добытые позже для других грамматических категорий уже с применением познавательных категорий диалектической логики.

Общая картина синтаксического использования причастия на *-ган* (*-ётган, -диган*) в современном узбекском языке (в других тюркских языках, которым известно данное причастие,— аналогичная картина) являет бесконечное обилие и разнообразие фактов: чрезвычайно разветвлена система атрибутивных конструкций с причастиями; в очень сложном виде предстают залоговые отношения в определительных оборотах с причастиями (соотношение действительного и страдательного вариантов причастия); необычен набор возможных при причастном определении определяемых в их отношении к предшествующему причастию; возможно не только атрибутивное, но и субстантивное использование причастий в притяжательном оформлении; в субстантивной функции употребительна наряду с причастием на *-ган* также и форма на *-ганлик* без видимых различий во временно́м значении с причастием на *-ган* и т. д. и т. п. Задача исследователя в этом случае, как и во всех аналогичных ситуациях, состояла в том, чтобы найти единую основу ви-

---

[24] Историко-философские очерки, с. 319.

[25] С. Н. Иванов. Категория залога в определительных сочетаниях с формой на *-ган* в узбекском языке.— ВЯ. 1957, № 2, с. 103—107; он же. Очерки по синтаксису узбекского языка (форма на *-ган* и ее производные). Л., 1957.

димого многообразия, т. е. объяснить всю совокупность фактов так, чтобы все они были связаны между собой в систему и чтобы ни один факт не выпадал из найденной системы.

При попытке найти это единство оказалось, что все обилие и многообразие перечисленных фактов поддается вполне удовлетворительному объяснению и связывается в единую систему, если исходить из того, что два морфологически различающихся по значению залога варианта причастия — действительный и страдательный — двояко противопоставлены друг другу: а) как формы со значениями определенно-личного и неопределенно-личного действия и б) как формы с собственно действительным и собственно страдательным значением [26].

Таким образом, и в системе использования причастий наличествуют противоречиво двойственный характер форм, проявляющийся в их двояком противоположении, и сложное переплетение консервативного (противопоставление залогов по линии определенно-личного и неопределенно-личного значений) и прогрессивного (противопоставление залогов по линии собственно действительных и собственно страдательных значений) элементов противоречивой двойственности, сохраняющее в себе черты исторического становления современных залоговых различий.

* * *

Сопоставления различных категорий, предпринятые выше, показывают, что все понятия — о категориях падежа, числа, принадлежности, времени и залога (в причастиях) — наполняются определенным грамматическим содержанием в единой системе и соответственно в единых терминах, т. е., говоря иными словами, понятия увязываются в единую теорию. Примеры можно было бы и продолжить, но и приведенных иллюстраций, по-видимому, достаточно для того, чтобы обосновать принципиальную возможность объяснения многих фактов из единого основания, если поставить это объяснение на твердую почву методологических идей, содержащихся в корпусе категорий диалектической логики.

Использование познавательных категорий диалектической логики для конструирования научного понятия об исследуемом объекте — категорий явления и сущности, элемента и системы, единичного и общего, предмета, свойства и отношения, тождества и различия, функционального и субстанциального, многообразного и единого, противоречиво двойственного и единого и т. д.— приводит и к главному для темы данной статьи

[26] С. Н. Иванов. Очерки по синтаксису узбекского языка, с. 60—73.

выводу, базирующемуся на соотношении диалектических категорий логического и исторического: развитая грамматическая структура (т. е. категория или форма — в любом частном и общем своем проявлении) в своем синхронно фиксируемом состоянии содержит в преодоленном виде свою собственную историю, а научное понятие об этой структуре заключает в себе определенный элемент историзма — «подпонятие» о консервативном элементе противоречивой двойственности, включенном в общую систему функционирования данной структуры в ее наличном статусе.

То, что сделано в данной статье и в других работах автора для обоснования методологического приложения диалектической логики к грамматическим исследованиям,— первый и потому несовершенный опыт подобного рода. Несомненно, что коллективные усилия в этом направлении могли бы привести к существенным и чрезвычайно перспективным результатам.

С. Г. Кляшторный

НАСКАЛЬНЫЕ РУНИЧЕСКИЕ НАДПИСИ МОНГОЛИИ

I. ТЭС, ГУРВАЛЖИН-УЛА, ХАНГЫТА-ХАТ, ХЭНТЭЙ

Наскальные рунические надписи были открыты в Монголии одновременно с надписями на стелах, но еще до недавнего времени едва ли не единственным памятником этого вида древнетюркской эпиграфики Монголии считались надписи на скале Тайхир-чулу (или, по названию реки, Хойто-Тамирские надписи)[1]. В последние два десятилетия были опубликованы еще несколько наскальных надписей[2], что позволило, пока предварительно, отнести их к двум сюжетным группам: поминальной и посетительской эпиграфике. Значительное число наскальных рунических надписей было открыто или вновь обследовано нами во время рекогносцировок 1968—1969 и 1974—1975 гг. Теперь можно утверждать, что, за исключением степей Восточной Монголии, наскальная руническая эпиграфика распространена в Монголии повсеместно. В отличие от надписей на стелах этот вид надписей не профессионален по исполнению, что указывает на значительный круг людей, владевших письмом[3].

---

[1] С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.—Л., 1959, с. 46—54; Х. Пэрлээ. Тайхир чулуу. Улаанбаатар, 1960.

[2] E. Tryjarsky. L'inscription turque runiforme d'Arkhanen, en Mongolie.— UAJ. Vol. 36. 1965, fasc. 3—4, c. 423—428; E. Tryjarsky, J. Hamilton. L'inscription turque runiforme de Khutuk-ula.— JA. 1975, c. 171—182; В. М. Наделяев. Древнетюркская надпись из Ховд-сомона, МНР.— Бронзовый и железный век Сибири. Новосибирск, 1974, с. 163—166; Э. Р. Тенишев, Э. А. Новгородова. Новые рунические надписи в горах Монгольского Алтая.— История и культура Центральной Азии (в печати).

[3] С. Г. Кляшторный. Древнетюркская письменность и культура народов Центральной Азии (по материалам полевых исследований в Монголии, 1968—1969 гг.).— Тюркологический сборник. 1972. М., 1973, с. 261—263.

Тем самым расширяется круг источников разнообразной историко-культурной информации, хотя бы за счет очень кратких и обрывочных сведений, а в отдельных случаях оказывается возможной взаимная перепроверка текстов. Мы публикуем в этом сообщении главным образом те надписи, которые были обследованы нами повторно, а до того либо не были изданы, либо были изданы в ошибочных и неудовлетворительных копиях.

К сожалению, специфика наскальных надписей (нанесение их на неровную скальную поверхность, нитевидный характер черт, сильное воздействие процессов эрозии) делает не всегда возможным эстампирование и фотофиксацию; главным видом фиксации остается тщательное и осторожное копирование знаков, зачастую разрушенных, рисунком или прорисью.

1. Надпись на р. Тэс

Летом 1915 г., во время поездки по Северо-Западной Монголии, Б. Я. Владимирцов посетил долину р. Тэс. Здесь, по указанию местного жителя, им была найдена наскальная руническая надпись. О своей находке Б. Я. Владимирцов писал А. В. Бурдукову: «Орхонскую надпись на Тэс эстампировать не удалось, потому что она выбита на необделанной скале; пришлось удовлетвориться фотографированием и списыванием! Надпись хотя и маленькая, но чрезвычайно интересная, я разобрал уже почти всю. Кроме этой надписи, других найти не удалось, несмотря на самые тщательные поиски»[4].

Через несколько лет Б. Я. Владимирцов подготовил надпись к изданию, однако по неизвестным причинам после напечатания корректуры статья Б. Я. Владимирцова опубликована не была. Ученый не возвращался к этой подготовленной публикации и в последующие годы. Корректура статьи ныне хранится в библиотеке ЛО ИВАН (шифр $\frac{48.В}{3432}$)[5]. Вот как описывает Б. Я. Владимирцов местоположение надписи: «Надпись высечена на небольшой необделанной гранитной скале красноватого цвета, лежащей на маленьком холмике. Холмик этот, имеющий вид опрокинутой лодки, идет с востока на запад и лежит на довольно большой равнине между р. Тесом и горой Хундуйун, прямо

[4] А. В. Бурдуков. В старой и новой Монголии. М., 1969, с. 344.

[5] Б. Владимирцов. Небольшая турецко-енисейская надпись на р. Тесе (Западная Монголия), с. 410—416. Фотографии и другие иллюстрации отсутствуют; видимо, они утрачены вместе с архивом Б. Я. Владимирцова.

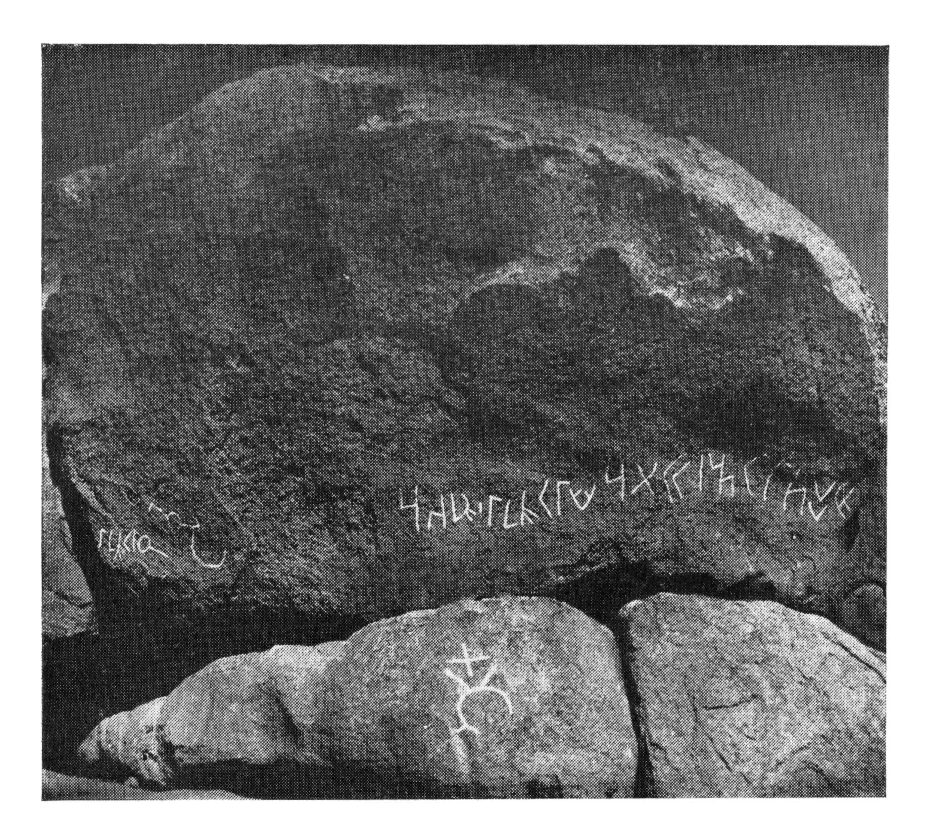


Фото 1. Надпись на р. Тэс

против красного массива Дзур.., находящегося на правом берегу Теса. Южная сторона холмика камениста, северная более или менее полога. Приблизительно в центре холма устроено довольно большое обо... Небольшая скала с надписью лежит на северо-восточном углу холмика; надпись высечена на полукруглом фронте скалы, прямо обращенном на юг. Скала своей верхней частью вроде кронштейна нависает над тем местом, где выбита надпись, и как бы полуприкрывает ее или служит навесом. Холмик с красной скалой лежит от р. Теса верстах в двух и известен под названием Овогин толгой („холмик с обо")» (с. 413—414).

Далее следует описание надписи, которая «состоит из одной строки и двух тамг, высеченных очень ясно. Какие-то знаки высечены на скале рядом с надписью, на восточной ее оконечности, вслед за естественной трещиной. Внизу под надписью

высечена фигура в 55 см высоты и 30 см ширины, имеющая вид креста на круге с четырьмя лучами. Надпись разбивается на две части тамгами. Первая часть надписи и тамги длиной в 71 см, остальная часть надписи длиной в 160 см, буквы же достигают 20—22 см высоты» (с. 415). Б. Я. Владимирцов предлагает следующее чтение:

^{a}lp ^{a}šun türk ^{a}lp ^{a}šun b^{i}t^{i}d^{i}m y^{a}z^{y}n b^{a}rt^{y}m

'Геройский Шун (Шон, Ашон, Ашун); [тамги] турецкий геройский Шун (Шон, Ашон, Ашун) написал я; весной ходил я' (с. 415).

Во время полевых работ 1969 и 1975 гг. мне дважды удалось осмотреть надпись и заново сфотографировать ее (фото 1). Тщательное обследование показало, что идентификация Б. Я. Владимирцовым некоторых знаков была ошибочной, что сказалось и на интерпретации. Теперь возможно предложить уточненное чтение:

alp šul [тамги] *tüpeš alp šul bitidim äsän olurtym* '[Я], Алп Шул [из рода с этими тамгами]. Я, Тюпеш Алп Шул, [это] написал. Я пребывал [тогда] здоровым (невредимым) (вариант: я сидел тогда эсеном)'.

Замечания к чтению: надпись выбита необычно, вверх основаниями знаков («вниз головою»). По содержанию и типу надпись мало отличается от других посетительских надписей[6]. По некоторым палеографическим особенностям (например, *t* в слове *olurtym*) заметно влияние енисейского варианта рунического письма. Слово *äsän* 'здоровый', 'целый', 'невредимый' очень часто входит в состав имен и титулов; титулы такого рода у тюрков приведены в китайском историческом сочинении начала IX в. *Тун дянь*[7]. Палеографическая датировка надписи довольно широка и возможна в пределах второй половины VIII — начала IX в. Однако одна из тамг, входящих в состав надписи, типологически аналогична одной из трех каганских тамг уйгурской династии, зарегистрированной на памятнике Баян-чору (Элетмиш-кагану, 747—759 гг.) в Могон Шинеусу[8]. Тамга, расположенная ниже надписи, входит в круг знаков енисейских кыргызов[9]; однако ее связь с надписью недоказуема. Таким образом, наиболее вероятная датировка надпи-

---

[6] См., например: С. Г. Кляшторный. Руническая эпиграфика Южной Сибири (Наскальные надписи Тепсея и Турана).— СТ. 1976, № 1, с. 66—70.

[7] Liu Mau-tsai. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken. 2. Buch. Wiesbaden, 1950, с. 498—499.

[8] G. J. Ramstedt. Zwei uiguirische Runeninschriften in der Nord-Mongolei.— JSFOu. T. 30. P. 3. 1913 (таблица).

[9] Л. Р. Кызласов. О датировке памятников енисейской письменности.— СА. 1965, № 3, с. 40, рис. 1.

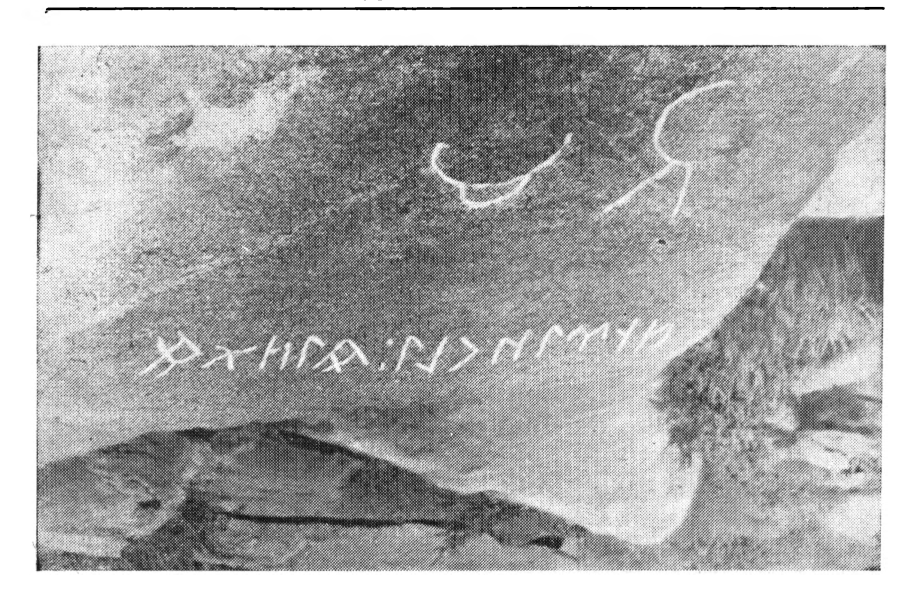


Фото 2. Надпись из Гурвалжин-ула

си возможна в пределах второй половины VIII в., она может быть отнесена к лицу из рода уйгурских каганов (рода Яглакар).

2. *Надпись из Гурвалжин-ула*

В полевой сезон 1975 г. я обследовал горный массив Гурвалжин-ула, по восточному берегу р. Тарана-гол (в пределах Булганского аймака) южнее Гурван-Булака. Среди камнепада у южных склонов горы, на огромном валуне, была обнаружена выбитая руническая надпись в одну строку (70 см) и две тамги над ней. Ближайшими археологическими объектами являются большие курганы скифского времени с квадратными и круглыми оградками.

Надпись из 15 знаков, высотой в 8 см. выбита очень четко и ровно. Очертания знаков правильны, орфография безукоризненна (по полноте гласных), палеографически датируется VIII веком.

Текст надписи: *täŋri quly bitidim*

Перевод: «Я, раб божий, написал».

Выражение «раб божий» совершенно несвойственно древнетюркской религии, но возможно в силу влияния на тюркское общество великих религий, проявившегося уже весьма рано[10].

[10] Ср., например: С. Г. Кляшторный. Монеты с рунической надписью из Монголии.— Тюркологический сборник. 1972. М., 1973, с. 337—338.

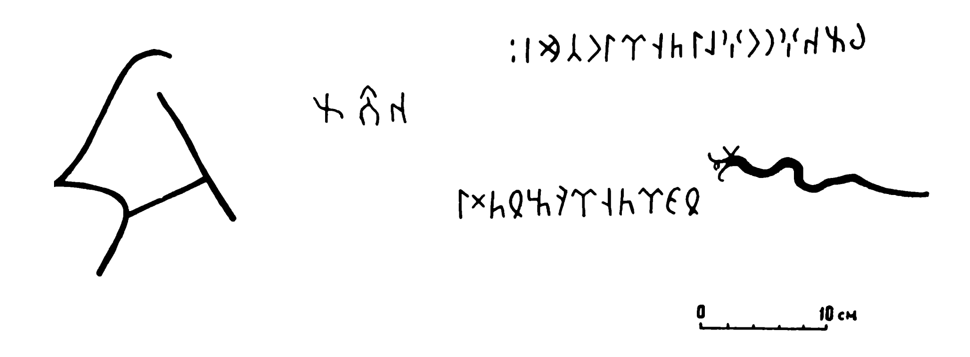


Рис. 1. Надпись на скале Хангыта-хат

3. Надпись на скале Хангыта-хат

Надпись впервые зарегистрирована в атласе Б. Ринчина [11]. Однако текст, воспроизведенный там, неточен и не может быть интерпретирован. В 1974—1975 гг. я дважды осмотрел надпись на южной стороне скалы Хангыта-хат (примерно в 27 км к юго-западу от Дашинчилен-сомона). Сохранившиеся знаки являются лишь частью почти не сохранившихся мелких надписей, слабо процарапанных по камню, иногда находящих одна на другую; высота знаков 1—2 см. Воспроизводим наиболее сохранившиеся строки (рис. 1).

Текст надписи: *baz qaγan oγly tänri učmys ... qotuz... bäg är tänrikän ... bitidi...*

Перевод: «Сын Баз-кагана [на] небо улетел (т. е. умер) ... марал ... беги и мужи, божественный ... он написал».

Замечания к тексту. О Баз-кагане, вожде токуз-огузов и враге Эльтерес-кагана в 687—691 гг., известно из надписи в честь Кюль-тегина (стк. 14, 16). Возможно, плохо сохранившиеся надписи Хангыта-хат восходят к концу VII — началу VIII в. Поминальный характер надписи сближает ее с надписью из Арханена.

4. Хэнтэйская надпись

В мае 1895 г. Д. А. Клеменц, получив сведения о «писаном камне» в бассейне р. Керулен, предпринял поездку в Хэнтэйскую горную страну для поисков надписи. Двигаясь по долине р. Сенкир-гол, Д. А. Клеменц нашел древнетюркские погре-

[11] Rintchen. Les dessigns pictographiques et les inscriptions sur les rochers et sur les steles en Mongolie. Oulan-Bator, 1968, c. 37.

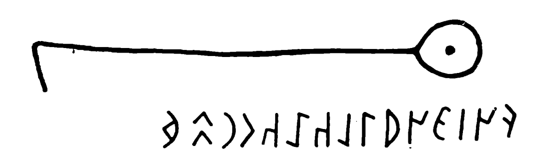


Рис. 2. Хэнтэйская надпись

бальные саркофаги и изваяния и вышел к долине небольшой речки Бургасын-булак. В долине и была обнаружена скала с надписью (Хунхейн-бичикте-чоло). «Утес состоит из целого ряда громадных гранитных плит и блоков. На восточной стороне его, в половине высоты утеса, на изрытой и выветренной плите находится чрезвычайно плохо сохранившаяся руническая надпись. На камне начерчен крюк, оканчивающийся внизу кольцом с точкой в центре. По обеим сторонам крюка находится по вертикальной строке. С каждой стороны было вычерчено по 14 букв, но по правой стороне один из знаков стерт до неузнаваемости» [12].

В 1949 г. К. В. Вяткина, не зная об открытии Д. А. Клеменца, осмотрела надпись и в 1958 г. издала свой рисунок [13]. На основании этого рисунка совершенно произвольную интерпретацию текста предложил проф. Фэн Цзя-шэн. По его переводу надпись гласила: «Сачи сам утром услышал лебедя, желающего [найти] гнездо, желают, [чтобы были] бык, конь, баран, верблюд» [14]. Следует отметить, что рисунок К. В. Вяткиной

[12] Д. А. Клеменц. Отдельная экскурсия в Восточную Монголию.— ИАН. Т. 4. 1896, № 1, с. 49—50. Копии, изготовленные Д. А. Клеменцем, не сохранились.

[13] К. В. Вяткина. Кентейская руническая надпись.— Филология и история монгольских народов. М., 1958, с. 217—218.

[14] Фэн Цзя-шэн. Руническая надпись из Восточной Монголии. (Опыт расшифровки).— СЭ. 1959, № 1, с. 3—6.

весьма неточен и это отчасти объясняет неудачные попытки интерпретации.

В 1975 г. я обследовал надпись, которая, несмотря на неполную сохранность нескольких знаков, читается достаточно уверенно (рис. 2). Длина обеих строк — 43—44 см; высота знаков — 4—5 см.

Текст надписи: *iči özünčü qyrγym küsgü jylqa qontym.*

Перевод: «Я, старший брат, Оз Инчю Кыргы [из рода с такой тамгой] имел [здесь] стоянку в год мыши».

Замечания: текст является стандартным образцом посетительской надписи.

Слово *öz* 'сам', 'самый', 'настоящий' обычно в древнетюркской антропонимике; *ünčü*~*ünžü* 'жемчуг' ср. *jenčü*); *qyrqy*~*qyrqu* 'румяный', 'рыжий (?)'; *küsgü*~*küskü* 'мышь', а также название циклического года.

Датировка по палеографии возможна в весьма широких границах, предпочтительно вторая половина VIII — начало IX в. Хэнтэйская надпись является самой восточной из всех до сих пор найденных древнетюркских надписей Монголии.

Не вызывает сомнений, что Хэнтэйская надпись, как и другие аналогичные ей посетительские надписи древних тюрков, является своего рода памятником обычного права кочевников. Согласно принятым среди тюркских и монгольских племен нормам, право на постоянное или преимущественное пользование зимниками или летовками свидетельствовалось какими-либо следами или знаками прежнего пребывания на тех же землях [15]. Очевидно, что наиболее убедительным свидетельством был своего рода камнеписный «документ», превращавшийся в часть местного ландшафта и указывавший, кто и когда пользовался здешними угодьями.

[15] Ср., например, подобные обычаи у казахов: П. П. Румянцев. Киргизский народ в прошлом и настоящем. СПб., 1910, с. 52; Г. Е. Марков. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. М., 1975, с. 176.

А. Н. Кононов

СЕМАНТИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

У древних индийцев, иранцев, американских индейцев, китайцев и многих других народов существовала сложная система цветового обозначения стран света.

У индийцев система цветовой геосимволики дополнялась названиями божеств и животных, олицетворявших отдельные страны света [1].

Китайцы и иранцы, как и индийцы, имели не менее сложную систему обозначений стран света, связанную с религиозными представлениями и символическим значением элементов природы (огонь, вода, земля, железо, лес) [2].

Для космогонических обозначений у китайцев и иранцев использовалась также цветовая символика. Синий, голубой, зеленый цвет обозначал запад; желтый — зенит, середину, императорский цвет (у китайцев); красный — юг; белый — восток; черный — север [3].

В цветовой геосимволике американских индейцев восток — черный, юг — белый, запад — желтый (красный), север — синий (зеленый) [4].

Калмыки восток видели белым (серебряным), юг — синим, запад — красным, север — желтым (золотым) [5].

В монгольских летописях встречается упоминание о «пяти цветных и четырех чужих народах», входивших в состав мон-

---

[1] Подробнее см.: J. A. D u b o i s. Hindu Manners. Customs and Geremonies. Ox., 1906, c. 633.

[2] Подробнее см.: J. N e e d h a m. Science and Civilisation in China. Vol. 2. Cambridge, 1956, c. 262.

[3] A. C a f e r o ğ l u. Les couleurs dans la nomenclature des noms ethnique turcs.— «Atti et Memorie del VII Congresso Internaz. di Scienze Onomastiche». Firenze—Roma, 1961, c. 369; S a u s s u r, c. 28—29.

[4] H. L u d a t. Farbenbezeichnungen in Völkernamen. Ein Beitrag zu asiatisch-osteuropäischen Kulturbeziehungen.— «Seculum». Bd 4. H. 2, 1953, c. 151.

[5] Там же, с. 151.

гольского государства XIII в.: «...в год огня — коня родился хубилган Чингис-хаган и покорил пять цветных и четыре чужих народа»[6]. Чужими народами назывались покоренные монголами народы неазиатского происхождения. «О так называемых пяти цветных ...народах в некоторых сутрах [говорится]: синие монголы, красные китайцы, черные тибетцы, желтые туркестанцы, белые корейцы...»[7].

Нет сомнения в том, что эти цветовые обозначения пяти «своих» народов связаны с цветовой геосимволикой, бывшей в употреблении у народов Дальнего Востока, Центральной Азии и Индии[8], но так как разные народы, как показано выше, обозначали названными пятью цветами разные страны света, то точно определить, какую страну света обозначали приведенные монгольские цветовые обозначения народов, не представляется возможным. Цветовая геосимволика была едва ли не всеобщим явлением; так, например, у французов в ходу были цветовые обозначения ветров постоянного направления: vent blanc 'белый, т. е. южный ветер', vent noir 'черный, т. е. северный ветер'[9].

В разное время и у разных народов цветовая символика могла видоизменяться.

В уйгурских письменных памятниках (Türkische Turfantexte. VI, 94—95) четыре страны света обозначались так: 1) восток — синий/зеленый; дракон, 2) запад — белый; тигр, 3) юг — красный; сорока, 4) север — черный; змея[10].

У азиатских кочевников было широко распространено цветовое обозначение стран света: красный — юг, черный — север, голубой — восток, белый — запад, желтый — зенит[11].

Цветовая геосимволика у тюрков, по-видимому, давно вышла из активного употребления и была заменена линейно-пространственной ориентацией[12]. И тем не менее, как часто бывает в подобных случаях, старое, давно и прочно забытое, сохраняется в отдельных проявлениях практической деятельности челока, но получает новое осмысление и объяснение, далеко уводящее от истинного значения слова.

---

[6] Шара Туджи. Монгольская летопись XVII в. Сводный текст, перевод, введение и примечания Н. П. Шастиной. М.—Л., 1957, с. 128.

[7] Там же, с. 178.

[8] Ср. там же, с. 179.

[9] K. Tallqvist. Himmelsgegenden und Winde. Eine semasiologische Studie.— StO. 2. 1928, c. 108.

[10] Gabain. Vom Sinn, c. 113. К сожалению, мне оказалась недоступной статья: Fahrettin Çelik. Türklerde dört yönün dört renkle alandırılması.— «Türk Amacı». İstanbul, 1942, № 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1943, № 7, 8.

[11] Pritsak. Qara, c. 10—11.

[12] См.: А. Н. Кононов. Способы и термины определения стран света у тюркских народов.— Тюркологический сборник. 1974. М., 1978.

Цветовые обозначения в наименованиях тюркских племен и народов, в названиях городов и селений, гор и рек, пустынь и оазисов, в личной ономастике и в титулатуре тюрков давно обратили на себя внимание, но до сих пор нет сводного их обозрения, которое в известной мере восполняется этой статьей.

* * *

Қара (азерб., туркм. *гара*) в тюркских языках известно преимущественно в следующих значениях[13]: 1) 'черный', 'темный', 'мрачный', 'суровый', 'печальный', 'несчастный'; 2) 'скот', 'толпа', 'народ', 'войско'; 3) 'суша', 'земля'[14]; 4) 'холм', 'сопка', 'высокий бугор'[15].

Общетюркское слово *қараңғы*~*қараңгу*~*қараңку*, алтайск. *қарангуй*, ногайск. *қаранъа*, туркм. *гараңкы*; бурятск. *харанхы*, монг. *харанхуй*[16]: 1) 'темнота', 'тьма', 'мрак'; 2) 'темный', 'лишенный света', 'черный' является отыменным производным на *-гы/-ку* от существительного *қаран* (<*қара*+*-ң/-н*) 'силуэт', 'неясные очертания виднеющегося вдали предмета'; ср.: азерб. *гара-н-лыг*, тур. *kara-n-lık* с теми же значениями[17].

Как видно из сказанного выше, семантический объем слов *қара* и *қарангы* (и его фонетических вариантов) значительно различается. Не исключено, что большой объем значений в слове *қара* есть результат семантической контаминации, восходящей к разным по значению словам, получившим в процессе исторического развития одинаковую форму, чему могла способствовать и известная общность семантики.

Қара часто используется как первый элемент словосочетаний, обозначающих:

1) этнонимы: *Қара тургеш, Қара қыргыз* и т. п.

2) топонимы: *Қара-Богаз-гол, Қарабурун* (мыс на Мраморном море), *Қара-қала* (Каракалпакская АССР) и т. п.

3) личную ономастику: *Қара-хан, Қара Мустафа* и т. п.

В некоторых устойчивых словосочетаниях *қара* имеет ряд дополнительных значений:

---

[13] Подробнее о значениях и фонетических вариантах этого слова см.: Будагов, II, 42—44; Р Сл. II, 132—142; Пекарский, 3329—3332; ДТС, 422—424; Cirtautas, § 1—15; Doerfer, III, 426—432; Clauson, 643—644; Қakuk, 218—222; Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. 1. Л., 1975, с. 379—380.

[14] По Дёрферу (Doerfer, III, 426): «osm. *qara* 'Festland' ist Lehnwort aus ar(abisch) *qarra* id», с чем нельзя согласиться, так как *қара* в указанном значении известно всем тюркским языкам.

[15] Койчубаев, 119; В. А. Казакевич. Современная монгольская топонимика. Л., 1934, с. 19; Мурзаевы, 100—101.

[16] «Ramstedt hält ja sogar die Verbindung des Grundwortes *qara* 'schwarz' im Tü. und Mo. für zweifelhaft» (Doerfer, III, 437).

[17] Подробнее см.: Cirtautas, § 4.

1. 'Большой', 'крупный', 'обильный': кирг., уйг., ккалп., ногайск. *қара мал*, туркм. *гара мал,* узб. *қора мал* 'крупный рогатый скот'[18]; *kapa jол* 'большая почтовая дорога' (Р Сл. II, 134); общетюрк. *қара қуш* 'орел' (<'большая птица')[19]; тур. *kara ev = büyük çadır* (TS, IV, 2259); *kara evren=büyük yılan*; *ejderha*[20]; *kara sıgır* 'буйвол' (<'большая корова'); тат., башк., уйг. *қара орман~урман* 'дремучий лес'; *қара қурт* 'ядовитый паук' (<'большой червяк'); на юге Турции медведя эвфемистически называют *kara oğlan*, т. е. 'парнище', 'большой парень'; *qara tärim* (Тоньюкук, 52) 'мой обильный пот'; ср.: кирг., каз. *qara tär* 'сильный пот'[21]; уйг. *қара тэр* 'обильный пот'.

2. 'Главный', 'великий', 'могучий', 'сильный'[22]. Л. З. Будагов среди прочих значений этого слова указывает: «3) Мет[афорически]: 'грозный', 'страшный' (при собственных именах: Кара Мустафа)»[23].

В указанных значениях это слово широко использовалось и используется в личной ономастике у тюрков: Кара-хан, герой эпоса, отец Огуз-хана; Кара-хан, основатель династии Караханидов[24]; Кара Караев, современный азербайджанский композитор. В составе исторических личных имен это слово использовалось в качестве титула: Ахмад Кара-хакан, Омар Кара-хан и др.[25].

Махмуд Кашгарский, объясняя одно из значений этого слова, писал: «Hakaniye hanlarına kara denir. Bogra Kara Hakan gibi»[26]. «Хаканских ханов называют *қара* (по-видимому, в значении „главный, великий"), например Богра Кара-хакан»[27].

Эпитет *қара* в тюркском эпосе «Китаб-и Дедем Коркут» прилагался к коню и оружию героя: *kara aygır* 'могучий жере-

---

[18] «У казахов, по Радлову и Диваеву, так *(кара мал)* назывались: верблюды, коровы, овцы и козы в противоположность коням — *ак мал*» (Материалы по истории каракалпаков. М.—Л., 1935, с. 109); см. еще: Cirtautas, § 4; ср. Doerfer, III, 428.

[19] Другие значения: глухарь, беркут.

[20] O. Ş. Gökyay. Dedem Korkudun kitabı. İstanbul, 1973, с. 236.

[21] Малов. ПДТП, 429.

[22] Cirtautas, § 12.

[23] Будагов, II, 53.

[24] См.: В. В. Григорьев. Караханиды в Мавераннагре по Тарихи Мунедджим-баши.— ТВОРАО. Т. 17. 1874, с. 194.

[25] Подробнее см.: Pritsak. Qara, с. 2—3; Pritsak. Orientierung, с. 377; O. Pritsak. Die Karahaniden.— «Der Islam». Bd 31. № 1, с. 8; ДТС, 424.

[26] B. Atalay. Divanü Lûgat-it-Türk tercümesi. 3. Ankara, 1941, с. 221.

[27] «Nach J. H. Kramers (EI, II, 777) soll tü. *qara* auch 'kräftig' bedeuten, und eben diese Bedeutung habe das Wort in der Bezeichnung *qara xan.* Diese These scheint keine Stütze in den tü. Wörterbüchern zu finden» (Doerfer, III, 430). Однако приведенные выше значения не оставляют места для сомнений в наличии у этого слова значений «сильный», «могучий».

бец'; *kara polat öz kılıcım saklar idüm*[28] 'Я берег свой крепкий булатный меч'; известный специалист по тюркскому эпосу Орхан Шаик Гёк'яй словосочетание *kara polat* объясняет так: kara çelik iyi çelik, kırılmaz çelik[29], ср. ойротск.: *қара болот* 'крепкая сталь'.

По мнению А. Джафероглу, эпитет *қара* при именах героев эпоса «Китаб-и Дедем Коркут» — синоним храбрости и силы (cesaret ve güçlülük damgası)[30].

В свете сказанного исключительный интерес представляет название моря, известного грекам как Пóнтос Евксинос ('Гостеприимное море'), арабам Бунтус (<Пóнтос), в древнерусском 'Понътъ', 'Понътьское море', 'Русское море', 'Сурожское море'. Греческое название восходит к более древнему: Пóнтос Аксинос, в основе которого лежит древнеиранское **axšaena* 'темный', в Авесте — *axšaēna*[31]. По-видимому, древнее Пóнтос Аксинос 'Негостеприимное море' — 'Темное' (Черное) море в калькированном переводе стало называться у тюрков *Қара деңиз,* у арабов — *Бахр ал-асвад*, у французов — *Mer Noire*, у немцев — *Schwarzes Meer*, у итальянцев — *Mare Nero*, у русских — *Черное море* и т. п.

В западноевропейских источниках XIII в. Черное море называлось «Великое море»: лат. *Mar Mazor, Mare Majus*, итал. *Mare Maggiore*, франц. *Mer Majeure*; в «Хожении» Игнатия Смолнянина (1389—1405) Черное море также называется Великим морем[32].

Е. Ч. Скржинская высказала предположение, «что появление названия „Черное море" — именно по-гречески — можно объяснить фонетической близостью в звучании слов mare mains (maris maioris etc), „Mare Maggiore" — „Великое море" с греческим маврос, маври — черный, черная»[33]. По-видимому, все-таки авторское право на название «Черное (Темное) море» принадлежит древним иранцам; западноевропейские мореходы

---

[28] M. Ergin. Dede Korkut kitabı. 1. Ankara, 1958, с. 158.

[29] O. Ş. Gökyay. Dedem, с. 237.

[30] A. Caferoğlu. Dedem Korkut hikâyelerinin antroponim yapısı.— TDAY. 1959, с. 72. Турецкий лингвист Т. N. Gencan отметил: «...tarihimizde „kara" sıfatiyle anılan bir hayli ünlüler var. Esmer oldukları halde „esmer" değil, kara denmesi dikkate değer. Hepsinde de sertlik, kuvvetlilik, yiğitlilik anlamı sezilir» (цит. по: Cirtautas, с. 34).

[31] Фасмер, IV, 345; А. А. Фрейман. Название Черного моря в домусульманской Персии.— ЗКВ. Т. 5. 1930, с. 647—651; В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор. 1. М.—Л., 1949, с. 158—159 (указанием на две последние работы я обязан любезности И. М. Оранского).

[32] Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей XV в. Вступительные статьи, подготовка текста, перевод и комментарий Е. Ч. Скржинской. Л., 1971, с. 164; Encyclopédie de l'Islām. T. 2 (1927), с. 777.

[33] Барбаро и Контарини о России, с. 164.

его называли «Великим морем». В свете сказанного возникает вопрос: как толковать тюркское *Кара деңиз*: Черное море или Великое море? У В. В. Бартольда не было сомнений в том, что «*Кара* должно здесь, собственно, означать не 'черное', а 'большое, могучее, страшное'»[34].

Известный швейцарский специалист по восточной географии Леопольд де Соссюр (1866—1925) отмечал, что арабский географ ал-Димашки (ум. 1326) это море называл Bâhr el aswad и пояснял: «...tant en arabe (aswad), qu'en turc (kara), le même mot possède la double signification de „plus grand" et de „noire". Les expression Bâhr el aswad et Kara deñiz ne seraient ainsi que l'equivalent du terme Mer Majeure»[35].

По другому — маловероятному — предположению, если принять за исходную позицию Анатолию, то Черное море окажется на севере[36], а следовательно, оно могло первоначально значить «Северное море» [*қара* 'север(ный)', см. ниже][37]. Красное море при такой позиции окажется на юге (*қызыл* 'юг', 'южный'), а лежащее на западе Средиземное море по-турецки, по-арабски, по-болгарски, по-гречески называется 'Белым морем'; тур. *Ak deniz*; *ak* 'белый'; 'запад(ный)', см. ниже. Характерно, что Аральское море, лежащее к северу от Мавераннахра, среди других своих названий имело и название *Кара деңиз* (Хасанов, с. 9).

3. Сильный (о ветре, морозе и т. п.): тур. *kara kış*; азерб. *гарагыш* 'самое холодное время зимы'; ногайск. *қара сувық* 'сильный мороз'; каз., ккалп. *қара жел* 'пронизывающий ветер'; азерб. *гара йел(ел)* 'сухой, горячий ветер'; *qara jel* 'сильный ветер' (ДТС, 423); *karañı cel* '*Kuzey batıdan esen, sert rüzgâr*'[38]; тат. *кара явым* 'осенние дожди (холодные, продолжительные)'; уйг. *қара боран* 'вихрь', 'ураган', 'смерч'; уйг. *қара соғақ* 'жгучий мороз'; тат. *кара кымыз* 'опьяняющий (т. е. сильный) кумыс особого приготовления'. Ср. монг. *хар,* бурятск. *хара*: *хар хөлс* 'обильный пот'; *хар шуурга* 'сильная метель'; *хара хүйтэн* 'сильный холод'; *хара бороо* 'сильный дождь'; *хара*

---

[34] В. В. Бартольд. Ислам на Черном море.— Сочинения. Т. 6. М., 1966, с. 665; см. еще: Encyclopédie de l'Islām. T. 2, c. 774—775; İslâm Ansiklopedisi. 5. cild. İstanbul, 1950, c. 238—240; Encyclopédie de l'Islam. Nouvelle édition. T. 4. Livr. 69—70. Leiden — Paris, 1975, c. 598—600. Здесь разобраны все существующие точки зрения на происхождение названия *Kara deñiz* 'Черное море'.

[35] Saussur, c. 31.

[36] Gabain. Vom Sinn, c. 115; турецкий перевод, с. 110.

[37] «A mon avis le nom de Mer Noire, que les Turcs osmanlis ont trouvé usité en Anatolie, a évoqué dans leur esprit le sens de mer Boreale et ils l'ont complété en attribuant postérieurement le nom de mer Blanche à celle qui les limitait à l'ouest» (Saussur, c. 32).

[38] Derleme Sözlüğü, VIII, 2651.

һалхин 'сильный ветер'; *хара тужа* 'дремучий лес'; *хар архи* 'китайская (крепкая) водка'; *хара тамхин* 'листовой (крепкий) табак'; *Хар мөрөн* 'река Амур'[39] (<'Большая, обильная водой река').

4. Чистый (без примеси): кирг. *кара шамал* 'ветер без осадков', *кара суук* 'сухой мороз', *кара токоч* 'сухой хлеб'; ккалп. *қара сууық* 'сухой мороз'; узб. *қора совуқ* 'сухой мороз', 'сильный мороз'; тур. *kara et* 'постное мясо'[40]. Ср.: монг., бурятск. *хар шол* 'простой мясной суп', *хара мяхан* 'постное мясо', *хара шүлэн* 'постный (или нежирный) суп', *хара уһан* 'чистая вода', 'одна только вода'.

5. Суша, земля, материк[41]: тур. *kara suları* 'территориальные воды', *kara kuvvetleri* 'сухопутные силы', *kara nakliyatı* 'сухопутные перевозки', *kara gümrüğü* 'пошлина с товаров, прибывающих сухим путем', *kara vapuru* 'чугунка', 'железная дорога' (народное), *kara kurbağa* 'сухопутная черепаха', *kara yolu* 'шоссейная дорога', *kara yeli* 'ветер, дующий летом по ночам с суши на море'[42], *karaya oturmak* 'сесть на мель', *karaya çıktmak* 'высаживаться (сходить на берег', *karaya vurmak* 'выброситься на берег', *karacı* 'военнослужащий сухопутных войск'; узб. *қора* 'земля под огородами'[43].

Қара в значении 'суша', 'земля' обнаруживается в составе терминов *қара қум* — тип песков, закрепленных растительностью, а поэтому неподвижных, *қара су* — тип рек, получающих питание из земли, из родников[44].

6. Темная (северная) сторона небосклона, север. Тюрки, как и многие другие народы (см. выше), для обозначения стран света пользовались цветовой геосимволикой. Словом *қара* тюрки обозначали север, темное небо которого с яркой Полярной звездой (*Темир қазық*) служило основой для ориентации на местности и для обозначения всего главного, великого, большого[45], а потому это слово служило титулом: *Қара хақан* — т. е. великий хакан (см. выше) и обозначением главной ставки хана: *Қара орду, Қара қум* — «северная стоянка» (*qara qum* — bei der Ost-T'u-küe —

---

[39] К. М. Черемисов. Бурят-монгольско-русский словарь. М., 1951, с. 549—550; Монгольско-русский словарь. М., 1957, с. 512—513.

[40] См. еще: Cirtautas, § 11.

[41] Будагов, II, 53; Р Сл. II, 142.

[42] Türkçe Sözlük. Ankara, 1974, с. 451.

[43] Узбекско-русский словарь. М., 1959, с. 622.

[44] Подробнее см.: А. Н. Кононов. О семантике слов «қара» и «ақ» в тюркской географической терминологии.— ИАН ТаджССР. Отделение общественных наук. Вып. 5. 1954, с. 83—85; В. Л. Вяткин. Материалы к исторической географии Самаркандского вилаета.— Справочная книжка Самаркандской области. Вып. 7. 1902, с. 29; Мурзаевы, 101—102.

[45] Будагов, II, 53.

«Nördliche Residenz»)[46]. Изложенная выше концепция О. Прицака вызвала решительное возражение Г. Дёрфера, который утверждал, что основным ориентиром на местности у тюрков был не север, а восток (как у индогерманцев), равно как у монголов (и китайцев) таковым был юг[47].

В разное время разные тюркские народы пользовались четырьмя способами ориентации на местности: 1) лицом к восходящему солнцу, т. е. на восток (культ восходящего солнца); 2) лицом к полуденной стороне, т. е. на юг (культ полуденного солнца); 3) лицом к полуночной стороне, т. е. на север; 4) лицом кверху по вертикали (восток) и книзу (юг)[48].

Во многих языках, особенно, как показали наблюдения К. Таллквиста, в финно-угорских и тюркских, север в своих наименованиях связан с темной стороной неба, с теневой стороной и ночью[49]; ср. еще маньчж. *сагили, сахалыйан* 'черный', 'север' (И. И. Захаров. Полный маньчжурско-русский словарь. СПб., 1875).

Ориентацию на полуночную сторону небосклона, т. е. на север, В. В. Бартольд обнаружил у киргизов[50]. Ряд убедительных данных, свидетельствующих о том, что тюрки пользовались (среди прочих приемов) ориентацией на север, привел О. Прицак[51].

Концепция О. Прицака — *қара*=север(ный) — получила подтверждение и развитие в статье А. ф. Габен «О символическом значении цветовых обозначений», в которой она, в частности, развивает идею О. Прицака: название пустыни *Қара қум*, т. е. 'Черная>Северная пустыня', связано якобы с тем, что она лежит на севере Хорасана[52].

При оценке выдвинутого О. Прицаком и поддержанного А. Габен положения — *қара қум* 'северная песчаная пустыня' — следует иметь в виду, что словосочетание *қара қум* используется в двух значениях: а) как термин, которым обозначается тип песков, закрепленных растительностью, а потому неподвижных в отличие от барханных, подвижных песков — *ақ қум*[53] («Понятия *қара қум* в смысле пустыни, территории

[46] Pritsak. Orientierung, с. 377. *Қара қум* имеет два значения: топоним и тип песков (см. ниже).
[47] Doerfer, III, 430.
[48] А. Н. Кононов. Способы и термины определения стран света у тюркских народов.
[49] К. Tallqvist. Himmelsgegenden und Winde, с. 141.
[50] В. В. Бартольд. Киргизы. Исторический очерк.— Сочинения. Т. 2. Ч. 1. М., 1963, с. 533.
[51] Pritsak. Qara, с. 18—19.
[52] Gabain. Vom Sinn, с. 114; турецкий перевод, с. 110.
[53] Подробнее см.: А. Н. Кононов. О семантике слов «қара» и «ақ» в тюркской географической терминологии. В Восточной Пруссии заросшие

между Копет-дагом и Хорезмом, у туркмен, жителей песков, не было и прививается только теперь»[54]); б) как топоним, известный еще тюркским руническим памятникам. К. Цегледи, занимавшийся локализацией трех древнетюркских географических названий (в том числе и *қара қум),* на основании различных источников, среди которых наиболее старыми являются китайские, пришел к заключению, что *қара қум* — название песчаной пустыни, расположенной на северной границе Китая, на северном склоне Инсана, находящегося к северу от большой излучины р. Хуанхэ, к югу от пустыни Гоби[55].

Может быть, и *Каракорум*, монгольский город на р. Орхоне, значит 'Северный лагерь', так как хребет Каракорум лежит на севере провинции Джамму[56].

В Турции *kara yel* 'холодный северо-западный ветер'[57], в Боснии — 'западный ветер'[58]; в словаре Будагова (II, 44) это же словосочетание переведено как 'северный ветер'; у казахов *кара* 'запад'[59]; в азербайджанских диалектах *гара јел* 'восточный ветер'[60].

Для изучения тюркской орографической номинации и терминологии необходимо обследовать направления многочисленных гор и горных хребтов, носящих название *қара* (*ғара*) *дағ/тағ/тоғ/тау/тоо*; ср. узб. *қора тоғ* 'черные горы', 'низкие горы', 'горы без растительности'[61]; термином *қора тоғ* узбеки обозначают также 'горы, не освещаемые солнцем'[62], т. е. северные склоны гор; ср. кирг. (южное): *кара* 'не покрытое снегом место в горах'.

Для исторической географии и тюркско-славянских культурных связей исключительное значение имеют цветовые обозначения территории в южной части СССР.

«Крайне интересно,— пишет Б. А. Рыбаков,— наличие у Идриси трех обозначений для частей Кумании: Белая, Черная и Внешняя. Деление племен на черных и белых обычно у тюрк-

кустарником (остановившиеся) дюны, в отличие от движущихся дюн, именуются «черными дюнами» — Schwarze Dünen (Я. С. Эдельштейн. Основы геоморфологии. Изд. 2. Л., 1947, с. 337).

[54] Э. М. Мурзаев. К географической терминологии туркмен.— «Изв. ВГО». 1939, № 6, с. 883.

[55] K. Czeglédy. Čoγay-quzï, Qara-qum, Kök-Öng.— AOH. T. 15. № 1—3. 1962, с. 55—69.

[56] Ср. еще: «La quinziém anné de T'ai-Tsou (1220) on établit les commanderies au nord du Fleuve, et on fixa la capitale en cet endroit-ci (Karakorum)» (P. Pelliot. Notes sur Karakorum.— JA. 1925. April — Juin, c. 374).

[57] Türkçe Sözlük. Ankara, 1974, с. 455.

[58] Р Сл. II, 137.

[59] Койчубаев, с. 8.

[60] Сообщение аспиранта Т. Караева.

[61] Х. Хасанов. Русско-узбекский и узбекско-русский терминологический словарь по географии. Таш., 1964, с. 110.

[62] Ҳ. Ҳасанов, с. 28.

ских народов. Черная Кумания у Идриси указана по соседству с Тмутараканью, а Белая Кумания ...отстоит от Канева на 150 миль (около 300 км) к юго-западу»[63]. На карте (с. 40) Белая Кумания показана западнее Черной Кумании.

Приведем еще одно важное свидетельство русских источников, подтверждающих, что словом «черный» обозначался север, словом «белый» — запад: «...Половецкая земля (Дешт-и кипчак[64]) делилась в середине XII в. на Белую и Черную Куманию. Белая, или Западная, Кумания включила в себя приднестровские и приднепровские орды. Центром Черной Кумании был Северный Донец»[65]. Из сказанного следует, что Черная Кумания лежала на севере или северо-востоке, а Белая Кумания — на западе или юго-западе Половецкого поля.

Кубанские (или приазовские) болгары назывались черными болгарами, а их страна — Черной Болгарией[66], что, конечно, было связано с ее географическим положением и являлось переводом слова *қара* в его наиболее широком известном значении.

Слово *қара* [равно как и слова *ақ, кӧк/гӧк, сары(ғ)*] широко используется в этнонимах как детерминатив при родовых названиях, обозначавший, по-видимому, чаще исторически исходное географическое положение их носителей по отношению к их главному роду, носящему то же название; так, например, по разысканиям П. Пельо[67], *қара китаями* назывались *кидане,* эмигрировавшие на север Китая за век до похода Чингисхана на восток; следовательно, можно предположить с известной долей вероятности, что *қара китаи* — северные китаи ~ кидане.

По сведениям китайских источников, «государство черных татар (т. е. северного шаньюя[68]) называется Великой Монголией»[69].

---

[63] Б. А. Рыбаков. Русские земли по карте Идриси 1154 г.— КСИИМК. Вып. 43. 1952, с. 42—43.

[64] В русском языке имеется звук [ы], близкий к тюркскому [ы], а потому, в соответствии с тюркской фонетикой, следует писать «кыпчак», а не «кипчак».

[65] С. А. Плетнева. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях.— МИА. № 62, 1958, с. 194.

[66] М. И. Артамонов. История хазар. Л., 1962, с. 172, 373, 386, 387; В. В. Латышев, Н. В. Маллицкий. Известия византийских писателей о Северном Причерноморье.— ИГАИМК. 91. 1934, с. 11.

[67] P. Pelliot. Notes sur le Turkistan de M. W. Barthold.— «T'oung Pao». Vol. 27. 1930, с. 48.

[68] «Северный шаньюй — племенной вождь северных гуннов (сюнну) после разделения гуннов на северных и южных. Северные гунны занимали территорию расселения современных монголов» [«Краткие сведения о черных татарах Пэн Ди-я и Сюй Тини» (Публикация Линь Кюн-и и Н. Ц. Мункуева).— «Проблемы востоковедения». 1960. № 5, с. 145].

[69] Там же, с. 136.

«Кара-киргизы,— отметил в свое время П. М. Мелиоранский,— живут по северному склону Тянь-Шаня»[70], а Н. А. Аристов писал, что кара-киргизы занимают Западный Тянь-Шань[71], что не противоречит сказанному о них П. М. Мелиоранским, так как в современном казахском языке *кара* 'запад'. Старшее поколение южных киргизов до сих пор северных киргизов называет *кара кыргыз*[72].

7. Скот, толпа, войско[73]; простолюдин, простой народ, чернь[74]; раб, множество, масса[75]. В тюркских рунических памятниках слово *qara* выступает как парный компонент в составе словосочетания *qara bodun* (народ+народ) 'народ', 'народные массы', 'простой люд'[76]; в том же значении используется это парное сочетание и с перестановкой его компонентов: *bodun qara*[77] [ср.: *el bodun* (племя+народ) 'народ'[78]], что подтверждает его синонимичное с *bodun* значение.

Слово *qara* в значении 'скот' обнаруживается в парном (синонимичном) сочетании *jïlqï qara* 'скот'[79]; каз. *ipi кара мал* 'крупный рогатый скот'.

Қара (равно как бурятск. *хара*, монг. *хар*) служит для обозначения собирательности, множественности, неопределенного обобщения: *qara qamaγ* 'весь', 'в совокупности', 'целый'[80]; тур. *kara kamıgı* 'halk'[81]; тат. *кеше кара* 'кто-нибудь', 'кто-либо', 'люди'[82]; якутск. *кісі-хара буол-* 'быть человеком', 'выходить в люди'[83]: *кеше*~*кісі*~*кіші* 'человек'.

---

[70] П. М. Мелиоранский. Краткая грамматика казак-киргизского языка. Ч. 1. Фонетика и этимология. СПб., 1894, с. 3, прим. 1.

[71] Н. А. Аристов. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности.— ЖС. Год 6. Вып. 3—4. 1896, с. 394.

[72] Юдахин, 494.

[73] Будагов, II, 44. Р Сл. II, 141.

[74] Р Сл. II, 140. См. также: H. Vámbéry. Das Türkenvolk in seinen ethnologischen und ethnographischen Beziehungen. Lpz., 1885, с. 385; Xavier de Planhol. Noirs et blancs: sur un contraste social en Asie Centrale.— JA. T. 255. № 1. 1967, с. 107—116.

[75] Юдахин, 346; ДТС, 423; И. В. Кормушин. Лексико-семантическое развитие корня *-qa* в алтайских языках.— Тюркская лексикология и лексикография. М., 1971, с. 16—17.

[76] Малов. ПДТП, 411; ДТС, 423.

[77] ДТС, 108.

[78] ДТС, 169.

[79] ДТС, 267.

[80] ДТС, 424.

[81] Derleme Sözlüğü, VIII, 2645.

[82] Татарско-русский словарь. М., 1966, с. 250; см. еще: Р Сл. II, 141; Clauson, 644; Pavet de Courteille. Dictionnaire Turk-Oriental. P., 1870, с. 396.

[83] Пекарский, 3329.

Қара — как усилитель качества, свойства[84]: *адым ölгäш кара чадам калдым* 'по смерти моего коня я оказался совершенно (*кара*) пешим'[85]; тат. (диалект.): *кара җәйәу* 'совершенно голый', 'безо всего', 'ни с чем'.

Ақ (туркм. *а:к*; азерб. *ағ*) в тюркских языках известно преимущественно в следующих значениях: 1) 'белый'; 2) 'чистый', 'незапятнанный', 'невинный', 'честный', 'правильный', 'прекрасный', 'роскошный', 'великолепный'; 3) 'сивый' (масть лошади); 4) 'белизна'; 'белок (глаза, яйца)'; 5) 'бельмо', 6) 'молочные продукты'[86].

Слово *ақ*, равно как и *қара, кöк, сары(ғ)*, употребляется как компонент:

1) в личной ономастике: *Ақ Буга, Ақ Мухаммад, Ақ Таш, Ақ Арыг* и др.

2) в этнонимах: *ақ қойунлу, ақ ногай, ақ найман, ақ қалмақ* и др.;

3) в географических названиях (гидронимы и оронимы): *Ақ Дениз* 'Средиземное море'; *Ақ Дарья* (приток Зеравшана); *Агиҙел* (р. Белая, Башкирия); *Ақ Керман*; *Ақ Курган*; *Ақ тау* (Целинный край); подробнее см.: Р Сл. I, 88—95.

4) в социальной терминологии: *ақ* 'благородный', „белая кость" — антоним *кара* 'чернь', 'простой народ', 'простолюдин' (см. выше);

5) в названиях птиц, животных, рыб, растений, пищи, продуктов, утвари (Р Сл. I, 90—92).

Слово *ақ* в значении 'проточный', 'быстротекущий' (ср. глагол *ақ-* 'течь', 'протекать') вошло в состав словосочетаний, обозначающих географическую номенклатуру: *ақ қум* 'барханные пески', *ақ су* 'реки, питающиеся водой от таяния горных снегов'[87]. «Обычно при разделении реки,— писал В. В. Бартольд,— часть ее, текущая в первоначальном русле, называется Аксу или Ак-Дарья, а искусственный канал — Карасу или Қара-Дарья»[88]. Ср.: *ақсай* — название малых речек (*сай<чай* 'малая река'); *Ақдала* 1) название многих степей в Қазахстане; 2) барханно-грядовой песчаный массив вдоль восточного побережья р. Или. По мнению Е. Қойчубаева, в данном случае *ақ* имеет значение 'кормовая трава', *дала* 'степь' и, таким обра-

---

[84] Cirtautas, § 13.

[85] Н. Ф. Катанов. Опыт исследования урянхайского языка. Казань, 1903, с. 808.

[86] Подробнее о значениях и фонетических вариантах см.: Будагов, I, 66—67; Р Сл. I, 88—96; Севортян, 111—117; ДТС, 48; Наджип, 40; Юдахин, 37; Cirtautas, § 17—27; Doerfer, II, 84—85.

[87] А. Н. Кононов. О семантике слов «қара» и «ақ» в тюркской географической терминологии, с. 83—85.

[88] В. В. Бартольд. Аксу.— Сочинения. Т. 3, с. 316; то же: İslâm Ansiklopedisi. 4. Cüz. İstanbul, 1941, с. 274.

зом, это словосочетание обозначает «степь с кормовыми травами»[89]. Однако ни в одном из известных тюркских словарей мне не удалось найти слово *ақ* со значением 'кормовая трава', 'корм'. Так как *Ақдала* обозначает 'барханно-грядовой песчаный массив', то, вероятно, и в данном словосочетании *ақ* имеет значение 'проточный', 'текущий', 'барханный', т. е. 'степь с движущимися песками'.

Слово *ақ* использовалось в тюркских языках для обозначения запада, западной страны света. Средиземное море у турок обозначается *Ak deñiz* — Западное море[90]; ср. одно из тюркских названий Каспийского моря — *Ақ деңиз* 'Белое ~ Западное море'[91]; по-видимому, по этой же причине русские цари (первоначально у монголов и тюрков) назывались «белыми царями», т. е. «западными царями»[92].

Возможно, что и название Белая Русь — западные земли Руси, «не зависевшие в XIII—XIV вв. ни от татаро-монголов, ни от литовских феодалов»[93], связано с тюркским *ақ* 'белый — запад(ный)'[94].

Однако широкое использование у многих народов слов «черный», «белый» позволяет предположить, что здесь мы имеем

---

[89] Койчубаев, с. 22, 24.

[90] «Mais, quelle que soit l'origine premiére — antérieure à l'installation des Osmanlis en Anatolie — du terme „Mer Noire", sa combinaison ultérieure avec le terme purement turc „Mer Blanche", est évidemment d'ordre cosmologique, à moins d'une double coïncidence beaucoup moins vraisemblable que l'explication naturelle Mer Blanche (Ak deñiz)-mer de l'ouest de même que Ak Padishah (le Padichah Blanc) est l'empereur de l'ouest» (Saussur, с. 31—32). О различных наименованиях Средиземного моря *(Ak deniz)* см.: İslâm Ansiklopedisi. 3. Cüz. İstanbul, 1941, с. 233.

[91] Ҳасанов, с. 6.

[92] «L'homologie est évidante entre ce nom de tsar blanc, donné par les Mongols à l'empereur de l'ouest et celui de mer Blanche donné par les Turcs à la mer de l'ouest» (Saussur, с. 34).

[93] Советская историческая энциклопедия. Т. 2, стб. 212. «Кроме названия „Белая Русь" издавна было известно еще и название „Черная Русь". Так называлась область, занимавшая юго-западную часть Полоцкого княжества в бассейне верховья рр. Нарева, Немана и его притока р. Шары и впоследствии вошедшая в состав белорусских земель. Происхождение терминов Белая Русь и Черная Русь до сих пор не ясно... у поляков в XVI в. Белоруссия называлась Черною Русью, а Великороссия — Белою» (Н. С. Державин. Происхождение русского народа. М., 1944, с. 119—120; о попытках объяснить название «Белая Русь» см. с. 120—121). По мнению проф. А. Соловьева (см. его статью: Великая, Малая и Белая Русь.— «Вопросы истории». 1947. № 7, с. 23), Белая Русь — термин восточного происхождения, обозначавший: «вольную, великую или светлую державу, тогда как противоположный ей термин „черная", которым в это время иногда называли Литовскую Русь, значит подчиненная, меньшая страна». И далее: «В XV в. название Великая Русь значило то же, что и Белая» (с. 34); см. еще: Фасмер, I, 149.

[94] См.: О. Н. Трубачев. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян.— ВЯ. 1974. № 6, с. 51, прим. 4.

дело с своеобразным проявлением семантической универсалии.

В турецких диалектах Анатолии широко распространены словосочетания, в которых первый компонент — *ak, ağ* 'белый', *akca, akçe, akce* 'беленький', второй — слово, имеющее значение 'ветер': *ak yel, ağ yel, akca yel, akce yel, akça yel, akça orüzger, akça rüzgâr*; в зависимости от местности их употребления такие словосочетания обозначают южный, западный, восточный, северо-западный или северный ветер [95]; ср. еще: *Akça kanat* 'ветер, дующий с юга и нередко приносящий снег' (вилайет Мараш). В киргизском языке синонимом *ақ* 'белый' выступает *куба* 'белый', 'бледный', 'пепельного цвета': *куба шамал* 'сухой ветер' (Юдахин, 435). Со словом *куба>кубан~куман* связаны этноним *куман(ы)* и название двух рек Северного Кавказа — Кубань и Кума [96].

Кӧк~гӧк в современных тюркских языках известно преимущественно в следующих значениях:

1) 'синий', 'голубой', 'лазурный', 'светло-зеленый', 'сизый', 'небесного цвета', 'цвет молодой зелени', 'серый', 'сивый';

2) 'небо', 'молодая трава', 'зелень', 'луг' [97].

Синонимом *кӧк~гӧк* иногда выступает слово *йашыл* 'зеленый', 'голубой' [98].

Слово *кӧк* употребляется как первый компонент:

1) в личной ономастике: *Кӧк таш, Кӧк бӧри*;

2) в этнонимах: *кӧк тӳрк* и др.;

3) в географических названиях (гидронимы и оронимы): *Кӧк~Гӧк-су* (название многих рек в Средней Азии и других местах); Кокчетав (<*кӧк+че — тау* 'Синеватая~Голубоватая гора');

4) в названиях птиц, животных, растений.

В турецких диалектах Анатолии слово *gök* в словосочетании *gök yel* имеет следующие значения (в зависимости от местности употребления): 1) 'северо-восточный ветер'; 2) 'северо-западный' или 'западный ветер'; 3) 'южный ветер'; но при словосочетании *Gök yeli* дается значение: 'ветер всех направлений' [99]; ср.: *ak yel* (см. выше).

Известно, что цветовыми символами — *белый, синий* — обозначались два племенных объединения; Золотая Орда в некоторых источниках называлась Синей Ордой (*Кӧк Орда*), а

---

[95] Derleme Sözlüğü, I, 146, 165.

[96] А. Н. Кононов. К этимологии этнонимов кыпчак, куман, кумык. — UAJ. Bd 48. 1976, с. 159—166.

[97] Подробнее о значениях и фонетических вариантах см.: Будагов, II, 157—158; Р Сл. II, 1218, 1221; Юдахин, 417; Наджип, 652; Cirtautas, § 66—74; Doerfer, III, 640—642.

[98] ДТС, 246; Cirtautas, § 43.

[99] Derleme Sözlüğü, VI, 2139.

владения потомков хана Орды — Белой Ордой (*Ақ Орда*), хотя некоторые авторы исторических хроник улус потомков хана Орды называли Синей Ордой [100].

Из новейших исследований по этому вопросу устанавливается, что левое крыло улуса Джучи в конце XIV — начале XV в. следует называть Кöк-Ордой, а правое—Ак-Ордой [101]; при этом «Кöк-Орду действительно следует искать не на западе, а на востоке, точнее, за рекой Яиком, а Ак-Орду — вблизи Сарая» [102], т. е. на западе.

Из сказанного со значительной долей вероятности можно сделать заключение, что *кöк* обозначает 'восток', *ақ* — 'запад'.

Подтверждением того, что слово *кöк* имеет значение 'восток — восточный', служит ряд свидетельств, почерпнутых из древнетюркских письменных памятников.

Тюрки, обитавшие в «Отюкенской земле» («один из лесистых горных узлов Восточного Хангая») [103], расположенной на востоке монгольской степи, носили название *Кöк тӳрк* — 'восточные тюрки' [104]. В одном древнетюркском манихейском фрагменте упоминается *Кöкмен-даг*, гора, находящаяся как раз на месте восхода солнца, т. е. на востоке [105]. Чингисхан, следуя традиции древних тюрков, назвал свой народ *Кöке Монгол*, по-видимому, потому, что их основная ставка тоже была на востоке [106].

Константин Багрянородный писал, что на правом берегу Днестра «имеются опустевшие города: первый город называется у печенегов Белым, вследствие того, что камни его кажутся белыми» [107]. В записи Идриси «читается (здесь) начальный слог „Ак", обозначающий 'белый'. Возможно, что Идриси сохранил нам то печенежское (или половецкое) название Белгорода, которое Константин Багрянородный дал в греческом переводе» [108]. Если это так, то печенеги (или половцы) могли назвать этот

---

[100] В. В. Бартольд. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии.— Сочинения. Т. 5. М., 1968, с. 138—139.

[101] Г. А. Федоров-Давыдов. «Аноним Искандера» и термины «Ак-Орда» и «Кок-Орда».— История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968, с. 229.

[102] Т. И. Султанов. О терминах Ак-Орда, Кок-Орда и Йуз-Орда.— ИАН КазССР. Серия общественная. 1972, № 3, с. 72.

[103] С. Г. Кляшторный. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964, с. 34.

[104] O. Pritsak. Qara, c. 21—22; L. Bazin. Les calendriers turcs anciens et medievaux. Lille, 1974, c. 111.

[105] Gabain. Vom Sinn, c. 114.

[106] Gabain. Vom Sinn, c. 115. Ср. также: «...les Mongols orientaux portaient le nom de Mongols Bleus (bleu azuré ou vert clair=Est) au temps de Gengis khan» (Saussur, c. 34).

[107] Б. А. Рыбаков. Русские земли по карте Идриси 1154 г., с. 18.

[108] Там же.

город Белым только по одному признаку: расположенный на западе.

Общетюркское слово *сарығ~сарық~сарых>сарых (сар)* 'желтый', 'бледный', 'рыжий', 'русый', 'соловый (о лошади)'; 'желток (яйца)', 'желчь', 'желтуха'[109]; чув. *сарă* 'желтый'; *шура, шора, шур, шор* 'белый'[110]; монг. *шар*, бурятск. *шара* 'желтый', 'русый', 'чалый (о лошади)'.

Слово *сарығ, сарық, сарых, сары* довольно широко используется:

1) в этнонимах: *сары-қыпчақ, сары-уйгуры, сарық* (туркменское племя), *сарыхлар* (сагайская кость); *алты сары, джети сары* (кыргызские роды)[111].

Н. А. Аристов высказал предположение, что слово *сары* 'рыжий', 'русый' в составе этнонимов свидетельствует о смешении тюрков с динлинами[112]. «Кость сару (серикей у бугу), т. е. сары,— та самая кость, которая составляла главные роды у енисейских кыргызов (джеты сары, алты сары) и которая повсюду у тюркских племен может быть почитаема результатом особенно густой помеси тюрков с динлинами»[113].

2) в топонимах: Сарыагач, Сарыкамыш и др.[114].

Название известного города на Волге *Сарáтов* обычно выводится из тюркского *сары тăш* 'желтая или белая гора'[115]; эта этимология, подкупающая своей прозрачностью, по мнению К. Г. Менгеса, не может быть принята, так как этому мешают два факта: а) наличие в русском языке ударения на среднем слоге — *Сарáтов*; б) отсутствие каких-либо фонетических условий для превращения *ы* (*сары*) в *а* (*Сарá-тов*), а потому он

---

[109] Подробнее о значениях и фонетических вариантах см.: Будагов, I, 686; Р Сл. IV, 319—320, 322; ДТС, 488; Юдахин, 637; Doerfer, III, 220—221.

[110] В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964, с. 339.

[111] Н. Бравин, И. Беляев. Указатель племенных имен к статье Н. А. Аристова «Заметки об этническом составе тюркских племен и сведения об их численности».— ЗИРГО. Т. 28. Вып. 2. СПб., 1903, с. 23; К. Ш. Шаниязов. К этнической истории узбекского народа. Таш., 1974, с. 29—30.

[112] Н. А. Аристов. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности.— ЖС. Год 6. Вып. 3—4. 1896, с. 322—323, 348.

[113] Там же, с. 397. В. В. Бартольд писал, что это «мнение очень любопытно и, как нам кажется, основательно» (В. В. Бартольд. [Рец. на:] Н. А. Аристов. Заметки об этническом составе...— Сочинения. Т. 5. М., 1968, с. 268). См. еще: В. В. Бартольд. Новый труд о половцах.— Сочинения. Т. 5. М., 1968, с. 396, 398, 407—408. См. также: Л. Н. Гумилев. Динлинская проблема.— «Известия Всесоюзного Географического общества». 1959, № 1, с. 17—26.

[114] Подробнее см.: Д. Исаев. Слово «сары» в киргизских топонимах ИАН КиргССР. 1970, № 3, с. 86—91; Койчубаев, с. 190—193.

[115] Фасмер, III, 560—561.

полагает возможным для объяснения этого топонима привлечь иранское *сар* 'голова', 'начало', 'шпиц' [116].

Однако если предположить, что первый компонент топонима *Сарáтов* является чувашским словом *сарă* 'желтый', то возражение К. Г. Менгеса теряет почву.

В древности в некоторых тюркских языках, например в хазарском и, возможно, в булгарском, слово *сары(ғ)* в форме *сар* имело значение (как в современном чувашском, см. выше) 'белый', о чем свидетельствует название хазарской крепости *Саркел*<*сар*+*кел* (<среднеперсидского *гил* 'дом' [117]; ср.: чув. *кил* 'дом'). «На казарском (т. е. на хазарском) языке значит Саркел то же, что Белгород» [118]. Константин Багрянородный Саркел переводил по-гречески Aspron hospition 'белый дом', в арабских географических сочинениях эта крепость называлась *ал-Бейда* 'Белая', а в русских летописях «Белая Вежа», т. е. «Белая крепость»; «...название древней хазарской крепости на берегах Дона — Саркел (Белая Вежа, Weisses Haus) объясняется из чувашских слов *шура, шора* 'белый'... и *кил* 'дом', откуда *шир кил, шор кил* — 'белый дом'» [119].

Крепость Саркел была построена хазарами для отражения врагов, появлявшихся с запада, и была призвана укрепить пошатнувшееся положение хазар в их западных и северо-западных владениях [120].

Столицей хазарского государства был город Итиль, находившийся в низовьях Волги, которая у тюрков называлась *Итиль*~*Идиль*~*Идель*~ *Этиль*~*Эдиль*~*Атыл*, что значит 'большая река'. Одна из трех (по другим данным, из двух) частей города Итиля носила название *Сарашен*~*Саргыш*~*Сарыгшын*~*Сарыгсин*, «арабской параллелью которого могло быть ал-Бейда — Белый (город)» [121]. Нет никакого сомнения в том, что название этой части г. Итиля состоит из слова *сар* (ср.: *Сар-кел*) 'белый'+уменьшительно-ласкательный аффикс (*-шен, -гыш, -шын, -син*), т. е. оно значит 'беленький' (ср. с араб.: ал-Бейда), что позволяет локализовать этот район Итиля в его западной части.

---

[116] К. Н. Menges. Altajische Wörter im Russischen und ihre Etymologien.— «Zeitschrift für Slavische Philologie». Bd 37. H. 1. 1973, c. 13.

[117] K. Czeglédy. Šarkel an Ancient Turkish Word for 'House'.— Aspects of Altaic Civilization. Bloomington, 1963 (Indiana University Publications. Uralic and Altaic Series. Vol. 23), c. 23—31.

[118] Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова. Изд. 3. СПб., 1782, с. 45.

[119] Н. И. Ашмарин. Материалы для исследования чувашского языка. Казань, 1898, с. XXX; В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка, с. 339.

[120] М. И. Артамонов. История хазар. Л., 1962, с. 299.

[121] Там же, с. 394—395.

Сказанное подтверждает положение о том, что слова *аķ* и *сар(ы)* 'белый' в космогоническом употреблении имели значение 'запад(ный)'.

Известное из рунических памятников племенное название *türk sir bodun* О. Прицак переводит «Die Weissen — d.h. die West-Türken)»[122], т. е. Белые, или западные, тюрки. Это объяснение, по-видимому, основывается на предположении, что *sir*=*sar* 'белый' (см. выше).

Слово *сары(ғ)* в составе этнонима *сарығ югур* (<*уйгур*), равно как и его монгольский эквивалент *шира (шира югур)*[123], следует сопоставить с чувашским *шурă, шора*, так как, по вполне вероятному предположению[124], *сарыг югуры* говорили на тюркском языке, близком к чувашскому, и обитали (по крайней мере начиная с XI в.) на северо-западе Китая и, следовательно, этноним *сарығ югур* может означать «западные уйгуры».

Сарыг югуров китайские источники называют «белокурыми уйгурами» (по наиболее известному значению слова *сарығ*), что, по мнению Л. Рашоньи, по-видимому, объясняется тем, что в них течет индогерманская кровь, кровь тохаров[125]; ср. с мнением Н. А. Аристова (см. выше, с. 174).

Слово *сары* встречается также в терминах географической номенклатуры: *Сары ķум* — барханные пески неподалеку от г. Махачкалы (Дагестан); *Сары ишикотрау* — барханные пески, примыкающие с юга к оз. Балхаш; ср.: *аķ ķум*.

Исследователь казахской топонимики Е. Ķойчубаев элементу *сар, сары* в составе казахских топонимов придает значение 'широкий', 'обширный', 'просторный'[126]; в известных тюркских словарях это значение не зарегистрировано, хотя словосочетание *сары дала* у Будагова (I, 686) переведено 'необозримая степь', у Радлова — 'сухая степь' (Р Сл. IV, 319); кирг. *сары талаа* 'безлюдная степь', 'пустыня' (Юдахин, 694); ср.: *сары талаа* 1) 'пожелтевшая степь'; 2) 'осенняя степь' (Юдахин, 637).

Это слово в значении «большой» зарегистрировано в киргизском словосочетании *сары жол* 'большая вьючная или скотопрогонная дорога' (в отличие от *кара жол* 'колесная дорога')[127]; ср. еще: *миздей сары талаа* 'ровная-ровная и широкая

---

[122] O. Pritsak. Qara, с. 22.

[123] С. Е. Малов. Язык желтых уйгуров. Тексты и переводы. М., 1967, с. 3; Э. Р. Тенишев. Строй сарыг-югурского языка. М., 1976, с. 3—4.

[124] J. Hamilton. Toquz-Oγuz et On-Uyγur.— JA. Т. 250. № 1. 1962, с. 33.

[125] L. Rasonyi. Les Turcs non-islamisés en Occident.— PhTF. Т. 3, с. 11—12.

[126] Ķойчубаев, с. 190—192.

[127] Юдахин, 637.

степь'[128]; ср. кирг. *сары шамал* 'холодный ветер'[129] (может быть, западный ветер?!); каз. *сары айаз* 'трескучий мороз'[130].

Қызыл 'красный'[131] — уменьшительно-ласкательная форма отглагольного прилагательного **қыз* (<**қы*+-*з*) 'красный'+ -*ғыл*~-*қыл;* ср.: *қыз-ғылт, қыз-ғылтым*[132].

Это слово встречается:

1) в этнонимах (крайне редко!): *қызыл'ы, қызыл бурқ, қызыл қурт*[133];

2) в топонимах: *Қызылбалық* (река в Талды-Курганской обл.); *Қызылсу* — название многих рек в Казахстане и других местах.

По мнению Е. Қойчубаева, в отдельных случаях *қызыл* может быть сопоставлено с *қысыл* 'сжатый', 'узкий'[134]. *Қызылауыз* — название ущелий в Заилийском и Джунгарском Алатау — букв. «Узкие ворота»[135].

Слово *қызыл* в составе словосочетания *қызыл қум* — название ряда песчаных пустынь (наиболее обширная из них находится в среднем течении р. Сырдарьи),— по мнению Е. Қойчубаева, означает 'тонкий', 'поверхностный', 'легкий' песок в противоположность *қара қум*, т. е. песок 'слоистый, частый, густой, значительный, заметный'[136] (откуда извлечены эти значения, не указано); *қызыл öзек* — балки значительной протяженности, ложбины — Е. Қойчубаев переводит «красная ложбина, т. е. ложбина с красноцветными отложениями»[137], ср. еще: *қызылсу* букв. «красная вода»[138].

По А. ф. Габен, по-видимому в соответствии с китайской традицией, Qïzïl-qum die Wüste südlich[139], т. е. южная (расположенная на юге) пустыня.

Слово *қызыл* в тюркской географической номинации для обозначения части света («южный»), по-видимому, не использовалось: ни одного достаточно убедительного примера, подтверждающего наличие у этого слова значения 'юг', 'южный', нет.

---

[128] Юдахин, 526.
[129] Юдахин, 900.
[130] Н. И. Ильминский. Қиргизско-русский словарь. Оренбург, 1897, с. 7.
[131] О значениях и фонетических вариантах см.: Будагов, II, 55; Р Сл. II, 826—828; Пекарский, 1437—1438; Юдахин, 478; Наджип, 626; Cirtautas, § 29, 37; Doerfer, III, 469—470.
[132] Ср.: Cirtautas, § 30; Doerfer, III, 470.
[133] Аристов, с. 345, 352, 378, 385.
[134] Қойчубаев, с. 160.
[135] Там же.
[136] Қойчубаев, с. 161.
[137] Там же.
[138] Там же.
[139] Gabain. Vom Sinn, с. 114.

Ала (*~алӯ~алыг~алак*) 'пестрый', 'пегий', 'полосатый'[140]; в монгольских языках (в том же значении) — *алаг*, в тунгусо-маньчжурских языках — *ала~алаγ*[141]. При дальнейшем семантическом развитии это слово приобрело ряд новых значений (развитие семантики по сходству): 1) 'накожная болезнь в виде белых пятен'; 'ложная проказа'; 2) 'рознь', 'несогласие', 'раздор'; 3) 'недобрые помыслы', 'козни'; 4) 'нечестность'; 5) 'видный', 'солидный', 'недюжинный (о человеке)'[142]; 6) 'с пробелами', 'изреженный (о посевах)'.

Это слово широко используется как компонент-детерминатив в сложных словах, обозначающих представителей животного и растительного мира, а также сложных географических названий: *ала бата ~бота ~бута* 'лебеда'; туркм. *Ала тикен* 'татарник'; туркм. *ала гөз* 'белена туркменская'; тат. *ала бай* 'пупавка (раст.)'; тат., уйг. *ала буга*[143] 'окунь', кирг. 'форель'; тат. *ала балыг* 'сиг', уйг. 'форель'; тат., уйг. *ала карға* 'серая ворона'; тат. *ала кар* 'весенний снег с проталинами'; *ала чапкун* 'ветер с дождем и снегом (Р Сл. I, 352) *ала јар* 'местность, отчасти только лесистая' (Р Сл. I, 351); кирг. *ала тоо* 'снеговые горы', 'горы с вечным снегом' (Юдахин, 749) >Алатау[144].

Уйг. *ала көз* 'недолюбливающий', 'недружелюбный' (Наджип, 45); узб. *ола кўз* 'пучеглазый'; азерб. *ала гөз*, кумыкск. *ала кёз* 'сероглазый'[145].

В турецком языке *alagöz:* 1. Cesur, yiğit; 2. Korkak (Derleme Sözlüğü, 1, с. 187), т. е. два прямо противоположных значения; в первом значении ('храбрый') словосочетание *ala gözlü* встречается в «Китаб-и Дедем Коркут».

Слово *ала* в уменьшительной форме *алача~аладжа~алаша~аласа* 'сорт полосатой бумажной материи', 'пестрядь (домотканая полосатая материя)'[146].

СОКРАЩЕНИЯ

Будагов — Л. Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. 1. СПб., 1869; Т. 2. СПб., 1871.

Койчубаев — Е. Койчубаев. Краткий толковый словарь топонимов Казахстана. А.-А., 1974.

---

140 Р Сл. I, 351—352; Будагов, I, 78; Юдахин, 44; Наджип, 44—45; Севортян, 129—130; ДТС, 32—33; Doerfer, II, 95—97.

141 Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1975, с. 27.

142 Юдахин, 44.

143 Отсюда название города Елабуга (ТатАССР).

144 Койчубаев, с. 31.

145 Наиболее полно словосочетания с первым компонентом *ala* представлены в Derleme Sözlüğü, I, 166—182.

146 Подробнее см.: Doerfer, II, 102.

Малов. ПДТП — С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.—Л., 1951.
Мурзаевы — Э. и В. Мурзаевы. Словарь местных географических терминов. М., 1959.
Наджип — Э. Наджип. Уйгурско-русский словарь. М., 1968.
Пекарский — Э. Қ. Пекарский. Словарь якутского языка. СПб., Л., 1907—1930.
Р Сл.— В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. Т. 1—4. СПб., 1883—1911.
Севортян — Э. В. Севортян. Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). М., 1974.
Фасмер — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. 1—4. М., 1964—1973.
Ҳасанов — Ҳ. Ҳасанов. Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. Тошкент, 1965.
Юдахин — Қ. Қ. Юдахин. Қиргизско-русский словарь. М., 1965.
Cirtautas — I. Laude-Cirtautas. Der Gebrauch der Farbbezeichnungen in den Türkdialekten. Wiesbaden, 1961.
Clauson — Sir G. Clauson. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Ox., 1972.
Derleme Sözlüğü — Türkiye'de halk ağzından derleme sözlüğü. 1—8. Ankara, 1963—1975 (издание продолжается).
Doerfer — G. Doerfer. Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen. Bd 1. Wiesbaden, 1963; Bd 2. Wiesbaden, 1963; Bd 3. Wiesbaden, 1967.
Gabain. Vom Sinn.— A. v. Gabain. Vom Sinn symbolischer Farbenbezeichnung.— AOH. T. 15. № 1—3. 1962. (Турецкий перевод: Renklerin sembolik anlamları.— «Türkoloji Dergisi». 3. № 1. Ankara, 1968.)
Kakuk — S. Kakuk. Recherches sur l'histoire de la langue osmanlie des XVI-e et XVII-e siècles les éléments osmanlis de la langue hongroise. Budapest, 1973.
Pritsak. Qara — O. Pritsak. Qara. Studie zur türkischen Rechtssymbolik.— «Z. V. Togan'a Armağan». İstanbul, 1955.
Pritsak. Orientierung.— O. Pritsak. Orientierung und Farbsymbolik.— «Seculum». Bd 5. № 4, 1954.
Saussur — L. de Saussur. L'origine des noms de Mer Rouge, Mer Blanche et Mer Noire.— «Le Globe». T. 63. 1924.
TS — Tarama Sözlüğü. Ankara.

Д. М. Насилов

К ПРОБЛЕМЕ ТОЖДЕСТВА АФФИКСОВ В АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКАХ

В современной алтаистике все еще противоборствуют две точки зрения на принципиально важный вопрос об исторических связях между алтайскими языками: обусловлены ли они генетически или возникли в результате вторичных схождений на базе типологической общности этих языков. Но, несмотря на то или иное решение данной проблемы (так называемой проблемы «общности алтайских языков»), алтаистика занимается исследованием совершенно очевидно существующих между алтайскими языками взаимных связей, которые проявляются в общности языкового материала, особенно очевидной в лексике и в морфологии. Дискутируется также вопрос об использовании при грамматических реконструкциях внутри отдельных групп алтайских языков, в частности и тюркских, данных из истории других групп алтайских языков и результатов общеалтайской реконструкции.

Обсуждая степень зависимости между тюркской и общеалтайской сравнительно-исторической грамматикой, одни тюркологи считают, что необходимо выходить «за пределы тюркской семьи языков», поскольку это позволяет увеличить временну́ю глубину реконструкций и более точно соотнести сумму праязыковых фактов с явлениями позднейших схождений и взаимовлияний алтайских языков [1]. Другие ученые в этом вопросе придерживаются противоположных взглядов, отрицая полезность привлечения для восстановления ранних этапов развития тюркских языков имеющихся на сегодняшний день алтайских реконструкций в области фонетики и морфологии. Так, А. М. Щер-

[1] См.: А. Н. Кононов. Тюркская филология в СССР. 1917—1967. М., 1968, с. 22; Э. Р. Тенишев. О методах и источниках сравнительно-исторических исследований тюркских языков.— СТ. 1973, № 5, с. 124; Э. В. Севортян. К источникам и методам пратюркских реконструкций.— ВЯ. 1973, № 2, с. 38—39.

бак категорически отвергает возможность использования монгольских и тунгусо-маньчжурских данных при реконструкции тюркских праформ[2]. Так же скептически оценивает достижения алтаистики в области восстановления праязыковых фактов для отдельных групп языков и Г. Дёрфер[3].

С указанными выше противоречивыми выводами непосредственно связана постановка одной из спорных в той же тюркологии и в алтаистике в целом проблем о тождестве грамматических формантов, о критериях разграничения и идентификации морфологических показателей, которые синхронно, а также и при реконструкции имеют одно и то же материальное воплощение, воспринимаются как омоформы. Отсюда же проистекают многочисленные обвинения алтаистов в слишком «вольных» сопоставлениях, необоснованных сближениях формантов, неудовлетворительности ряда параллелей и т. п. Однако, несмотря на важность данной проблемы, она в алтаистике, собственно, и не обсуждалась специально, если не считать отдельных высказываний исследователей о методах их собственных сопоставлений при морфологическом анализе.

Вряд ли подлежит сомнению доказательность морфологических корреляций при установлении родственных связей между языками. При морфологических реконструкциях исследователь, пользующийся сравнительно-историческим методом, имеет дело с показателями, которые материально репрезентируются одним и более звуками. При учете фонетических соответствий и при наличии удовлетворительных семантических связей есть возможность поставить вопрос о едином источнике происхождения данных формантов и предпринять попытку реконструкции их праформы, архетипа. В противном случае вообще нельзя было бы обращаться к реконструкции грамматических показателей, говорить об их исторических вариантах, об их развитии.

Скептицизм в отношении алтайских языков, предлагающих сложный и до сего времени еще недостаточно полно и глубоко интерпретированный материал, тем не менее совершенно не оправдан. Следует думать, что методы сравнительно-исторической грамматики, развившиеся на другом языковом материале, оказываются действенными и на алтайской почве[4].

С другой стороны, действительно, исходя из своеобразия алтаистического материала и уровня его интерпретации современ-

---

[2] А. М. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970, с. 12.

[3] Г. Дёрфер. *Можно ли проблему родства алтайских языков разрешить с позиций индоевропеистики?* — ВЯ. 1972, № 3; ср.: Дж. Клоусон. Лексико-статистическая оценка алтайской теории.— ВЯ. 1969, № 5.

[4] См.: Э. А. Макаев. Вопросы построения сравнительной грамматики тюркских языков.— СТ. 1971, № 2.

ной алтаистикой, имеется потребность более широкого обсуждения методических приемов реконструкции, поисков доказательности и наглядности проводимых в алтаистике сопоставлений. Не случайно, что именно эти вопросы вызвали оживленную дискуссию на страницах журналов «Вопросы языкознания», «Советская тюркология» и на алтаистических конференциях[5].

В современной алтаистике часто считается, что абсолютная идентификация омоморфем может базироваться только на возведении последних к одному и тому же полнозначному (или служебному, окказионально служебному) слову. Во всех прочих случаях доказательность падает, и появляется простор для «вольных» сопоставлений и различных «натяжек». При этом приводится приблизительно такой довод: «Сравнение морфологических показателей не дает безусловно достоверного результата, так как они в большинстве случаев состоят из одного, двух или трех звуков. Кроме того, в агглютинативных языках морфологические показатели, как правило, однозначны и количество их в каждой языковой группе, относимой к алтайской семье, доходит до 300—400 (включая омертвевшие). Поэтому вполне вероятны случайные сходства»[6]. А. М. Щербак придерживается мнения о том, что успешной может быть этимологизация лишь тех аффиксов, для которых удается достаточно правдоподобно представить звенья в цепи последовательных формально-фонетических преобразований самостоятельной лексемы в аффикс, хотя и здесь «деформация выразительной стороны» часто воздвигает непреодолимые препятствия[7]. Что же касается сложных морфем, то их разложение хотя и правомерно, но этимологическое отождествление компонентов, в силу их внешней однородности, в большинстве случаев малодоказательно и бесперспективно. Посылкой для таких выводов является признание А. М. Щербаком исключительной роли лексической десемантизации слов в процессе возникновения агглютинативных показателей в тюркских и в других алтайских языках, независимо от периодов исторического развития последних и глу-

[5] См. упоминавшиеся выше статьи Дж. Клоусона, Г. Дёрфера, Э. В. Севортяна, Э. Р. Тенишева. См. также: Л. Г. Герценберг. Об исследовании родства алтайских языков.— ВЯ. 1974, № 2; А. Н. Кононов. Актуальные тюркологические заметки.— СТ. 1975, № 2; он же. О природе тюркской агглютинации.— ВЯ. 1976, № 4; А. М. Щербак. Методы и задачи этимологического исследования аффиксальных морфем в тюркских языках.— СТ. 1974, № 1; Н. З. Гаджиева, Б. А. Серебренников. Происхождение аффиксов с модальным значением в тюркских языках.— Там же; Проблема общности алтайских языков. Л., 1971; Проблемы алтаистики и монголоведения. Вып. 2. М., 1975.

[6] А. М. Щербак. [Рец. на:] Г. И. Рамстедт. Введение в алтайское языкознание. I. Фонетика; II. Морфология.— НАА. 1961, № 4, с. 230.

[7] См.: А. М. Щербак. Методы и задачи этимологического исследования аффиксальных морфем в тюркских языках, с. 31—33.

бины сравнительно-исторической реконструкции. А. Н. Кононов, Б. А. Серебренников, Н. З. Гаджиева, наоборот, считают, что большинство современных многофонемных показателей образованы путем сложения более простых формантов (обычно с однородным значением) в целях либо уточнения и детализации выражаемых значений, либо подкрепления затухающего значения предшествующего показателя[8]. Как видно, последнее мнение перекликается с известными взглядами Г. Рамстедта и Н. Поппе.

По всей вероятности, опасно абсолютизировать тот или иной путь возникновения грамматических показателей в алтайских языках и подходить к этому вопросу панхронично. К тому же алтаистика не располагает пока фактами, допускающими трактовать алтайское праязыковое состояние, которое удается теперь реконструировать, как весьма примитивную, неразвитую языковую данность, лишенную какой-либо формальной морфологии. Представляется, что рациональнее принять и для этого периода языкового развития существование морфологической системы, обслуживаемой также и определенным набором простых показателей.

В связи с этим интересно обратить внимание на высказывание А. П. Дульзона. Он писал: «В XIX в. эти языки (урало-алтайские.— *Д. Н.*) (как и индоевропейские) обычно возводились непосредственно к первобытному аморфному состоянию; конкретно это выражалось в том, что исследователи пытались происхождение каждого аффикса объяснить ранее существовавшим самостоятельным словом»[9]. Между тем, учитывая необходимый уровень развитости языка древнейших предков носителей этих языков, есть все основания предполагать, как думает А. П. Дульзон, что показатели алтайских языков возникали также из «исходного материала, имевшегося еще в доалтайское время».

Конечно, семантическое сходство ряда синхронно функционирующих показателей не может быть прямым свидетельством их генетической тождественности. Требуется, очевидно, восстановление первичного, исходного значения морфемы в согласии с законами фонетических соответствий и установление способов и особенностей реализации данного значения в различных грамматических категориях в ходе исторического развития языка. И если каждый случай употребления морфемы может быть ин-

---

[8] См.: Н. З. Гаджиева, Б. А. Серебренников. Происхождение аффиксов с модальным значением в тюркских языках; А. Н. Кононов. Актуальные тюркологические заметки; он же. О природе тюркской агглютинации.

[9] А. П. Дульзон. Происхождение алтайских показателей множественного числа.— СТ. 1972, № 2, с. 3.

терпретирован как конкретное проявление найденного **общего** значения, вопрос о единстве данных морфем, как представляется, приобретает реальные основания. Что касается многоэлементных показателей, то для алтайских языков неправомерно исключать возможность фузионного возникновения формантов на базе слияния ряда гомогенных или гетерогенных простых показателей [10]. В этом плане для алтаистики может представлять интерес поиск их составных элементов и идентификация последних с другими грамматическими формантами.

Именно в этом направлении работал основатель современной алтаистики Г. Рамстедт. Так же подходит к подобным вопросам и Н. Поппе. Таким образом, оба ученых видят в целом задачу анализа многоэлементных, сложных по составу аффиксов именно в установлении состава последних, идентификации их компонентов на основе фонетических и семантических закономерностей, а также в реконструкции и определении функциональной нагрузки этих компонентов (первичных простых аффиксов) в праязыке и ее последующих исторических филиаций по группам языков или в отдельных алтайских языках, хотя они и не отрицают возможности происхождения отдельных показателей из агглютинированных знаменательных и служебных слов. В вопросе о тщетности попыток огульного возведения аффиксов к отдельным словам они солидарны, подчеркивая, что древнейшие аффиксы вообще с трудом поддаются анализу с точки зрения их происхождения.

Таким образом, с излагаемых позиций многие морфологические показатели в современных алтайских языках предстают как результат длительного исторического развития первичных показателей (в том числе их сложения, фузии), а также грамматикализации десемантизированных слов. Поэтому путь исследования алтайских формантов, предложенный Г. Рамстедтом и поддержанный его учениками и последователями, выглядит методологически вполне оправданным на современном уровне развития алтаистики.

Заслуживает также внимания мысль Г. Рамстедта о том, что алтайские языки располагают «твердо откристаллизовавшимися морфологическими типами слов, которые и используются для образования новых, аналогичных друг другу форм» [11].

---

[10] См.: А. Н. Кононов. О фузии в тюркских языках.— Структура и история тюркских языков. М., 1971; он же. О генезисе тюркских аффиксальных морфем.— Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. Тезисы докладов. 2. М., 1974; И. В. Кормушин. Явление фузии в истории алтайских языков и его значение для решения проблемы общности алтайских языков.— Проблема общности алтайских языков. Л., 1971.

[11] Г. И. Рамстедт. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, с. 30.

На этом принципе базируются общие закономерности словообразования в алтайских языках, поэтому и более поздние по происхождению форманты принимают на себя ту же функциональную нагрузку, какую несли ранее их прототипы. Как писал Рамстедт, эти новообразования «опираются на некое обобщение известных, легко воспринимавшихся типовых окончаний, которые послужили для них шаблонами»[12]. В этих словах речь идет о тех явлениях, которые позднее были связаны с понятием «устойчивости агглютинативного строя языков»[13]. Иначе говоря, дальнейшее усложнение аффиксов происходило на основе определенных семантических закономерностей, поэтому для исторической грамматики алтайских языков равно важно как восстановление формального развития грамматических показателей, так и реконструкция их семантической эволюции, хотя для современной алтаистики в целом характерно обращение прежде всего к первой стороне этих явлений.

Г. Рамстедт как-то отметил, что алтаистика должна исходить из предположения, что закономерности языкового развития, действующие в алтайских языках, одинаковы с «законами общего языкознания»[14]. Поэтому и при сравнительно-исторических исследованиях необходимо учитывать те возможные направления эволюции отдельных грамматических категорий и их репрезентантов, а также изменения в области фонетики, которые удается установить на материале других языков. Ряд подобных вероятностных обоснований применительно к алтайским языкам, которые основываются на учете фреквенталий, содержится в книге Б. А. Серебренникова «Вероятностные обоснования в компаративистике»: «Значения грамматических формативов, по сравнению с лексическими, имеют гораздо менее широкую сферу возможного развития, что существенно облегчает применение метода вероятностных обоснований»[15].

Сказанное выше можно кратко проиллюстрировать рассмотрением ряда простых показателей способов глагольного действия в трех группах алтайских языков — тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских. Эти показатели определяются как простые, или первичные, только в том смысле, что наряду с ними существуют и сложные, или вторичные, показатели, которые включают в себя данные первичные.

Аффиксальные средства, связанные с семантикой способов

---

[12] Там же, с. 141.

[13] См.: Б. А. Серебренников. О причинах устойчивости агглютинативного строя.— ВЯ. 1963, № 1, с. 54.

[14] G. Ramstedt. Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. II. Lautlehre. Helsinki, 1957, c. 13.

[15] Б. А. Серебренников. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974, с. 158.

действия, соотносятся и исторически, и синхронно с системой образования глаголов от неглагольных частей речи, а также и с отглагольным словообразованием, т. е. с системой всех средств глаголообразования в каждой группе алтайских языков. Эти аффиксы передают в основном количественные характеристики действия.

В алтайских языках аффиксы *-a, -i, -γa, -γi* выступают как показатели многократно-учащательного способа действия. Все они непродуктивны или имеют очень незначительную продуктивность.

В тюркских языках аффикс *-a* образовывал глаголы со значением признака процесса или его результата, названия процесса, результата, места и направления от имен с семантикой названия процесса, его признака или результата (*јаша-* 'жить' — *јаш* 'возраст', *тӱзä-* 'ровнять' — *тӱз* 'ровный', *¯кана-* 'кровоточить' — *¯кан* 'кровь', *ата-* 'называть' — *ат* 'имя', *тӱнä-* 'ночевать' — *тӱн* 'ночь' и др.), при глаголах он использовался как показатель интенсивности и учащательности (*öнä-* 'взмывать' — *öн-* 'подниматься', *бура-* 'крутить' — *бур-* 'поворачивать', *¯кајна-* 'кипеть', 'кишеть' — *¯кајын-* 'кипеть' и др.)[16]. Представление о процессе, динамическом признаке связано с представлением о временно́й протяженности какого-либо явления, его длительности, типичности, множественности проявления. На этой основе можно попытаться реконструировать более частное конкретное значение данного глаголообразующего форманта *-a*, которое, вероятно, будет также связано с наиболее общим значением данной модели словообразования — процессуальным признаком, накладывающимся на семантику конкретного предметного имени. Таким частным значением могло быть значение многократности, повторяемости, обычности и, как вариант, учащательности. Все эти значения процессуальны по своему содержанию, поэтому не удивительно, что аффикс *-a* связан функционально преимущественно с глаголом. При присоединении его к определенным типам имен, «поддающихся» приписыванию им глагольных признаков данного плана, происходило совмещение их семного содержания со значением многократности у аффикса *-a*. Присоединение *-a* к глаголу, который по своей природе уже обозначает процесс, позволяло реализовать также значение многократности, причем более явно, чем в первом случае,— возникает глагол с многократным (либо учащательным) значением. Учитывая общетюркский характер этого показателя и его древность, можно таким образом определить его статус: в тюркском праязыке в сфере глагола имелся дерива-

---

[16] См.: Э. В. Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М., 1962, с. 203—230.

ционный формант *-а* со значением многократности, который выступал в деноминативных дериватах и в отглагольных, подчеркивая в последнем случае специально многократность, учащательность или интенсивность глагольного действия, т. е. он передавал итеративный способ действия.

С предлагаемых позиций появляется возможность по-иному рассмотреть функцию форманта *-а*, выступающего и в других глагольных образованиях. Видимо, этот же показатель является компонентом аффикса *-аγан*<*-а-*+*-γан*, образующего в ряде тюркских языков причастия настоящего или настояще-будущего времени: ккалп. *береген ˉколым алаған* 'дающая рука и брать любит', *көреген* 'зоркий'. На связь интенсивно-дуративного *-а* и *-а* как показателя деепричастия сопутствующего действия обратил внимание Б. А. Серебренников[17]. На основе этого деепричастия в тюркских языках формируется форма настоящего времени: узб. *бораман* 'я иду', *бераман* 'я даю', *билади* 'он знает'.

Таким образом, выстраивается целый ряд функций показателя *-а* в морфологической системе тюркских языков: образование отыменных глаголов, образование вторичных глагольных основ с учащательно-интенсивным значением, образование деепричастия сопутствующего действия, образование формы настоящего времени. Формант *-а*, имея собственное грамматическое значение многократности, реализует его в различных позициях, передавая определенные смысловые модификации производящей основы (и именной, и глагольной). Нетрудно видеть, что все эти реализации объединяет о б щ е е значение фреквентативности. Указанные функции дистрибутивно обусловлены, исторически разновременны и поэтому воспринимаются столь независимыми и несовместимыми друг с другом, но то общее, что заложено в показателе *-а*, позволяет, как представляется, говорить об исторически едином праязыковом форманте *-а*.

Аналогичные функции имел в тюркских языках также и показатель *-i*, сфера употребления которого, однако, более узкая.

В тюркских языках представлены также формы *-γа* и *-γi*, отмечаемые в области отыменного и отглагольного словообразования и формообразования. В отглагольных глаголах они используются как показатели учащательного способа действия. Общность указанных функций позволяет соотнести между собой показатели *-а, -i, -γа, -γi*, считая вслед за Э. В. Севортяном первые два дальнейшим историческим развитием вторых.

В монгольских языках представлены те же показатели, образующие либо глаголы от имен, либо вторичные глаголы со

---

[17] Б. А. Серебренников. Из истории звуков и форм тюркских языков.— СТ. 1975, № 1, с. 12—18; он же. Причины резкого уменьшения числа аффиксов многократного действия и сокращения сферы их употребления в тюркских языках.— Там же. 1975, № 6.

значением транзитивности или каузативности, либо отглагольные имена с процессуальным значением. Имеются семантические основания для сближения показателей каузативности с показателями интенсивности—учащательности, поскольку за ними скрыто выражение общего значения множественности[18].

Это говорит в пользу того, что в пределах тюркских и монгольских языков допустимо сопоставить между собой показатели отдельных морфологических категорий и показатели деривационные.

Интересные соответствия дают и тунгусо-маньчжурские языки. Еще Г. Рамстедт устанавливал прямое соответствие фактитивно-каузативного аффикса *-γa* в монгольском языке с эвенкийским *-γa*, образующим переходные глаголы от непереходных. В тунгусо-маньчжурских языках отмечен и показатель *-γi*, образующий глаголы как от имен, так и от глаголов. Вторичные глаголы также имеют значение фактитивно-каузативное или интенсивно-учащательное.

Итак, во всех группах алтайских языков достаточно четко выявляются показатели, связанные со сферой глагола и представляющие собой фонетически сопоставимые группы *-a*∼*-γa* и *-i*∼*-γi*. В каждой из групп удается семантически и функционально связать между собой в рамках единой деривационной функции с однородным значением варианты аффиксов с начальным консонантом и без него, т. е. допустить их соотношение как альтернацию фономорфологических вариантов единого форматива. Правда, вопрос о природе этого гуттурального начального консонанта в алтаистике до конца еще не выяснен. Семантически все эти показатели объединены значением многократности. На этой базе можно говорить о единстве праязыкового форманта в пределах алтайской языковой общности.

Иными словами, показатели с однородным (исторически) значением могут проявлять себя в одном языке или группе языков в качестве формативов ряда морфологических образований, и поэтому нет прямой необходимости считать родственными только те аффиксы, функции которых синхронно воспринимаются как гомогенные. Если для аффиксов имеются удовлетворительные фонетические межъязыковые соответствия, которые подкрепляются семантическим единством их функций, то можно признать, что речь идет, видимо, о межъязыковых отражениях одного и того же форманта.

---

[18] См.: Б. А. Серебренников. Вероятностные обоснования в компаративистике, с. 171—177; Л. З. Сова. Функции суффикса *-isa* в языке зулу.— «Africana». Т. 8. Л., 1971, с. 127—150.

В. И. Рассадин

ИСТОРИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО И ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ТОФАЛАРОВ

Тофалары, обитающие на северо-восточных склонах Саянского хребта,— один из немногих тюркоязычных народов, занимающихся помимо промысловой охоты так же разведением северных оленей. Их оленеводство вьючно-верхового направления вместе с оленеводством также тюркоязычных тувинцев-тоджинцев исследователи выделяют в самостоятельный саянский тип [1]. Из литературы известно, что оленеводство подобного же типа знают и в других районах, прилегающих к Саянам: на территории МНР — цаатаны [2] и дархаты [3], в состав которых вошли многие тюркоязычные этнические группы, родственные саяно-алтайским тюркам; в Окинском аймаке Бурятской АССР — группа бурят, ведущая свое происхождение от тувинцев и называющая себя *сойот~hойот* [4]. По мнению специалистов, данный тип оленеводства в некоторых чертах совпадает с оленеводством, представленным у самодийских народов [5], и оба типа имеют реальные исторические связи [6].

Алтай и Саяны — территория, на которой с древнейших времен соприкасались тюркские, самодийские, кетские, тунгусо-маньчжурские и монгольские племена и их культуры. Поэтому изучение народов, обитающих на Саяно-Алтайском нагорье и сохраняющих своеобразные реликтовые формы хозяйства, такие, как оленеводство и т. п., которые исчезают в настоящее

---

[1] См.: Г. М. Василевич, М. Г. Левин. Типы оленеводства и их происхождение.— СЭ. 1951, № 1, с. 76—77.

[2] См.: С. Бадамхатан. Хөвсгөлийн цаатан ардын аж байдлын тойм. Улаанбаатар, 1962, с. 7—9.

[3] См.: С. Бадамхатан. Хөвсгөлийн дархат ястан. Улаанбаатар, 1965, с. 113—114.

[4] См.: В. И. Рассадин. О тюркизмах в бурятском языке.— К изучению бурятского языка. Улан-Удэ, 1969, с. 131.

[5] См.: Г. М. Василевич, М. Г. Левин. Типы оленеводства, с. 77.

[6] Там же, с. 78.

время под натиском цивилизации XX в., представляет большой научный интерес. Вопросы и проблемы этногенеза и глоттогенеза указанных выше народов можно решить, лишь комплексно используя данные археологических, исторических, этнографических, лингвистических, фольклористических и антропологических исследований. К сожалению, не все народы Саяно-Алтайского нагорья изучены во всех этих аспектах в одинаковой мере.

Наименее изученными являются тофалары. Давно назрела необходимость в обобщающей монографии историко-этнографического типа, такой, как, например, посвященные тувинцам-тоджинцам[7], башкирам[8] и многим другим народам. Если в исследовании языка тофаларов в последние годы произошел некоторый сдвиг, о чем будет сказано ниже, то в отношении собирания и изучения этнографических и иных материалов дело обстоит неудовлетворительно. Положение усугубляется еще тем, что носителями и хранителями традиционной материальной и духовной культуры тофаларского народа в настоящее время являются лишь лица старшего поколения, родившиеся в начале века еще при кочевом образе жизни. Таких же лиц, при общей небольшой численности тофаларов (по данным переписи 1959 г., их насчитывалось всего 560 человек), совсем немного, и они, разумеется, не вечны. Поэтому следует торопиться с проведением среди тофаларов широких этнографических исследований.

Дореволюционная литература по этнографии и истории тофаларов представляет собой в основном небольшие статьи и заметки общего характера. Пожалуй, одной из первых научных работ, в которой говорится о карагасах[9], является труд П. С. Палласа[10]. В нем он пишет, что карагасы говорят на самодийском языке. В доказательство этого П. С. Паллас привлекает сравнительный лексический материал по языкам «самоедским, койбальским, моторским и карагасским»[11]. Например, он приводит такие карагасские слова: *kale* 'рыба', *charga* 'мех', *sira* 'снег', *merge* 'ветер', *obtida* 'волосы', *dimi-da* 'зубы', *chy* 'дерево', *gide* 'два', *negur* 'три', *šumbyla* 'пять', *muktut* 'шесть', *schud-ob* 'одиннадцать' (ср. соответственно современ-

---

[7] См.: С. И. Вайнштейн. Тувинцы-тоджинцы. Историко-этнографические очерки. М., 1961.

[8] См.: С. И. Руденко. Башкиры. Историко-этнографические очерки. М.—Л., 1955.

[9] Так в дореволюционное время и в первые годы Советской власти официально назывались тофалары, хотя еще в середине XIX в. в литературе приводилось слово туфá ~ тофá в качестве их самоназвания.

[10] П. С. Паллас. Путешествие по разным провинциям Российского государства. Т. 3. СПб., 1788.

[11] Там же, с. 524—526.

ные тофаларские слова: *балык* 'рыба', *кеъш*[12] 'шкурка', 'мех', *кар* 'снег', *кат* 'ветер', *чеъш* 'волосы', *диш* 'зубы', *неш* 'дерево', *иъhи* 'два', *үш* 'три', *беш* 'пять', *алты* 'шесть', *он бряа* 'одиннадцать').

Весьма общие и скудные сведения о карагасах мы находим также в труде другого крупного ученого XVIII в., Иоганна Георги. Он так писал о карагасах: «Карагасы принадлежат к небольшим остаткам красноярских народов самоедского племени. Статься может, что они во время воинственных беспокойствий собрались из беглецов; по крайней мере, не упоминается о них с уважением в истории о завоевании Сибири. Ныне платит сие поколение подушной оклад только за 22 семьянистых человека. Они кочуют при Тассеве, вышедшей из Верхней Тунгуски реке, в гористой несколько стране и приписаны к Удинскому острогу. Подушной их оклад (ясак) расположен по деньгам: но они сверх того исправляют еще и некоторые казацкие службы при монгольской границе.

Язык их самоядское наречие, и притом не столько испорченное, как у многих других остатков самоедского племени.

Они бедны и, кроме нескольких оленей, ничего доброго у себя не имеют. Юрты, которые составляют из колышков, покрывают звериными кожами. Одеяние делают себе из разных звериных кож на самоедский вкус. Вместо чулок обертывают ноги жимолостной корой. Зимой носят теплые шапки, летом же ходят мужчины простоволосы, а женщины покрывают голову летними шляпками, нарочито пригожо из тростника выплетенными. В зимнее время питаются от одного звериного промысла, летом же диким кореньем и рыбной ловлей. Как для того, так и для другого перекочевывают они летом по большей части через каждые три дня к другим речкам и озерам.

Они, правда, все крещены, но держатся больше, нежели другие обращенные к православной вере сибиряки, прародительского своего суеверия, которое есть шаманское. Теперь нет у них ни священнослужителей, ни волшебников. Всяк молится про себя Солнцу и Небесной Тверди с воздыханием и приносит в жертву от убитого медведя и красной дичи голову да сердце, вознося то и другое к солнцу на куске коры; причем просит об удовлетворении его нужд и съедает напоследок жертву. Знатным горам и рекам оказывают они, как и другие сибиряки, почтенье и дарят или жертвуют им, когда к ним приближаются, понемногу табаку, привезенную с собой древесную веточку, лоскуток меха или иную какую дрянцу, причем отвешивают и низкие поклоны.

Теперь они покойников своих хоронят. В прежние же вре-

---

[12] Твердый знак (*ъ*) обозначает фарингализацию гласного.

мена оставляли их для истления на голой земле, положа головою к востоку, или клали на сделанный из колышков костер, либо и на дерева: причем покрывали их всегда хворостом; сожигали же токмо тех, которых особенно почитали» [13].

Здесь мы видим типичный образчик описания незнакомых народов в научной литературе того времени. Описание карагасов, данное Степановым [14], также не отличается полнотой и разнообразием.

Подлинно же научное изучение карагасов, как и ряда других народов Сибири, было начато великим ученым середины XIX в., труды которого до сего времени не утратили своего научного значения, известным лингвистом и этнологом М. А. Кастреном. Предприняв свое знаменитое путешествие по Сибири с целью изучения языков местных народов и племен, он посещает в 1849 г. и карагасов. В его письмах и отчетах о путешествии 1845—1849 гг., изданных академиком А. Шифнером [15], содержится немало сведений о карагасах, которых он застал тюркоязычными. Привлекая большой сравнительный материал, добытый им самим во время этого путешествия, М. А. Кастрен проводит анализ родового состава тофаларов, находя в нем самодийские элементы (роды Irgä, Tarak, Tjogde, Bogosche) [16]. На основе сопоставления и анализа языкового материала М. А. Кастрен пришел к выводу, что карагасы, койбалы и сойоты имеют общее происхождение, а их языки якобы происходят от качинского. К сожалению, М. А. Кастрен в своих заметках все внимание уделяет этнологии и почти не дает описания материальной культуры виденных им карагасов.

Несколько восполняет этот пробел современник М. А. Кастрена действительный член Русского географического общества Ю. П. Штубендорф. В небольшой статье [17] он дает очерк быта, духовной культуры, верований, хозяйства карагасов. Впервые в литературе он приводит официальные названия родов (и их локализацию), сопоставляя с самоназванием. Так, по его материалам «род карагасский разделяется на пять улусов»: 1) карагасский — самоназвание *ссарыхъ хашъ* (ср. совр. *сарыг һа̄аш*); 2) шельбегорский, или сильпагурский,— самоназвание *акъдьяуда* (ср. совр. *чогды*); 3) кангасский, или кангатский,—

[13] И. Георги. Описание всех обитающих в Российском государстве народов... Ч. 3. О народах самоедских, маньчжурских и восточных сибирских... СПб., 1799, с. 19—20.

[14] См.: Степанов. Енисейская губерния. Ч. 2. СПб., 1835, с. 37, 45 и сл.

[15] См.: М. А. Castrén. Reiseberichten und Briefe aus den Jahren 1845—1849, hrsg. von A. Schiefner. St.-Pbg., 1856, с. 383, 388—392.

[16] Там же, с. 389.

[17] См.: Ю. П. Штубендорф. О карагассах.— «Вестник ИРГО». Ч. 12. Отд. 2. 1854, с. 229—246.

самоназвание *хашъ-таръ* (ср. совр. *һа̄аш*); 4) удинский, или судинский,— самоназвание *карадьяуда* (ср. совр. *кара чогды*); 5) маллерский, или манжурский,— самоназвание *дептейлерръ* (ср. совр. *чептэй*) [18]. В работе Ю. П. Штубендорфа приводятся также названия месяцев, созвездий, мер (все эти названия почти без изменений сохранились у современных тофаларов). Так, например, мы находим следующие названия 13 месяцев, на которые делится год у тофаларов: 1) *шомрай* (с 7 мая по 4 июня) — совр. *шомур ай* (<*шомур* 'начинающая расти трава'); 2) *дозарай* (с 7 июня по 2 июля) — совр. *дозаар ай* (<*доза-* 'сдирать бересту'); 3) *айкыслай* (со 2 по 30 июля) — совр. *ай кызар ай* (букв. 'месяц покраснения сараны'); 4) *айнарай* (с 30 июля по 27 августа) — совр. *айнаар ай* ('месяц копания сараны'); 5) *эптынхай* (с 27 августа по 24 сентября) — совр. *эттинг ай* (<*эттинг* 'кóлот для сбивания кедровых шишек'); 6) *джаррытерай* (с 24 сентября по 28 октября) — совр. *чары эътэр ай* ('месяц гона оленей'); 7) *кыштерай* (с 22 октября по 19 ноября) — совр. *алдылаар ай* ('месяц охоты на соболя'); 8) *ырглерай* (с 19 ноября по 17 декабря) — совр. *өрүглээр ай* (<*өрүглэ-* 'заплетать косу'; как объясняли нам старики, месяц так назван потому, что дни настолько коротки, что женщина едва успевает заплести косу, как он кончается); 9) *соогай* (с 17 декабря по 15 января) — совр. *агай* ('белый месяц') или *соог ай* ('холодный месяц'); 10) *уллуссоогай* (с 15 января по 12 февраля) — совр. *улуг соог ай* ('месяц больших холодов'); 11) *хругоогъ* (с 12 февраля по 12 марта) — совр. *куруг һог* ('пустое распугивание зверей'); 12) *торбытай* (с 12 марта по 9 апреля) — совр. *тоорбаш ай* (<*тоорбаш* 'бревнышко, которое ночью горит в юрте для обогрева'; месяц назван так потому, что в это время снег липкий и облепляет все это бревнышко, которое намокает и потом плохо горит); 13) *ытталларай* (с 9 апреля по 7 мая) — совр. *ыталаар ай* (<*ытала-* 'охотиться с собаками по насту'). Здесь же приводятся названия мер: *кулашъ* 'расстояние между средними пальцами при распростертых руках' (ср. совр. *кулаш* 'сажень'), *харыш* 'четверть' (ср. совр. *һарыш* id.), *ыргэкь* 'дюйм' (ср. совр. *эргек* 'палец'), *дэ̀ртъ-ыргэ̀къ* 'ладонь' (ср. совр. *дөрт эргек* 'четыре пальца'); названия созвездий: *тьедэгаръ* 'Большая Медведица' (ср. совр. *чеди ган*), *ыргаръ* 'Плеяды' (совр. *үрһер*, *үъһер*). Кроме того, в работе есть довольно большой по тому времени список карагасских слов, о чем будет сказано ниже. Хронологически это первая публикация тофаларского лексического материала (грамматика карагасского языка М. А. Кастрена, к которой приложен

[18] Там же, с. 229—230.

словарик, вышла тремя годами позднее[19]). Слова и фразы записаны Ю. П. Штубендорфом у карагасов шельбигорского улуса. Весь этнографический материал также дан на основе его собственных наблюдений, что весьма ценно. Этнографическое описание произведено по традиционной схеме того времени. Ученый сообщает о внешнем виде карагасов, их жилище, одежде, прическе, пище, детях, браке, болезнях и их лечении, охотничьем промысле, оленеводстве, административном и социальном устройстве и верованиях. Он, единственный из всех, кто когда-либо занимался тофаларами, приводит образец нотной записи самой популярной у них мелодии. Хотя его очерк и краток, но он дает некоторое представление почти о всех сторонах жизни тофаларов. Однако, будучи буржуазным ученым, стоящим на позициях великодержавного шовинизма, Ю. П. Штубендорф отказывает карагасам в праве иметь собственную историю. Он пишет с презрением: «...народ, не принадлежащий истории, не может и иметь историю. Живя в беспрерывных заботах о настоящем, он мало заботится о прошедшем. Довольствуясь жилищами, основанием которых служат лиственничные жерди, он оставляет памятники, свидетельствующие о существовании народа до сгниения жердей»[20]. Действительность же показала всю нелепость и несостоятельность этих воззрений.

Среди работ этнографического характера заслуживает упоминания статья Н. Кострова[21], который подвел в ней некоторые итоги описания карагасов, присовокупив также свой материал. Касаясь родового состава карагасов, он опирается на исследования М. А. Кастрена. В этой работе имеется много нового, по сравнению с трудом Ю. П. Штубендорфа, материала о культуре и быте карагасов, приводится описание одежды шамана, процесса камлания. Впервые приводятся тофаларские слова, поясняющие некоторые реалии, т. е. из этой статьи можно почерпнуть и некоторый лексический материал.

Заметный след в изучении карагасов оставил Н. Ф. Катанов, который в 1890 г. совершил к ним путешествие и произвел большие текстовые записи. В дневнике этого путешествия[22] и особенно в записанных им карагасских текстах[23] име-

---

[19] См.: М. А. Castrén. Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre... St.-Pbg., 1857.

[20] См.: Ю. П. Штубендорф. О карагассах, с. 245—246.

[21] См.: Н. Костров. Карагасы.— «Иллюстрированная газета». СПб., 1871, № 43, с. 685—868; № 44, с. 698—699.

[22] См.: Н. Ф. Катанов. Поездка к карагасам в 1890 г.— ЗИРГО по отд. этнографии. Т. 17. Вып. 2. 1891, с. 133—230.

[23] См.: Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. В. Радловым. Ч. 9. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов. Тексты, собранные и переведенные Н. Ф. Катановым. Тексты. СПб., 1907.

ется много сведений этнографического характера. Работы Н. Ф. Катанова содержат много материала и по антропонимии карагасов.

Большой вклад в этнографическое изучение тофаларов вносит работа В. Н. Васильева[24], посетившего их кочевья в 1908 г. Его статья о карагасах впервые хорошо иллюстрирована (16 фотоснимков). Описание построено по той же традиционной схеме: даны сведения о местах обитания, о их названии и отношении к другим народам, о их физическом типе и внешнем облике, о характере, численности, ассимиляции, образе жизни, жилище, одежде, пище, ремеслах, о семейной жизни, рождении и воспитании детей, играх детей, сватовстве, свадьбе, о положении вдов и вдовцов, об административном управлении и родовом строе, о верованиях. Как видим уже из одного только перечня затрагиваемых вопросов, эта работа выгодно отличается от предыдущих большой широтой охвата исследуемого материала, который целиком получен путем личных наблюдений. Неоценимы с научной точки зрения приведенные фотоснимки, ставшие теперь уникальными.

Все эти сведения в какой-то мере дополняет последняя из дореволюционных работ о тофаларах — брошюра хорошего знатока их жизни, красноярского этнографа И. А. Евсенина[25]. В ней также говорится обо всем понемногу: об их местообитании и соседних народах, их типе, численности, делении по улусам и управлении, о суде, промысле и занятиях, о жилище, одежде и обуви, о пище, характере, детях и детских играх, о перекочевках, религии, сказках и песнях. Эта брошюра принадлежит к типу популярных работ по краеведению.

Таким образом, все дореволюционные исследователи, за исключением М. А. Кастрена и Н. Ф. Катанова, стремились дать описание сразу всех особенностей быта и хозяйства карагасов. Поэтому, придерживаясь постоянной схемы, они и писали обо всем понемногу. Из этих работ мы узнаем, что тофалары в XVIII—XIX вв. официально назывались карагасами, хотя было известно их самоназвание: тофà — туфà. Они были кочующим народом, разводили северных оленей, ездили на них верхом и использовали под вьюк. Олень также одевал и кормил их, давал шкуры для постройки жилищ — конических юрт, которые летом крылись полосами вываренной бересты, а зимой оленьими шкурами. Летом карагасы находились с оленями в Белогорье, зимой занимались промыслом соболя и белки. Пушнина была основным товаром их хозяйства, который шел в уплату ясака и благодаря которому они могли приобретать другие нужные им

[24] См.: Н. В. Васильев. Краткий очерк быта карагасов.— «Этнографическое обозрение». Кн. 84—85. № 1—2. М., 1910, с. 46—76.

[25] См.: И. А. Евсенин. Карагассы (краткий очерк). Красноярск, 1919.

товары и продукты питания. Основной пищей были мясо диких зверей, изредка домашнего оленя, коренья сараны и кандыка, кирпичный чай с оленьим молоком и ржаная лепешка, испеченная в золе костра. Охотились в основном с ружьем и собакой, луки давно вышли из употребления. Единственным средством передвижения по тайге служил олень, на котором ездили так же, как на коне, используя седло со стременами, с нагрудной и подхвостной шлеей. Использовали также и лыжи. Перекочевки носили сезонный характер. Одежду составляли меховые шубы — у мужчин до колен, у женщин до пят. У женщин шубы в талии и по вороту были со сборками. Борта, обшлага и подол женских шуб были оторочены лентами из цветного сукна и опушены мехом. На поясе у карагасов были ножи в ножнах и кисеты с табаком, огнивом и трубкой. Обувь шилась зимой из камысов, летом из ровдуги. После развития торговли и общения с русскими стали широко использовать покупную матерчатую одежду. Брак совершался в результате предварительного сговора родителей и выплаты калыма. Кочевали группами юрт, объединяющимися по родственным признакам. Административно делились на пять родов, во главе всех их стоял выборный шуленга, во главе каждого рода был дарга. Ежегодно в декабре все собирались на суглан, где уплачивался ясак, священниками производились разные требы и устраивалась большая ярмарка. Хотя все были давно крещены, сохранялось шаманство. Шаманы имели большую силу. Одеяние шаманов состояло из ровдужной куртки, увешанной железками, лоскутками, лентами, ровдужных сапог и шапки из птичьих перьев. Умерших хоронили как в земле, так и на поверхности в особых срубах. В гроб клали вещи покойного и закалывали оленя, на котором он ездил при жизни.

Таким оставался быт и образ жизни тофаларов и в первые годы Советской власти, до того как начался их переход к оседлости, переход к новым формам хозяйствования, овладению грамотностью и созданию новой социалистической культуры. В это время начинается и новый этап их изучения, поставленный на подлинно научную основу. С ним связано имя профессора Иркутского университета Б. Э. Петри, под руководством которого были проведены организованные Обществом Красного Креста и Комитетом Севера научные экспедиции к малым народам тогдашней Иркутской губернии — окинским сойотам, тунгусам и карагасам. Экспедиции должны были изучить на месте материальную культуру этих народов, их бюджет, перспективы развития и наметить конкретные меры для их социального и культурного возрождения. Результатом экспедиции 1925 г. к тофаларам явилась целая серия небольших монографий, каждая из которых была посвящена какому-либо кон-

кретному вопросу[26], что позволило более глубоко и всесторонне рассмотреть целый ряд проблем, касающихся этнографии тофаларов.

Кроме Б. Э. Петри тофаларами в это время занимались также и другие исследователи, например профессор Иркутского университета К. Н. Миротворцев, давший очерк экономики тофаларского хозяйства[27]; С. В. Керцелли, написавший статью об оленеводстве у тофаларов[28]; Д. Соловьев, исследовавший соболиный промысел[29]; Ю. Кудрявцев, осветивший положение в Центральном Саяно-Карагасском охотничьем хозяйстве[30], которое было создано в 1927 г. с целью упорядочения охотничьего промысла и сохранения численности промысловых животных.

Перу этнографа М. А. Сергеева принадлежат работы о переходе тофаларов к новой жизни[31], а также общий историко-этнографический очерк о тофаларах в коллективной монографии «Народы Сибири»[32].

С. В. Ивановым была впервые сделана попытка рассмотреть изобразительное искусство тофаларов[33], хотя и по скудным материалам музейных коллекций.

Видным советским этнографом Б. О. Долгих на широком сравнительном материале проведено подлинно научное исследование этногенеза тофаларов, истории сложения их родо-пле-

---

[26] См. работы Б. Э. Петри: Этнографические исследования среди малых народов в Восточных Саянах (Предварительные данные).— Сборник трудов профессоров и преподавателей Иркутского гос. ун-та. Вып. 12. Педагогич. фак-т. 1927; Карагасский суглан. Иркутск, 1926; Охотничьи угодья и расселение карагас. Иркутск, 1927; Оленеводство у карагас. Иркутск, 1927; Промыслы карагас. Иркутск, 1928; Бюджет карагасского хозяйства. — «Изв. Биолого-географического научно-исследовательского ин-та при гос. Иркутском ун-те». Т. 4. Вып. 1. 1928; Черты родового быта карагасов. Иркутск, 1928.

[27] См.: К. Н. Миротворцев. Карагасы. (Статистико-экономический очерк).— Сборник трудов профессоров и преподавателей Иркутского гос. ун-та. Отд. 1. Вып. 2. Иркутск, 1921, с. 1—25.

[28] См.: С. В. Керцелли. Карагасский олень и его хозяйственное значение.— «Северная Азия». М., 1925, № 3, с. 87—92.

[29] См.: Д. Соловьев. Саянский промыслово-охотничий район и соболиный промысел в нем. Пг., 1920 (Труды экспедиции по изучению соболя и исследованию соболиного промысла, Сер. 2. Саянская).

[30] См.: Ю. Кудрявцев. Центральное Саяно-Карагасское охотничье хозяйство. М., 1927.

[31] См.: М. А. Сергеев. Тофалары сегодня. (К истории национального строительства).— Советская этнография. Т. 4. М.—Л., 1940, с. 55—57; он же. Некапиталистический путь развития малых народов Севера.— ТИЭ. Новая серия. Т. 27. 1955.

[32] См.: М. А. Сергеев. Тофалары.— Народы Сибири. Под ред. М. Г. Левина, Л. П. Потапова. М.—Л., 1956 (Народы мира. Этнографические очерки. Под общей ред. С. П. Толстова), с. 530—539.

[33] С. В. Иванов. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX — начала XX в. Сюжетный рисунок и другие виды изображений на плоскости.— ТИЭ. Новая серия. Т. 22. 1954, с. 677—679.

менной структуры[34]. М. Г. Левин в 1950-х годах произвел антропологическое обследование тофаларов и установил принадлежность их вместе с тувинцами-тоджинцами и некоторыми группами эвенков к байкальскому типу[35]. Антропологические исследования среди тофаларов с анализом групп крови, резус-факторов и т. п. проводились группой московских специалистов в 1964 г.[36].

Родо-племенной структуре и социальной организации тофаларов, а также вопросам, связанным с их типом оленеводства, посвятил ряд работ этнограф С. И. Вайнштейн[37], известный своими исследованиями по этнографии тувинцев. Автором настоящей статьи была сделана попытка наметить основные вехи истории тофаларов, исходя из сравнительно-исторического анализа их языка[38]. Им же дано описание культа медведя у тофаларов на основе собранного им самим полевого материала[39].

Большую и весьма ценную в научном отношении работу проделал венгерский этнограф В. Диосеги по сбору и изучению материалов по шаманству у тофаларов, которых он посетил в июле 1958 г. Результатом этой научной поездки явился труд о проблеме этнической однородности тофаларского шаманства[40], иллюстрированный фотографиями и цветными рисунками, которые дают представление о различиях между тофалар-

---

[34] См.: Б. О. Долгих. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке.— ТИЭ. Новая серия. Т. 55. 1960, с. 252, 254—256.

[35] См.: М. Г. Левин. К антропологии Южной Сибири.— КСИЭ. Вып. 20. 1954, с. 18—21.

[36] См.: Ю. Г. Рычков и др. К популяционной генетике коренного населения Сибири. Восточные Саяны.— «Вопросы антропологии». Вып. 31. М., 1969, с. 3—32.

[37] См.: С. И. Вайнштейн. Родовая структура и патронимическая организация у тофаларов (до начала XX в.).— СЭ. 1968, № 3, с. 60—67; он же. Социальная организация саянских оленеводов-охотников (тофалары).— Общественный строй у народов Северной Сибири (XVII — начало XX в.). М., 1970, с. 300—312; он же. К вопросу о саянском типе оленеводства и его возникновении.— КСИЭ. Вып. 34. 1960; он же. К вопросу о происхождении оленеводства. (Об одной параллели в материальной культуре киргизов и саянских оленеводов).— История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968.

[38] См.: В. И. Рассадин. Этапы истории тофаларов по языковым данным.— Материалы конференции «Этногенез народов Северной Азии». Вып. 1. Новосибирск, 1969, с. 223—226; то же в сб. «Происхождение аборигенов Сибири и их языков». Материалы межвузовской конференции, 11—13 мая 1969 г. Томск, 1969, с. 34—37.

[39] См.: В. И. Рассадин. О культе медведя у тофаларов.— «Известия Сибирского отделения АН СССР». Серия общественных наук. Вып. 3. № 11. Новосибирск, 1973, с. 122—125.

[40] V. Diószegi. Zum Problem der ethnischen Homogenität des tofischen (karagassischen) Schamanismus.— Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker. Budapest, 1963, c. 261—357.

скими родами в деталях шаманского костюма. Автор включил в свою работу также большой лексический материал (названия тех или иных реалий или деталей одежды и иного снаряжения шамана), что стало хорошей традицией этнографов. Помимо сведений о самом шаманстве, полученных В. Диосеги от самих тофаларов, в работе дано описание всех процессов обработки различных материалов и изготовления шаманского костюма и снаряжения, т. е., по сути дела, получило квалифицированное научное описание домашнее ремесло тофаларов. Эту работу по праву можно считать значительным вкладом в изучение этнографии тофаларов.

Тофаларский шаманский костюм привлек внимание и этнографа из ГДР В. Хартвига, написавшего об этом статью[41], в которой он анализирует заметки И. А. Евсенина.

Вопросы фольклора тофаларов, к сожалению, мало исследованы. Первым и, пожалуй, единственным, кто записал на тофаларском языке и издал с переводом образцы различных жанров устного творчества тофаларов, был Н. Ф. Катанов. Он записал 67 песен (536 стихов), 26 устных рассказов, 9 преданий о племени, 9 загадок, 29 сказок. Все они опубликованы в его вышеупомянутых трудах. Отрадно отметить, что эта сторона духовной культуры тофаларского народа не выпала из поля зрения современных исследователей. Мы имеем в виду небольшую монографию иркутского фольклориста Р. А. Шерхунаева[42]. В качестве приложения к своей работе он приводит тексты тофаларских сказок, которые, к сожалению, сразу были записаны в переводе на русский язык. В книге находим обстоятельный очерк, посвященный состоянию изученности тофаларского фольклора и истории Тофаларии, в особенности современной, о чем никто еще до сих пор не писал.

Некоторые этнографические подробности и детали содержатся в работах популярного характера, принадлежащих журналистам, путешественникам и другим лицам, посещавшим тофаларов и наблюдавшим их в повседневной жизни[43].

Лингвистическое исследование тофаларов не может, к сожалению, похвастать обилием литературы. Из дореволюционных исследователей лишь четыре приводят сведения о тофаларском языке: Ю. П. Штубендорф, Н. Костров, М. А. Кастрен и

---

[41] W. Hartwig. Gedanken über eine Schamanenkostüm (nach Notizen von I. A. Jewsenin).— Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig. Bd 15. 1957.

[42] Р. А. Шерхунаев. Сказки и сказочники Тофаларии. Кызыл, 1975.

[43] См.: Б. Чудинов. Путешествие по Карагассии. М., 1931; Ал. Смирнов-Сибирский. В стране карагас. М., 1932; Б. Чернышев. В краю оленьих троп. Иркутск, 1962; он же. В стране Тофаларии.— «Байкал». Улан-Удэ, 1970, № 2; В. Распутин. Край возле самого неба. Очерки и рассказы. Вост.-Сиб. кн. изд-во. 1966.

Н. Ф. Катанов. Речь идет именно о тюркском языке тофаларов, близком к современному. То обстоятельство, что в XVIII в. П. С. Паллас находил карагасский род самодийским по языку, объясняется, видимо, тем, что тофалары представляли собой гетерогенное племя, среди которого растворились более мелкие самодийские племена; одно из них и описывал П. С. Паллас.

Как уже упоминалось, хронологически самый ранний языковой материал по тофаларам мы находим в указанной выше работе Ю. П. Штубендорфа. Записи сделаны им самим у представителей рода ак-чогду. Записи М. А. Кастрена, произведенные примерно в те же годы, были опубликованы три года спустя. Ю. П. Штубендорф приводит в своей статье около 200 лексических единиц, включая названия месяцев, мер, созвездий, родов (см. выше, с. 192—193). Его написание карагасских слов в основном совпадает с написанием их у М. А. Кастрена и очень близко к современному произношению. Например: у Штубендорфа — *дунгма,* у Кастрена — *tuŋma* (совр. *d̯uŋma* 'младший брат или сестра'); у Штубендорфа — *аланъ*, у Кастрена — *alèn* (совр. *alyn* 'лицо', 'лоб'); у Штубендорфа — *хай*, у Кастрена — *hai* (совр. *hã:j* 'нос', 'морда', 'клюв'); у Штубендорфа — *ихтъ*, у Кастрена — *et* (совр. *eъt* 'мясо'); у Штубендорфа — *тохосъ*, у Кастрена — *tohos* (совр. *toъhos* 'девять') и т. д.

Ю. П. Штубендорф и М. А. Кастрен верно подметили некоторые характерные особенности фонетики тофаларского языка, например среднеязычный характер аффрикаты *č* и ее звонкого варианта *ǯ*. В современном языке слабая среднеязычная аффриката реализуется как в глухом — *č*, так и в звонком — *ǯ* оттенках. Один и тот же человек произносит то *č*, то *ǯ*, так как глухость—звонкость для слабых согласных тофаларского языка — оттенковые признаки, зависящие целиком от комбинаторных условий [44]. Поэтому-то у Ю. П. Штубендорфа находим то *чаш*, то *дьяш* 'волосы' (аналогичные примеры есть и у М. А. Кастрена). Точно так же у М. А. Кастрена наблюдаем варианты и с *t*, и с *d*: *talai*~*dalai* 'море', *tajak*~*dajak* 'посох', *tôra*~*dôra* 'поперек', *tîŋ*~*dîŋ* 'белка'. У Штубендорфа находим в одном случае *дунгма* (ср. у Кастрена *tuŋma*) 'брат', а в другом — *кастумам* 'младшая сестра' (<*кыс дунгма*, где *д* перед *с* оглушается). По этой же причине Штубендорф приводит *данза*, а Кастрен — *taŋsa* 'трубка' и т. д.

Следующей особенностью фонетики тофаларского языка является произнесение фарингального звонкого *h* после сонантов [45]. У Штубендорфа находим *болхаш* 'болото', у Кастрена —

---

[44] См.: В. И. Рассадин. Фонетика и лексика тофаларского языка. Улан-Удэ, 1971, с. 41.

[45] Там же с. 63, 93.

balhaś '*грязь*' (ср. совр. *balhaš* 'жидкая грязь'), у Штубендорфа — *бурхан*, у Кастрена — *burhan* (ср. совр. *burhan* 'бог'), у Штубендорфа — *талан*, у Кастрена — *talhan* (ср. совр. *talhan* 'мука'). В произношении иногда звонкий *h* после *l, m, n* настолько ослабевает, что почти не слышится, поэтому люди другой национальности слышат вместо тофаларского *tamhy* 'табак', *anhai* 'теленок', *talhan* 'мука' и т. п. соответственно *tamy, anai, talan*. Поэтому и Штубендорф воспринял *talhan* как *talan* (видимо, эта особенность существовала в тофаларском языке уже в то время).

М. А. Кастрен, к сожалению, не услышал в тофаларском языке фарингализованных гласных, поэтому у него не различаются *ot* 'огонь' (совр. *od*) и *ot* 'трава' (совр. *oъt*), *kèsèl* 'узкий', 'тесный' (совр. *qyъsyl*) и *kèsèl* 'красный' (совр. *qyzyl*), хотя он приводит вариант *kèzèl* 'красный'. О наличии фарингализации уже в то время свидетельствуют различия в подаче некоторых слов у Штубендорфа и Кастрена. Например: у Штубендорфа — *охтъ*, у Кастрена — *öt, èt* (совр. *yъt* 'собака'); у Штубендорфа — *буштъ*, у Кастрена — *bört* (совр. *bôъt* 'шапка'); у Штубендорфа — *ихтъ*, у Кастрена — *et* (совр. *eъt* 'мясо'); у Штубендорфа — *арштэкъ*, у Кастрена — *artek* (совр. *aъr̂tyq* 'лишний').

В современном языке эти слова произносятся приблизительно так, как записал их Ю. П. Штубендорф. Из-за фарингализации гласных в первом слоге слышится как бы придыхание, а после нее согласный *r* перед *t* всегда произносится очень глухо. Поэтому этот *r̂* и был воспринят Ю. П. Штубендорфом как *ш*. М. А. Кастрен, не услышав фарингализованных гласных, все-таки чувствовал разницу в произношении гласных с фарингализацией и без нее. Особенно эта разница заметна перед звуком *ś*, который в тофаларском языке всегда очень палатализован, поэтому Кастрен дает *baś* 'голова' (совр. *baъš*) и *baiś* 'рана' (совр. *baš*). Под влиянием сильной палатализации звука *š* при переходе от гласного *a* нижнего подъема к этому *š* язык проходит положение, характерное для гласного *i*, вследствие чего при быстрой смене артикуляции от *a* к *š* перед *š* иногда слышится скользящий *i*-образный призвук, что М. А. Кастрен принял за дифтонг. После фарингализованного *a*, артикуляция которого глубоко заднеязычна, почти увулярна, такого не происходит. М. А. Кастрен отмечает дифтонг с *i* во многих словах: *taiś* 'камень' (совр. *d̂aš*), *tüiś* 'сон' (совр. *d̂üš*), *böiś* 'кедр' (совр. *b̂ôš*), *eiś* 'спутник' (совр. *eš*), *üiś* 'три' (совр. *ûš*), *šoiška* 'свинья' (совр. *šoška*), *keiškerarmen* 'кричать' (совр. *qyšqyr-*) и т. п. Ю. П. Штубендорф также слышит в ряде слов дифтонг: *уйш* 'три', *бейш* 'пять' (совр. *beš*), *дуйш* 'грудь' (у Кастрена — *töiś*, *döiś*; совр. *d̂ôš*), *быйшъ* 'кедровник'. Интересно, что

Н. Ф. Катанов, записывавший свой материал в тех же краях спустя всего сорок с небольшим лет, уже нигде не фиксирует в этих словах дифтонга: *пӓш* 'пять', *ӱш* 'три', *н'ӓш* 'дерево', *кышкыр-* 'кричать', *пöш* 'кедр'. В современном языке здесь везде чистые краткие гласные.

Первым, кто дал довольно подробное и правильное, хотя и схематичное, описание морфологической структуры тофаларского языка, был М. А. Кастрен[46]. В приложенном к грамматике словаре дано свыше тысячи тофаларских слов. Н. Ф. Катанов, собравший большой текстовой и словарный материал по тофаларскому языку, использовал его в своей знаменитой грамматике тувинского языка[47]. Отдельные весьма интересные замечания о тофаларском языке, а также выборка русских заимствованных слов содержатся в его письмах к В. В. Радлову, отправленных во время путешествия в Сибирь и Восточный Туркестан[48]. Бесценным вкладом Н. Ф. Катанова в тюркологию являются его записи фольклора сибирских народов, в том числе и тофаларов. К сожалению, Н. Ф. Катанов несколько «отувинил» тофаларский язык, о чем нами уже говорилось[49]. Н. Ф. Катанов производил записи в 1890 г. Нами же опрашивались тофалары, которые родились еще до приезда Катанова, например А. А. Саганов из с. Верхняя Гутара (1879 г. рожд.) и Е. М. Кангараева из с. Алыгджер (1870 г. рожд.). Те же тексты, которые были записаны Н. Ф. Катановым, они произносят иначе. Их произношение ближе к зафиксированному Кастреном (правда, у Кастрена не отмечена фарингализация, но она не была уловлена и Катановым). Поэтому материалы Н. Ф. Катанова нельзя использовать для сравнительно-исторических фонетических исследований.

Следующими по времени являются записи тофаларского языка, произведенные Н. П. Дыренковой в 1930-х годах в Институте народов Севера в Ленинграде, где она вела занятия с группой учащихся-тофаларов. Результаты ее работы получили отражение в статье, которая была опубликована лишь в 1963 г.[50]. Помимо общих сведений о тофаларах в этой статье подробно

---

[46] M. A. Castrén. Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den tatarischen Mundarten des Minussinischen Kreises. St.-Pbg., 1857.

[47] Н. Ф. Катанов. Опыт исследования урянхайского языка, с указанием главнейших родственных отношений его к другим языкам тюркского корня. Казань, 1903.

[48] Письма Н. Ф. Катанова из Сибири и Восточного Туркестана.— ЗИАН. Т. 73. Прил. № 8. СПб., 1893.

[49] См.: В. И. Рассадин. Фонетика и лексика тофаларского языка, с. 13—14.

[50] Н. П. Дыренкова. Тофаларский язык.— Тюркологические исследования. М.—Л., 1963, с. 5—23.

освещена фонетическая сторона их языка. Звуки даны во всех их оттенках. Но, к сожалению, фарингализация гласных, столь существенно влияющая на поведение последующих консонантов в потоке речи, осталась не замеченной и ею. Поэтому Н. П. Дыренкова вынуждена иногда просто констатировать явление, не объясняя причин, по которым в одних случаях оно наблюдается, а в других нет[51]. В статье Н. П. Дыренковой дан также сжатый, но достоверный очерк морфологии с элементами словообразования, причем охвачены почти все части речи. Эти материалы значительно дополняют грамматическую схему М. А. Кастрена. Кроме того, в статье произведен краткий анализ словарного состава и приложены два текста в фонетической записи с подстрочным переводом. Ее записи во многом совпадают с записями М. А. Кастрена, более реально представляя звучание тофаларской речи, нежели у Н. Ф. Катанова.

Исследование тофаларского языка, выполненное К. Менгесом[52], основано на материалах Кастрена и Катанова и представляет собой сравнительно-исторический анализ фонетики, грамматики и лексики тофаларского языка. При этом он принимал тувинский и тофаларский языки за один язык туба и рассматривал их вместе.

С 1964 г. тофаларским языком начал заниматься автор данной статьи. Им была исследована фонетическая система, причем выявлены специфические фарингализованные гласные и увязано с ними поведение согласных в потоке речи, благодаря чему стал ясен механизм чередований фонем. Были произведены записи словарного материала и текстов, собран материал по грамматике тофаларского языка. Часть этих исследований опубликована в виде статей и монографии[53]. Составлена картотека тофаларского словаря в объеме около 15 тыс. лексических единиц. Начато описание морфологии тофаларского языка.

---

[51] Там же, с. 9—10.

[52] К. Н. Menges. Das Sojonische und Karagassische. — PhTF. Т. I. Wiesbaden, 1959, с. 640—670; он же. Die türkischen Sprachen Süd-Sibiriens, III: Tuba (Sojoŋ und Karagas). Zur Charakteristik einer einzelnen sibirisch-türkischen Gruppe.— «Central Asiatic Journal». Vol. 4. № 2. 1959, с. 90—129; Vol. 5. № 2, с. 97—150.

[53] В. И. Рассадин. О тофаларской лексике. (Предварительные данные поездки к тофаларам).— Исследования по языку и фольклору. Вып. 1. Новосибирск, 1965, с. 171—183; он же. Лексика современного тофаларского языка. Автореф. канд. дисс. Улан-Удэ, 1966; он же. Бурятские лексические заимствования в тофаларском языке.— Исследование бурятских говоров. Вып. 2. Улан-Удэ, 1968, с. 187—191; он же. Фонетика и лексика тофаларского языка. Улан-Удэ, 1971, с. 1—251; он же. О развитии тофаларско-русского двуязычия.— Проблемы двуязычия и многоязычия. М., 1972, с. 332—334; Л. Д. Шагдаров, В. И. Рассадин. Об употреблении тофаларами бурятского языка.— Исследование бурятских говоров. Вып. 2. Улан-Удэ, 1968, с. 176—186.

Исследование фонетики тофаларского языка экспериментальными методами, как традиционными (кимографирование, палатографирование и др.), так и современными (с применением спектрографа, пневмоосциллографа, кинорентгена и др.), проводится В. М. Наделяевым. Результаты этих исследований опубликованы[54]. Целиком разделяя выдвинутую В. М. Наделяевым точку зрения о разделении тофаларских согласных на сильные, слабые и сверхслабые (по нашей терминологии — сонанты), хотелось бы возразить против отнесения фарингализации гласных к оттенковому признаку: как же быть в таком случае с парами слов типа *ašta:r* 'голодать' и *aъšta:r* 'чистить', *qasta:r* 'охотиться на гусей' и *qaъsta:r* 'закинуть поводья за луку седла стоящей лошади', *εt:æ:r* 'бить' и *εъt:æ:r* 'идти за мясом', *at:ar* 'имена' и *aъt:ar* 'лошади' и т. п.? Такие слова различаются только гласным — фарингальным или нефарингальным. Кроме того, именно фарингализация обусловливает чередование согласных в потоке речи. Если же фарингализация — оттенковый признак, то она должна быть факультативной. В действительности же, если заменить фарингализованный гласный нефарингализованным, слово меняет смысл. Например, *aъq* с фарингализованным гласным означает «теки» (и звук *q*, попав между гласными, переходит под влиянием фарингализации в *h*: *aъhar* 'потечет'); это слово с нефарингальным — *aq* — означает «белый» (*q* чередуется с *ǫ*: *aǫy* 'его белый'). Поскольку фарингализация вообще относится к редким языковым явлениям и в тюркских языках отмечается лишь в тувинском и тофаларском (при этом в тувинском она ведет себя иначе, чем в тофаларском), нам кажется, имело бы смысл специально исследовать явление фарингализации в тофаларском языке и ее влияние на соседние согласные экспериментальным методом.

Отдельно хотелось бы остановиться на сравнительно большом лексическом материале, данном в указанной выше работе В. Диосеги. Дело в том, что автор этой работы, этнограф, не обладая специальной фонетической подготовкой, допустил ряд ошибок в передаче звуковой стороны тофаларских слов. Так, тофаларский фарингальный *h* везде передан как χ, что неверно (например, *täχä* 'черный козел' вм. *teъh'e, bäχä* 'его голова' вм. *beъh'e, baъh'i*); не обозначена долгота гласных (например, *χaš* вм. *hã:š* — название рода, *ärgus* 'рябина' вм. *ε:rgü:s, ȯk* 'пуговица' вм. *ȯ:k*); некоторые слова расслышаны неверно (например, *qaty sȯskä 'salix'* вм. *qatyγ sȯ:sken* 'таволга', *büš* 'кедр' вм. *bȯš, χon jüsü* 'коленный сустав' вм. *hon'žusu* 'его голенище'). Подобных неточностей много, поэтому весь лек-

[54] В. М. Наделяев. Особенности звуковой системы языка тофов.— Материалы конференции «Этногенез народов Северной Азии». Вып. 1. Новосибирск, 1969, с. 235—236.

сический материал, приведенный В. Диосеги, нуждается в проверке.

В 50-е годы изучением тофаларов и их языка занималась преподаватель кафедры турецкой филологии Ленинградского университета А. И. Маркон, материалы которой (фольклорные записи и наброски грамматики тофаларского языка) хранятся в Архиве востоковедов ЛО ИВАН СССР[55].

Недавно в Иркутске был организован этнографический музей под открытым небом. Хочется надеяться, что сотрудники этого музея в скором времени ликвидируют тот пробел, который еще существует в изучении тофаларов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКОМУ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ ТОФАЛАРОВ

Ангарский И. Записки о карагасах.— «Восточное обозрение». СПб., 1891, № 6.

Аристов И. А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей.— ЖС. Т. 6. Вып. 3—4. 1896.

Астырев Н. М. О численности и промыслах племени карагасов.— ИВСОРГО. Т. 20. № 2. 1889.

Астырев Н. М. Очерк быта племени карагасов Нижнеудинского округа.— Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта сельского населения Иркутской и Енисейской губерний. Т. 2. Вып. 2. Прил. № 1. М., 1890.

Вайнштейн С. И. К вопросу о происхождении оленеводства (Об одной параллели в материальной культуре киргизов и саянских оленеводов).— История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968.

Вайнштейн С. И. К вопросу о саянском типе оленеводства и его возникновении.— КСИЭ. Вып. 34. 1960.

Вайнштейн С. И. Родовая структура и патронимическая организация у тофаларов (до начала XX в.).— СЭ. 1968, № 3.

Вайнштейн С. И. Социальная организация саянских оленеводов-охотников (тофалары).— Общественный строй у народов Северной Сибири (XVII — начало XX в.). М., 1970 (гл. X).

Василевич Г. М., Левин М. Г. Типы оленеводства и их происхождение.— СЭ. 1951, № 1.

Васильев Н. В. Краткий очерк быта карагасов.— «Этнографическое обозрение». Кн. 84—85. № 1—2. М., 1910.

Георги И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов... Ч. 3. О народах самоедских, маньчжурских и восточных сибирских... СПб., 1799.

Демченко В. Н. Колхоз «Красный охотник» Тофаларского района Иркутской области. Иркутск, 1939.

Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в.— ТИЭ. Новая серия. Т. 55. 1960.

Дыренкова Н. П. Тофаларский язык.— Тюркологические исследования. М.—Л., 1963.

Евсенин И. Буряты о карагасах.— «Сибирская летопись». Красноярск, 1916, № 9—10.

[55] Архив востоковедов ЛО ИВАН СССР, ф. 140.

Евсенин И. А. Карагассы. (Краткий очерк). Красноярск, 1919.
Залесский Н. В. К этнографии и антропологии карагасов.— «Труды Антропологического о-ва при Военно-медицинской академии». Т. 3. СПб., 1898.
Заметка о карагасах.— «Сибирь». Иркутск, 1877, № 8.
Ив. Е. К вопросу о положении карагасов.— «Земский журнал, издаваемый Нижнеудинским Уездным Земством...». 15 мая 1919 г., № 10.
Иванов С. В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX — начала XX в. Сюжетный рисунок и другие виды изображений на плоскости.— ТИЭ. Новая серия. Т. 22. 1954.
Каррутерс Д. Неведомая Монголия. Т. 1. Урянхайский край. Пг., 1914.
Катанов Н. Ф. Поездка к карагасам в 1890 г.— ЗИРГО по отд. этнографии. Т. 17. Вып. 2. 1891.
Катанов Н. Ф. Предания присаянских племен о прежних делах и людях.— Сборник в честь 70-летия Г. Н. Потанина. СПб., 1909 (ЗИРГО по отд. этнографии. Т. 34).
Катанов Н. Ф. Среди тюркских племен.— ИРГО. Т. 29. 1893.
Керцелли С. В. Карагасский олень и его хозяйственное значение.— «Северная Азия». М., 1925, № 3.
Клеменц Д. А. Предварительные сведения об экскурсии в Ачинский и Канский округа.— ИВСОРГО. Т. 20. 1889.
Козьмин Н. И. Туба.— «Сибирские записки». Красноярск, 1918, № 4.
Кон Ф. Экспедиция в Сойотию.— Собрание сочинений. Т. 3. М., 1934.
Костров Н. Карагасы.— «Иллюстрированная газета». СПб., 1871, № 43—44.
Кудрявцев Ю. Центральное Саяно-Карагасское охотничье хозяйство. М., 1927.
Левин М. Г. К антропологии Южной Сибири.— КСИЭ. Вып. 20. 1954.
Миротворцев К. Н. Карагасы (Статистико-экономический очерк). — Сборник трудов профессоров и преподавателей Иркутского гос. ун-та. Отд. 1. Вып. 2. Иркутск, 1921.
Наделяев В. М. Особенности звуковой системы языка тофов.— Материалы конференции «Этногенез народов Северной Азии». Вып. 1. Новосибирск, 1969.
О карагассах.— Этнографический сборник. Вып. 4. СПб., 1858.
Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. В. Радловым. Ч. 9. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов. Тексты, собранные и переведенные Н. Ф. Катановым. Тексты. СПб., 1907.
Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. В. Радловым. Ч. 9. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов. Тексты, собранные и переведенные Н. Ф. Катановым. Перевод. СПб., 1907.
Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. Т. 3. СПб., 1788.
Первухин И. Карагасы.— «Советский Север». М., 1930, № 2.
Петри Б. Э. Бюджет карагасского хозяйства.— «Известия Биолого-географического научно-исследовательского ин-та при гос. Иркутском ун-те». Т. 4. Вып. 1. 1928.
Петри Б. Э. Карагасский суглан. Иркутск, 1926.
Петри Б. Э. Оленеводство у карагас, Иркутск, 1927.
Петри Б. Э. Охотничьи угодья и расселение карагас. Иркутск, 1927.
Петри Б. Э. Промыслы карагас. Иркутск, 1928.
Петри Б. Э. Черты родового быта карагасов. Иркутск, 1928.
Петри Б. Э. Этнографические исследования среди малых народов в Восточных Саянах (Предварительные данные). — Сборник трудов профессоров и преподавателей Иркутского гос. ун-та. Вып. 12. Педагогич. фак-т. 1927.
Письма Н. Ф. Катанова из Сибири и Восточного Туркестана.— ЗИАН. Т. 73. Прил. № 8 СПб., 1893.

Попов И. Записки о карагасах. О первых приемах физического воспитания детей у разных народностей, населяющих Иркутскую губернию. Иркутск, 1879.
Преловский П. Нижнеудинские карагасы.— Записки и труды Губернского Статистического Комитета. Вып. 4. Иркутск, 1868—1869.
Радлов В. В. Этнографический обзор тюркских племен Южной Сибири и Джунгарии. Пер. с нем. Томск, 1887.
Распутин В. Край возле самого неба. Очерки и рассказы. Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1966.
Рассадин В. И. Бурятские лексические заимствования в тофаларском языке.— Исследование бурятских говоров. Вып. 2. Улан-Удэ, 1968.
Рассадин В. И. Лексика современного тофаларского языка. Автореф. канд. дисс. Улан-Удэ, 1966.
Рассадин В. И. Лексика современного тофаларского языка. Канд. дисс. Новосибирск, 1966.
Рассадин В. И. О культе медведя у тофаларов.— «Известия Сибирского отделения АН СССР». Серия общественных наук. Вып. 3. № 11. Новосибирск, 1973.
Рассадин В. И. О развитии тофаларско-русского двуязычия.— Проблемы двуязычия и многоязычия. М., 1972.
Рассадин В. И. О тофаларской лексике (Предварительные данные поездки к тофаларам).— Исследования по языку и фольклору. Вып. 1. Новосибирск, 1965.
Рассадин В. И. Фонетика и лексика тофаларского языка. Улан-Удэ, 1971.
Рассадин В. И. Этапы истории тофаларов по языковым данным.— Материалы конференции «Этногенез народов Северной Азии». Вып. 1. Новосибирск, 1969; то же в сб. «Происхождение аборигенов Сибири и их языков». Материалы межвузовской конференции, 11—13 мая 1969 г. Томск, 1969.
Риттер. Землеведение Азии. Ч. 3. СПб., 1860.
Рычков Ю. Г. Особенности серологической дифференциации народов Сибири.— «Вопросы антропологии». Вып. 21. М., 1965.
Рычков Ю. Г. и др. К популяционной генетике коренного населения Сибири. Восточные Саяны.— «Вопросы антропологии». Вып. 31. М., 1969.
Сергеев М. А. Некапиталистический путь развития малых народов Севера.— ТИЭ. Новая серия. Т. 27. 1955.
Сергеев М. А. Тофалары.— Народы Сибири. Под ред. М. Г. Левина, Л. П. Потапова. М.—Л., 1956 (Народы мира. Этнографические очерки. Под общей ред. С. П. Толстова).
Сергеев М. А. Тофалары сегодня (К истории национального строительства).— Советская этнография. Т. 4. М.—Л., 1940.
Смирнов-Сибирский Ал. В стране карагас. М., 1932.
Смирнов-Сибирский Ал. Среди карагасов.— «Вестник знания». Л., 1932, № 11.
Соловьев Д. Саянский промыслово-охотничий район и соболиный промысел в нем. Пг., 1920 (Труды экспедиции по изучению соболя и исследованию соболиного промысла. Сер. 2. Саянская).
Среди инородцев. У карагасов.— «С. М. Мирской вестник». 1885, № 3.
Степанов. Енисейская губерния. Ч. 2. СПб., 1835.
Тофаларский район.— Иркутская область. Экономико-статистический справочник. Под ред. П. Силинского. Иркутск, 1941.
Firma Ripcs. Карагасы.— «Сибирь». Иркутск, 1885, № 48; 1886, № 15 и 16.
Ходукин Я. Н., Золотарев М. Е. Карагасия. Материалы Иркутского Местного Комитета Севера. 1926.
Чернышев Б. В краю оленьих троп. Иркутск, 1962.
Чернышев Б. В стране Тофаларии.— «Байкал». Улан-Удэ, 1970, № 2.
Чудинов Б. Путешествие по Карагассии. М., 1931.

Чудовский В. Историко-этнографический очерк Иркутской губернии. — «Записки Сибирского отд. ИРГО». Кн. 8. Ч. 2. Иркутск, 1865.
Шагдаров Л. Д., Рассадин В. И. Об употреблении тофаларами бурятского языка.— Исследование бурятских говоров. Вып. 2. Улан-Удэ, 1968.
Шерхунаев Р. А. Сказки и сказочники Тофаларии. Кызыл, 1975.
Шл-р К. У карагасов.— «Восточное обозрение». СПб., 1888, № 49.
Штубендорф Ю. П. О карагассах.— «Вестник ИРГО». Ч. 12. Отд. 2. 1854.
Castrén M. A. Ethnologische Vorlesungen über die Altaischen Völker. St.-Pbg., 1857.
Castrén M. A. Reiseberichten und Briefe aus den Jahren 1845—1849, hrsg. von A. Schiefner. St.-Pbg., 1856.
Castrén M. A. Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den tatarischen Mundarten des Minussinischen Kreises. St.-Pbg., 1857.
Diószegi V. Bericht über ein Forschungsreise nach Südsibirien.— «Sociologus». Bd 9. Budapest, 1959.
Diószegi V. Zum Problem der ethnischen Homogenität des tofischen (karagassischen) Schamanismus.— Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker. Budapest, 1963.
Hartwig W. Gedanken über eine Schamanenkostüm (nach Notizen von I. A. Jewsenin).— Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig. Bd 15. 1957.
Kolm A. Die Karagasen des kleinen Altaigebirges.— «Globus». 1873, № 4.
Menges K. H. Das Sojonische und Karagassische.— PhTF. T. 1. Wiesbaden, 1959.
Menges K. H. Die türkischen Sprachen Süd-Sibiriens, III: Tuba (Sojon und Karagas), 1. Zur Charakteristik einer einzelnen sibirisch-türkischen Gruppe.— «Central Asiatic Journal». Vol. 4. № 2. 1959.
Menges K. H. Die türkischen Sprachen Südsibiriens, III: Tuba (Sojon und Karagas), 2. Zur Charakteristik einer einzelnen sibirisch-türkischen Gruppe.— «Central Asiatic Journal». Vol. 5. № 2. 1959.
Radloff W. Aus Sibirien. Lpz., 1884.

Д. Г. Савинов

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ЕНИСЕЙСКИХ КЫРГЫЗОВ И КИМАКОВ В IX—X вв.

Еще недавно конец I тысячелетия н. э. считался одним из малоизученных периодов в этнической истории народов северной части Центральной Азии и Южной Сибири. Об этом писали В. П. Васильев[1], В. В. Бартольд[2], Г. Е. Грумм-Гржимайло[3], Л. Л. Викторова[4] и другие исследователи — историки, археологи и востоковеды. В настоящее время положение существенно изменилось благодаря систематическому накоплению археологического материала в Туве, Минусинской котловине, Горном и степном Алтае. Несмотря на трудности этнической интерпретации археологических памятников, некоторые из них, при условии правильной расстановки в исторической перспективе, могут быть сопоставлены с данными письменных источников и тогда сами становятся полноправным историческим документом.

Известно, что в 840 г. енисейские кыргызы победили уйгуров, перешли через Западные Саяны и вышли на просторы Центральной Азии. Впервые народ северного происхождения, создавший высокую культуру в бассейне среднего Енисея, стал играть решающую роль в делах своих южных соседей. С падением Уйгурского каганата связаны два важнейших события в истории народов Южной Сибири — широкое расселение енисейских кыргызов, которых вслед за С. Е. Яхонтовым мы рассматриваем как «довольно большой (судя по размерам армии, превосходившей по численности войска уйгуров и киданей) народ, говорив-

---

[1] В. П. Васильев. История и древности восточной части Средней Азии от X до XIII вв.— ТВОРАО. Т. 4. 1859, с. 12.

[2] В. В. Бартольд. Киргизы. Исторический очерк.— Сочинения. Т. 2. Ч. 1. М., 1963, с. 490.

[3] Г. Е. Грумм-Гржимайло. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. 2. Л., 1926, с. 349.

[4] Л. Л. Викторова. К вопросу о расселении монгольских племен на Дальнем Востоке в IV—XII вв.— УЗ ЛГУ. 1958, с. 43.

ший на языке тюркской семьи»[5], и, по-видимому, окончательное оформление кимако-кыпчакской этнокультурной общности.

Археологические памятники уйгуров (города и могильники) лучше всего исследованы в Туве. Один из авторов этих исследований, Л. Р. Кызласов, отметил глубокую, очевидно, принесенную из Северной Монголии и Забайкалья гуннскую традицию в материальном комплексе уйгурских погребений — форма, орнамент и технические приемы изготовления керамики; конструкция сложного лука[6]. Эти элементы для населения Южной Сибири были давно пройденным этапом. Местное тувинское население, скорее всего чики, обладало культурой древнетюркского облика[7]. Судя по концентрации уйгурских памятников, можно предполагать, что соседние с Тувой территории Горного Алтая, а также более западные районы в VIII—IX вв. не входили (или входили номинально) в состав Уйгурского каганата — здесь пока не найдены города, катакомбы, специфические каменные изваяния в головных уборах, с наборными поясами и сосудом в обеих руках, характерные главным образом для центральнотувинской котловины и считающиеся уйгурскими.

В Горном Алтае в это время наибольшее распространение получают погребения с конем, оставленные местными телескими племенами[8], силами которых прежде древние тюрки «геройствовали в пустынях севера»[9]. Весьма заманчиво было бы отнести погребения с конем конкретно в Южном Алтае к племенам чеби — название, каким-то образом связанное с именем Чеби-хана, который в середине VII в. «ушел на северную сторону Золотых гор (Алтая)»[10] (как полагает Л. Н. Гумилев, через Сайлюгем[11]), т. е. в Чуйскую степь, где находятся могильник Курай и другие наиболее известные погребения с конем.

А. А. Гаврилова и другие исследователи отмечают в алтайских материалах VIII—IX вв. много общих черт с одновременными памятниками енисейских кыргызов в Минусинской котловине: в обряде погребения, обычае помещать в могилу серебряные сосуды, самой форме этих сосудов и т. д.[12]. Эти парал-

[5] С. Е. Яхонтов. Древнейшие упоминания названия «киргиз».— СЭ. 1970, № 2, с. 120.

[6] Л. Р. Кызласов. История Тувы в средние века. Изд-во МГУ, 1969, с. 65—78.

[7] Там же, с. 78—79.

[8] Ю. И. Трифонов. Об этнической принадлежности погребений с конем древнетюркского времени.— Тюркологический сборник. 1972. М., 1973, с. 351—374.

[9] Н. Я. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. М., 1950, с. 301.

[10] Там же, с. 273.

[11] Л. Н. Гумилев. Древние тюрки. М., 1967, с. 229—231.

[12] А. А. Гаврилова. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.—Л., 1965, с. 65—66.

лели, свидетельствующие об определенных этнокультурных связях между населением Алтая и Минусинской котловины в период господства в Центральной Азии уйгуров, как будто соответствуют сведениям письменных источников об антиуйгурской коалиции племен Саяно-Алтая, в частности о союзе енисейских кыргызов и алтайских карлуков, которые до середины VIII в. занимали территорию между Западным Алтаем и Тарбагатаем, а в 766 г. продвинулись в Семиречье[13].

Государство енисейских кыргызов, сокрушившее Уйгурский каганат, с точки зрения своей социально-экономической структуры было полиэтническим образованием, получившим название по имени ведущего этноса. В *Тан-шу* говорится о кыргызах: «...когда набирают и отправляют войско, то выступает весь народ и все вассальные поколения»[14]. К этим вассальным поколениям относились «лыжные тукюе» (дубо, милигэ, эчжи)[15] и другие народы северных районов Саяно-Алтайского нагорья. О сложном этническом составе государства енисейских кыргызов свидетельствуют и археологические материалы. Очевидно, самостоятельной этнической общности принадлежат найденные в Минусинской котловине погребения с конем (Усть-Тесь, Капчалы II)[16]. По некоторым предметам сопроводительного инвентаря (деревянные фигурки баранов, обложенные золотым листком; зооморфные навершия псалий) можно предполагать также, что могильники Капчалы I (VII—VIII вв.) и Уйбатский чаа-тас (IX—X вв.) оставлены одной группой населения, а Копёнский чаа-тас (VIII—IX вв.), где нет этих предметов,— другой.

Территория государства енисейских кыргызов по материалам поселений и могильников восстанавливается следующим образом. Центр его находился, как известно, в Минусинской котловине. На востоке с кыргызами определенно связывается археологический материал с Нижней Иволги[17] и инвентарь могилы 3 Хойцегорского могильника[18]. С. В. Киселев указывает на отдельные находки наконечников стрел кыргызского облика в Восточных Саянах[19]. Возможно, что влияние культуры енисейских кыргызов проникало и дальше на восток, до среднего

---

[13]. См.: В. В. Бартольд. Очерк истории Семиречья.— Сочинения. Т. 2. Ч. 1. М., 1963, с. 35—40.

[14] Н. В. Кюнер. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961, с. 60.

[15] Н. Я. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений, с. 354.

[16] Д. Г. Савинов. Этнокультурные связи населения Саяно-Алтая в древнетюркское время.— Тюркологический сборник. 1972. М., 1973, с. 342—343.

[17] Гос. Эрмитаж, колл. 2080.

[18] Ю. Д. Талько-Грынцевич. Древние памятники Западного Забайкалья.— Труды XII Археологического съезда. М., 1902, рис. 60—61.

[19] С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. М., 1951, с. 577.

течения Амура. Только так можно объяснить значительную близость кыргызских материалов и материалов мохэ, которую Е. И. Деревянко рассматривает как результат культурных связей между мохэсцами и древними тюрками в широком культурно-историческом значении последнего термина[20]. Самые северные кыргызские памятники находятся около Красноярска (Ладейский комплекс)[21]. К западу от Минусинской котловины несколько «кыргызских ваз» найдено в Кемеровской области[22]. Южная граница до середины IX в. проходила по Западным Саянам. В Туве археологические памятники енисейских кыргызов IX—X вв. (подкурганные трупосожжения с характерным комплексом сопроводительного инвентаря, рунические надписи-эпитафии) в настоящее время известны, пожалуй, в большем количестве, чем во всех других местах, включая и метрополию енисейских кыргызов — Минусинскую котловину[23]. Правда, они отличаются здесь некоторым своеобразием (почти полностью отсутствуют керамика, намогильные сооружения типа чаа-тасов), что объясняется не столько этнической, сколько их социальной спецификой: это погребения воинов. В Северной Монголии и Восточном Туркестане пребывание енисейских кыргызов зафиксировано главным образом данными письменных источников, хотя отсутствие соответствующих памятников здесь, по-видимому, следует отнести за счет слабой изученности этих районов в археологическом отношении.

Особый интерес представляет вопрос о западных границах распространения памятников енисейских кыргызов в IX—X вв. Отдельные предметы кыргызского облика, найденные в Горном Алтае, имеются в собраниях Н. С. Гуляева[24] и П. С. Уваровой[25], а также в материалах старых раскопок Ледебура на Чарыше[26]. Несомненно связаны с кыргызами и те могилы в Яконуре, в которых найдены стремена, наконечники стрел и удила, типологически близкие кыргызским (К.1, м. Е—Ф; К.3, м. 1); в одном случае погребение было совершено по обряду трупосожжения (К.4)[27]. Недавно еще одно погребение с трупосожжением было раскопано на могильнике Узунтал VIII (Кош-Агачский

[20] Е. И. Деревянко. Мохэские памятники среднего Амура. Новосибирск, 1975, с. 181—196, табл. LIII—LIV.

[21] В. Г. Карцов. Описание коллекций и материалов Музея. Красноярск, 1929, с. 51.

[22] Г. С. Мартынова. К вопросу о таштыкских жилищах.— Древняя Сибирь. Вып. 4. Новосибирск, 1974, с. 91.

[23] Л. Р. Кызласов. История Тувы в средние века, с. 97—108.

[24] Горно-Алтайский краеведческий музей, колл. 1.

[25] ГИМ, колл. 54321.

[26] А. П. Уманский. Археологические раскопки Ледебура в Горном Алтае.— «Записки Горно-Алтайского НИИЯЛИ». Вып. 6. 1964, с. 35—52.

[27] М. П. Грязнов. Раскопки на Алтае.— СГЭ. № 1. Л., 1940, с. 17—21. Материал в Гос. Эрмитаже, колл. 1554.

район Горно-Алтайской АО)[28]. Далее к западу серии предметов кыргызского типа были получены еще при раскопках В. В. Радлова на Бухтарме[29]. В последние годы чрезвычайно интересные погребения, очевидно принадлежавшие кыргызам или очень близким к ним по культуре племенам, были открыты в составе Зевакинского могильника на Иртыше. «По погребальному обряду,— пишет о них Ф. Х. Арсланова,— рассмотренные курганы близки к погребениям в Туве, относящимся к древним хакасам (кыргызам.— *Д. С.*). Не исключена возможность, что в некоторых курганах с трупосожжением были похоронены представители древнехакасского общества, вступившие в непосредственный контакт с аборигенами Верхнего Прииртышья»[30].

Таким образом, благодаря находкам последних лет памятники енисейских кыргызов в Минусинской котловине, Туве, Горном Алтае, Восточном Казахстане связываются в одну цепочку, и западные границы их распространения почти вплотную придвигаются к восточным отрогам Тянь-Шаня. Это позволяет поновому взглянуть на немногочисленные пока вещи кыргызского облика, опубликованные А. Н. Бернштамом,— пряжки, детали поясных наборов, лировидные подвески с сердцевидной прорезью — и считать их также кыргызскими[31]. Дата лировидных подвесок здесь устанавливается находкой их на городище Ак-Бешим в одном слое с тюргешскими монетами VIII—IX вв. и, что очень интересно, псалиями с головками горных козлов типа капчальских или уйбатских[32]. Если эти вещи сопоставимы, то, возможно, буддийский храм в Ак-Бешиме разрушили енисейские кыргызы, хотя, конечно, утверждать это с достаточной достоверностью нельзя. Во всяком случае, археологические материалы не противоречат гипотезе о широком расселении енисейских кыргызов в западном направлении именно в IX—X вв.

Картографирование всех археологических памятников, которые можно считать кыргызскими, показывает справедливость утверждения *Тан-шу* о том, что «Хягас было сильное государство; по пространству равнялось тукюеским владениям. На восток простиралось до Гулигани (Прибайкалье.— *Д. С.*), на юг до Тибета (в данном случае — Восточный Туркестан.— *Д. С.*),

---

[28] Д. Г. Савинов. Раскопки в Горном Алтае.— Археологические открытия 1972 г. М., 1973, с. 235—236.

[29] ГИМ, колл. 54660.

[30] Ф. Х. Арсланова. Курганы с трупосожжением в Верхнем Прииртышье.— Поиски и раскопки в Казахстане. А.-А., 1972, с. 56—76.

[31] Труды Семиреченской археологической экспедиции. «Чуйская долина». Под ред. А. Н. Бернштама. М.—Л., 1950 (МИА. № 14), табл. XLIV и сл.

[32] Л. Р. Кызласов. Археологические исследования на городище Ак-Бешим в 1953—1954 гг.— Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. Т. 2. М., 1959, с. 115—242, рис. 44—45.

на юго-запад до Гэлолу (территория между Алтаем и Тарбагатаем.— *Д. С.*)» [33].

Западными соседями енисейских кыргызов многие авторы арабских сочинений и дорожников называют кимаков, создавших в IX—X вв. свое государство на территории Казахстана и прилегающих к нему областей Западной и Южной Сибири [34]. Так же как и государство енисейских кыргызов, оно было сложным полиэтническим образованием и состояло из семи племен; наиболее крупными среди них были имак (йемек), ими (эймюр), байандур, татар и кыпчак [35]. Основным в кимакской федерации было тюркоязычное племя яньмо, очевидно одно из телеских племен, родственное чеби [36], которых обычно отождествляют с йемеками [37], по мнению Б. Е. Кумекова давшими название всему объединению — кимак. По данным письменных источников, территория расселения кимако-кыпчакских племен распространялась «приблизительно от юго-восточной части Южного Урала до Приаральских степей на западе, с земель Центрального Казахстана до северного Прибалхашья, включая часть территории северо-восточного Семиречья на юге, от Западного Алтая до Кулундинской степи на востоке и до лесостепной полосы на севере» [38]. Центр государства кимаков находился на Иртыше, куда из Средней Азии вели караванные пути, описанные в сочинениях Ибн Бахра, ал-Идриси и Гардизи [39]. Наиболее определенно в этом отношении сообщение Гардизи: «...приходят к реке Иртыш, где начинается страна кимаков... Переправившись через реку Иртыш, приходят к шатрам кимаков... В этой стране выпадает много снега; бывает, что толщина снежного покрова в степи достигает высоты копья. Зимой они уводят лошадей в отдаленную страну, в место Ӧк-Таг (очевидно, Монгольский Алтай.— *Д. С.*)» [40].

[33] Н. Я. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений, с. 354. Пояснения в скобках даны в соответствии с примечаниями на с. 347, 354.

[34] О. Караев. Арабские и персидские источники IX—X вв. о киргизах и Киргизии. Фрунзе, 1968; Б. Е. Кумеков. Государство кимаков по арабским источникам. А.-А., 1972.

[35] Б. Е. Кумеков. Государство кимаков, с. 32—40.

[36] Г. Е. Грумм-Гржимайло. Западная Монголия и Урянхайский край, с. 272.

[37] Ю. А. Зуев. Из древнетюркской этнонимики по китайским источникам (бома, гуй, яньмо).— Вопросы истории Казахстана и Восточного Туркестана. А.-А., 1962 (Тр. ИИАЭ им. Ч. Ч. Валиханова. Т. 15), с. 117—122; Б. Е. Кумеков. Государство кимаков, с. 39—41.

[38] Б. Е. Кумеков. Государство кимаков, с. 58.

[39] С. М. Ахинжанов. Древние караванные пути кимаков.— «Материалы I научной конференции молодых ученых АН Казахской ССР». А.-А., 1968, с. 429—430; Б. Е. Кумеков. Государство кимаков, с. 48—53.

[40] В. В. Бартольд. <Извлечение из сочинения Гардизи *Зайн ал-ахбāр*>. Приложение к «Отчету о поездке в Среднюю Азию с научною целью. 1893—1894 гг.».— Сочинения. Т. 8. М., 1973, с. 45.

На предполагаемой территории расселения кимакских племен памятники IX—X вв. лучше всего изучены в Восточном Казахстане, и кимакская принадлежность их здесь ни у кого из исследователей сомнения не вызывает [41]. Это позволяет использовать восточноказахстанские материалы при определении этнической принадлежности памятников того же времени других районов, так как ясно, что область расселения кимаков (в широком понимании этнонима) не ограничивалась Восточным Казахстаном.

Наибольший интерес в этом отношении представляют памятники сросткинской культуры IX—X вв., получившие название по известному Сросткинскому могильнику около г. Бийска. Честь открытия, определения хронологии и культурной принадлежности памятников сросткинской культуры принадлежит М. П. Грязнову. В 1930 г., собрав все известные к тому времени памятники типа Сросткинского могильника, М. П. Грязнов отметил, что в данном случае «мы имеем дело с культурой кочевников, очень сходной с культурой предшествующей эпохи». В сводной хронологической таблице вещи из Сросткинского могильника составили «III стадию железной культуры на Алтае» [42]. В работе 1950 г. эти же материалы фигурируют под названием «памятников сросткинского типа» [43], а в работе 1951 г.— сросткинской культуры IX—X вв. [44]. Обоснование этой датировки М. П. Грязнов дает на материале своих раскопок на Большой Речке (1956 г.) [45], а в 1960 г. он выделяет четыре локальных варианта сросткинской культуры: бийский, барнаульско-каменский, новосибирский и кемеровский. Эти районы, по мнению М. П. Грязнова, «соответствовали четырем племенным территориям» [46]. Позднее А. А. Гаврилова объединила памятники сросткинской культуры в группу «могил сросткинского типа»

---

[41] С. С. Черников. К изучению древней истории Восточного Казахстана.— КСИИМК. Вып. 69. 1957, с. 19—20; Е. И. Агеева, А. Г. Максимова. Отчет Павлодарской экспедиции 1955 года.— «Труды ИИАЭ АН КазССР». Т. 7. А.-А., 1959, с. 32—58; Ф. Х. Арсланова. Памятники Павлодарского Прииртышья (VII—XII вв.).— Новое в археологии Казахстана. А.-А., 1968, с. 98—111; Ф. Х. Арсланова, С. Г. Кляшторный. Руническая надпись на зеркале из Верхнего Прииртышья.— Тюркологический сборник. 1972. М., 1973, с. 306—315.

[42] М. П. Грязнов. Древние культуры Алтая.— «Сибириеведение». Новосибирск, 1930, № 3—4, с. 18—26.

[43] М. П. Грязнов. Из далекого прошлого Алтайского края. Барнаул, 1950, с. 15.

[44] М. П. Грязнов. Археологическое исследование территории одного древнего поселка.— КСИИМК. Вып. 11. 1951, с. 112.

[45] М. П. Грязнов. История древних племен верхней Оби.— МИА. № 48. 1956, с. 151.

[46] М. П. Грязнов. Археологические исследования на Оби в ложе водохранилища Новосибирской ГЭС.— Научная конференция по истории Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1960, с. 24.

VIII—X вв., распространенных, по ее мнению, от Забайкалья на востоке до Барабинской степи на западе и от Новосибирской области на севере до Тувы и Горного Алтая на юге. «Расположенные на весьма широкой территории,— отмечает А. А. Гаврилова,— вещи сросткинских типов говорят о распространении этой культуры у различных племен с разным обрядом погребений»[47].

Вопрос об этнической принадлежности сросткинской культуры решался в литературе по-разному. Первый исследователь этой культуры, М. П. Грязнов, писал, что «сросткинская культура на Алтае представляет собой продукт местного развития и что примерно в VIII в. население с этой культурой распространилось на север по лесостепным районам Оби»[48]. А. А. Гаврилова, наоборот, считает, что «эта культура сложилась вне Алтая. Распространение этой культуры связано, видимо, с политическими переменами — господством в степи, в том числе и на Алтае, уйгурских племен, нанесших поражение восточным тюркам в 745 г., а затем кыргызских, разгромивших уйгуров в 840 г.»[49]. Позднее А. А. Гаврилова определенно высказалась за уйгурскую принадлежность сросткинских памятников на Северном Алтае[50]. В некоторых других работах, посвященных конкретным сросткинским памятникам, подчеркивается древнетюркская основа этой культуры[51].

Наибольшее количество параллелей прослеживается между материалами восточноказахстанских и североалтайских (сросткинских) памятников. Не считая общераспространенных для этого времени типов предметов, в них присутствует и ряд специфических форм — костяные изогнутые псалии с «сапожком», костяные и бронзовые пряжки с острым носиком, изображения всадников с «нимбом», подвески в виде птиц и рыб, копоушки, длинные ременные наконечники, двусоставные застежки, различного рода украшения, выполненные в ажурном стиле с мотивами растительного орнамента, изображения птиц, стоящих друг против друга, и т. д. Такое сходство предметов сопроводительного инвентаря может рассматриваться только как свиде-

---

[47] А. А. Гаврилова. Могильник Кудыргэ, с. 66—72.

[48] М. П. Грязнов. История древних племен верхней Оби, с. 151.

[49] А. А. Гаврилова. Могильник Кудыргэ, с. 70—72.

[50] А. А. Гаврилова. Сверкающая чаша с Енисея (к вопросу о памятниках уйгуров в Саяно-Алтае).— «Древняя Сибирь». Вып. 4. Новосибирск, 1974, с. 177—183.

[51] А. П. Уманский. Археологические памятники у с. Иня.— «Известия Алтайского отдела ВГО СССР». Вып. 2. Барнаул, 1970, с. 72; М. Г. Елькин. Курганный могильник позднего железного века в долине р. Ур.— «Изв. Лаборатории археологических исследований». Вып. 2. Кемерово, 1970, с. 92.

тельство принадлежности погребений, в которых они были найдены, к одной археологической культуре.

Этому не противоречат и данные об особенностях погребального обряда, отмеченные в североалтайских и восточноказахстанских памятниках. Для них одинаково характерны восточная (с отклонениями к северу) ориентировка погребенных и подкурганные захоронения, одиночные и с конем. В Восточном Казахстане в основном преобладают погребения с конем, типологически близкие к горно-алтайским. Объясняется это, по-видимому, тем, что генетически те и другие одинаково восходили к телеским племенам, хоронившим своих покойников в сопровождении коня. В более северных районах широко распространяются одиночные грунтовые захоронения и коллективные усыпальницы с несколькими могильными ямами под одной курганной насыпью. Иногда в них сочетаются обряды трупоположения и трупосожжения в пределах одного комплекса. В Восточном Казахстане примером такого погребения может служить курган 146 Зевакинского могильника, где под одной насыпью располагались четыре могильные ямы [52]. На Северном Алтае в могильнике у с. Иня находилось до трех [53], на Большой Речке — до пяти [54], а в кургане 30 могильника Ур-Бедари — десять могильных ям с различными особенностями погребального обряда [55]. Сравнение инвентаря этих памятников со сросткинским инвентарем из Восточного Казахстана и Северного Алтая показывает как общие закономерности погребального ритуала у обитавшего здесь населения, так и его региональные отличия, что свидетельствует о полиэтническом характере культуры.

Близость сросткинской культуры и культуры кимаков косвенным образом подтверждается и данными палеоэтнографии. Предполагаемый культурно-хозяйственный тип населения сросткинской культуры можно определить как сочетание полуоседлого скотоводства, промыслового охотничье-рыболовного хозяйства и земледелия, которое носило подсобный характер [56]. Аналогичные формы хозяйства кимаков устанавливаются данными письменных источников. По Гардизи, например, кимаки «все владеют стадами коров и баранов... Предметы охоты кимаков — соболи и горностаи» [57]. Анонимный автор труда *Хӯдӯд ал- ʿа̄лам* сообщает, что «жители ее (страны кимаков.— *Д. С.*) селятся в шатрах и кочуют в поисках сухой травы, воды и зеленых лугов

---

52 Ф. Х. Арсланова, С. Г. Кляшторный. Руническая надпись на зеркале, с. 306—308.
53 А. П. Уманский. Археологические памятники у с. Иня, с. 45—62.
54 М. П. Грязнов. История древних племен верхней Оби, с. 145—150.
55 М. Г. Елькин. Курганный могильник, с. 81—92.
56 М. П. Грязнов. История древних племен верхней Оби, с. 151—152.
57 В. В. Бартольд. <Извлечение из сочинения Гардизи>, с. 45.

летом и зимой. Статьями их дохода являются соболь и овцы»[58]. Наряду с этим в других источниках указывается, что «их жилище среди зарослей и густых лесов», «они питаются рисом, мясом и рыбой. Рыбы у них много», и т. д.[59].

Предполагаемая идентификация сросткинской культуры и культуры исторических кимаков позволяет использовать данные о распространении памятников этой культуры для решения некоторых вопросов этнографии государства кимаков в IX—X вв. Памятники сросткинской культуры начинаются от верховий Иртыша, тянутся вдоль Западного Алтая и затем широко располагаются в приобских степях, т. е., если иметь в виду Алтайскую горную систему в целом, занимают западные и северные ее предгорья с прилегающими лесостепными районами (ср. сообщение Гардизи о том, что кимаки «живут в лесах, ущельях и степях»[60]). Крайним восточным пунктом распространения памятников сросткинской культуры является могильник Ур-Бедари в западных отрогах Кузнецкого Алатау[61], служившего, очевидно, этническим барьером между кимаками и енисейскими кыргызами в этой части Саяно-Алтая. Интересно, что в письменных источниках кимаки неоднократно называются в качестве не только западных, но и северных соседей кыргызов[62]. Именно в это время енисейские кыргызы включили в состав своего государства Туву и Горный Алтай и стали непосредственными соседями кимаков на Иртыше. В таком случае наиболее вероятным местом, где кимаки могли оказаться севернее кыргызов, мог быть только Северный Алтай, где и находится подавляющее количество сросткинских памятников. Возможность пребывания кимаков на Алтае еще раньше допускали некоторые исследователи. Так, В. В. Радлов писал о том, что «северную часть киргизской степи и самый Алтай занимали, вероятно, кеймаки»[63]. «В сочинениях восточных авторов,— отмечает Л. П. Потапов,— кимако-кыпчакские племена выступают как жители долины Иртыша и западно-сибирских степей. Они, конечно, обитали в горах Алтая, особенно Западного»[64].

Промежуточное положение между восточноказахстанскими и североалтайскими памятниками занимают погребения, исследованные в Алейской степи на Западном Алтае. В этническом отношении, по заключению В. А. Могильникова, это была «од-

---

[58] Материалы по истории киргизов и Киргизии. Вып. 1. М., 1973, с. 44.

[59] Б. Е. Кумеков. Государство кимаков, с. 92—94.

[60] В. В. Бартольд. <Извлечение из сочинения Гардизи>, с. 45.

[61] М. Г. Елькин. Курганный могильник, с. 81—92.

[62] Б. Е. Кумеков. Государство кимаков, с. 55—56; О. Караев. Арабские и персидские источники, с. 30—60.

[63] В. В. Радлов. К вопросу об уйгурах. СПб., 1893, с. 119.

[64] Л. П. Потапов. Очерк этногенеза южных алтайцев.— СЭ. 1952, № 3, с. 32.

на из групп тюркских племен, в культурно-этническом отношении близкая, хотя и не тождественная полностью, восточноказахстанским кимакам»[65]. На севере несомненно сросткинский компонент имеется в раннем комплексе Басандайки (г. Томск)[66]. В среднем Прииртышье близок к сросткинской культуре курган у дер. Соляное. По мнению авторов раскопок, «эти курганы характеризуют погребальные традиции кочевников-кимаков»[67]. Открытые около г. Ишима погребения Пахомовского могильника сылвенской культуры отличаются от сросткинских как по обряду захоронения, так и по составу сопроводительного инвентаря[68]. Видимо, где-то здесь проходила граница между тюркоязычными кимаками и более северными этнолингвистическими группами. На западе отдельные памятники сросткинской культуры доходят до Барабинской степи (Усть-Тартасский могильник)[69] и даже до Челябинской области (Синеглазово)[70]. О продвижении кимаков на юг свидетельствуют отдельные находки вещей сросткинского типа, в частности «У»-образных бляшек в Семиречье[71]. В целом область распространения памятников сросткинской культуры соответствует территории расселения кимако-кыпчакских племен по данным письменных источников. Вместе с тем археологические материалы вносят определенные коррективы в представления об этногеографии кимаков в IX—X вв. Очевидно, кимакскими следует считать достаточно густо населенные, судя по концентрации памятников, районы Северного и Западного Алтая, а к выделенным М. П. Грязновым локальным вариантам сросткинской культуры добавить восточноказахстанский и западноалтайский ареалы.

Одновременно из памятников «сросткинского типа», приведенных А. А. Гавриловой, надлежит исключить забайкальские и тувинские материалы, которые, скорее всего, относятся к культуре енисейских кыргызов. Вызывает также сомнение выделение горно-алтайского варианта сросткинской культуры. Многочисленные параллели с курганом 2 Копёнского чаа-таса, дата которого убедительно определена Б. И. Маршаком — не ранее

---

[65] В. А. Могильников. Археологические исследования на верхнем Алее.— Археология и краеведение Алтая. Барнаул, 1972, с. 42.

[66] «Басандайка». Сборник материалов и исследований по археологии Томской области. Томск, 1947, с. 187 и сл.

[67] В. Ф. Генинг и др. Памятники железного века в Омском Прииртышье.— Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. Томск, 1970, с. 225.

[68] В. Ф. Генинг, Б. Б. Овчинникова. Пахомовский могильник.— Вопросы археологии Урала. Вып. 8. Свердловск, 1969, с. 136—137.

[69] Архив ЛО ИА АН СССР, д. № 71, 1896 г.; Материал в ГИМ, колл. 36848.

[70] Архив ЛО ИА АН СССР, д. № 219, 1904 г.

[71] А. Г. Максимова. Средневековые погребения Семиречья.— Новое в археологии Казахстана. А.-А., 1968, с. 146—158, табл. III.

середины IX в., позволяют синхронизировать курайские и копенские материалы[72]. Погребения VIII—IX вв. в других местах Горного Алтая, по составу сопроводительного инвентаря мало похожие на сросткинские (Катанда II, к. 2 и др.)[73], относятся к той же культуре, что и Курай. По некоторым общим формам предметов памятники на Северном Алтае действительно трудно отличить от горно-алтайских, но объясняется это не столько их генетической преемственностью, сколько сосуществованием.

Вопрос о сложении сросткинской культуры пока так же неясен, как и вопрос о ранних этапах этнической истории кимаков. Несомненно, что определенную роль в обоих случаях сыграли уйгуры. Известно, что после 840 г. уйгуры, по выражению письменных источников, «рассеялись». При этом «третье колено поселилось в лесах на Иртыше, не разводило скот, а занималось рыболовством и охотой...»[74]. Б. Е. Кумеков связывает с распадением Уйгурского каганата появление в составе государства кимаков племен эймюр, байандур и татар, в результате чего «происходит сложение кимакской федерации в том составе, который приводит Гардизи»[75]. У Мас'уди упоминается этноним кимак-югур, который можно рассматривать как уйгурский компонент в этнокультурной общности кимаков[76]. Эти факты нельзя не сопоставить с некоторыми археологическими наблюдениями. А. А. Гаврилова была совершенно права, указывая аналогии сросткинскому поясу на уйгурских росписях Турфана[77]. К этому можно добавить сходство ланцетовидных и трехперых наконечников стрел, срединных накладок лука с расширенными концами из уйгурских катакомб в Туве и кимакских погребений в Восточном Казахстане, а также находки обломков «уйгурских ваз» на Иртыше, уже отмеченные Л. Р. Кызласовым[78].

Можно наметить определенную преемственность между основными событиями в истории народов Саяно-Алтая в конце I тысячелетия н. э.: победа енисейских кыргызов над уйгурами привела к широкому расселению тех и других; некоторые племена, прежде входившие в Уйгурский каганат, влились в состав кимакской федерации. Это привело к окончательному оформлению кимако-кыпчакской общности. В результате на севере Центральной Азии сложились два крупных этнополитических объединения — енисейских кыргызов и кимаков — с общей гра-

[72] Б. И. Маршак. Согдийское серебро. М., 1971, с. 54—58.
[73] А. А. Гаврилова. Могильник Кудыргэ, рис. 9, 10.
[74] В. В. Радлов. К вопросу об уйгурах, с. 55.
[75] Б. Е. Кумеков. Государство кимаков, с. 114.
[76] Там же, с. 39.
[77] А. А. Гаврилова. Могильник Кудыргэ, с. 72.
[78] Л. Р. Кызласов. История Тувы в средние века, с. 74—76.

ницей на Иртыше. Последнее обстоятельство важно в источниковедческом отношении: сведения арабских авторов о кимаках дополняются данными китайских хроник о кыргызах и тем самым территория Южной Сибири оказывается заключенной между двумя центрами древнейшей письменной историографии.

Вопрос о характере взаимоотношений между енисейскими кыргызами и кимаками практически остается неисследованным. Единственная работа по этому поводу, очень интересная с точки зрения постановки проблемы, принадлежит К. И. Петрову[79]. Известно, что из столицы кимаков на Иртыше в ставку кыргызского кагана на Енисее шел торговый путь, однако, замечает В. В. Бартольд, «был ли торговый путь из страны кимаков в страну киргизов как продолжение пути из областей ислама к кимакам и каковы вообще были отношения между этими двумя народами, совершенно неизвестно»[80]. В Среднюю Азию «главным предметом ввоза от этих обоих народов был мускус»[81], а также предметы пушного промысла, которые кыргызы и кимаки, скорее всего, собирали в качестве дани с подвластных им племен.

Уже многим исследователям бросалось в глаза сходство между основными формами предметов сопроводительного инвентаря из погребений типа сросткинских и погребений енисейских кыргызов. Первым это отметил С. В. Киселев, который писал, что «уздечные и поясные наборы Тюхтятского клада совершенно аналогичны украшениям, обнаруженным в погребениях IX—X вв. сросткинских курганов Северного Алтая... Очевидно, в IX—X вв. по всему Саяно-Алтайскому нагорью распространяется новая мода на вещи тюхтятско-сросткинских типов»[82]. Идея, высказанная С. В. Киселевым, была поддержана другими исследователями. Так, К. И. Петров пишет, что «инвентарь погребений в известном кургане (?) близ с. Сростки на реке Катуни, будучи связан с древними местными алтайскими традициями, резко отличающимися от приенисейских, вместе с тем имеет ряд характерных черт более развитой материальной культуры енисейских кыргызов»[83]. Влияние культуры енисейских кыргызов отразилось на декоративном оформлении горно-алтайских, в частности курайских, предметных серий. «Не менее ярко,— по заключению Т. Н. Троицкой,— прослеживается в это

[79] К. И. Петров. Киргизско-кыпчакские отношения.— ИАН КиргССР. Т. 3. Вып. 2. 1961, с. 81—105.

[80] В. В. Бартольд. Киргизы, с. 493.

[81] В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана.— Сочинения. Т. 2. Ч. 1. М., 1963, с. 242.

[82] С. В. Киселев. Краткий очерк древней истории хакасов. Абакан, 1951, с. 56.

[83] К. И. Петров. Очерк происхождения киргизского народа. Фрунзе, 1963, с. 50.

время влияние культуры кыргызов и, возможно, проникновение их на берега Оби»[84]. В Восточном Казахстане кимакские и кыргызские погребения IX—X вв. расположены не только на одной территории, но и в пределах одних и тех же могильников[85]. Публикуя материалы Бобровского могильника, Ф. Х. Арсланова отмечала, что «единство форм и основных элементов орнамента на бобровских подвесках и сросткинских бляхах, а также близость к орнаменту на предметах енисейских кыргызов позволяют говорить о происшедшем, по-видимому, взаимовлиянии этих племен»[86]. По мнению Ф. Х. Арслановой, «они являются отражением политических связей кимако-кыпчакских племен с отдельными племенами древнехакасского государства»[87].

Вопрос о характере связей между племенами, входившими в состав государственных объединений енисейских кыргызов и кимаков, можно рассматривать в нескольких связанных между собой аспектах: по линии погребального обряда, общности форм предметов сопроводительного инвентаря и совпадения некоторых черт этнографического облика населения, отмеченных письменными источниками.

Известно, что в курганах Копёнского и Уйбатского чаа-тасов — классических примерах кыргызского трупосожжения — были найдены отдельные кости людей и животных[88]. Под одной насыпью здесь находилось несколько захоронений (в Копёнах — от одного до трех) со смешанным обрядом захоронения. В большинстве могил были найдены человеческие кости, которые могут быть только остатками трупоположений. При этом А. А. Гаврилова убедительно показала, что так называемые «тайники» на самом деле являются сопроводительным инвентарем погребений с трупосожжениями: вещи из «тайников», как правило, побывали в огне погребального костра, в Копёнах найдены горшочки с остатками трупосожжений, а в кургане 6 остатки сожжения находились на каменной плитке, покрывавшей «тайник»[89]. Такое сочетание различных норм погребального обряда в пре-

---

[84] Т. Н. Троицкая. Об этногенезе племен лесостепного Приобья в конце I тыс. н. э.— Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1973, с. 183—185.

[85] Ф. Х. Арсланова. Погребения тюркского времени в Восточном Казахстане.— Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана. А.-А., 1969, с. 47—48; она же. Курганы с трупосожжением, с. 56—76.

[86] Ф. Х. Арсланова. Бобровский могильник.— ИАН КазССР. Вып. 4, 1963, с. 80.

[87] Ф. Х. Арсланова. Курганы с трупосожжением, с. 76.

[88] Л. А. Евтюхова. К вопросу о каменных курганах на Енисее.— «Труды ГИМ». Вып. 8. 1939, с. 118—120; Л. А. Евтюхова, С. В. Киселев. Чаа-тас у с. Копёны.— «Труды ГИМ». Вып. 11. 1940, с. 21—54.

[89] А. А. Гаврилова. Могильник Кудыргэ, с. 65—66.

делах одного комплекса становится понятным при сравнении с памятниками сросткинской культуры, где оно является обычным, особенно в северных районах ее распространения.

Для культуры енисейских кыргызов IX—X вв. наиболее характерны стремена с петельчатой дужкой и прорезной подножкой, витые удила с «8»-образными окончаниями звеньев, расположенными в разных плоскостях с «S»-образными псалиями. В наборе наконечников стрел иногда встречаются плоские ромбические, чаще трехперые с пирамидально оформленной верхней частью наконечники с прорезями в лопастях. Из украшений следует отметить тройники круглые и «Т»-образные с вырезными лопастями, высокие накладные бляхи, лировидные подвески с сердцевидной прорезью, зажимы для кистей, сердцевидные подвески с колокольчиком-личиной посередине и т. д. Большинство предметов из кыргызских погребений имеет развитую систему растительной орнаментации. В общем этот же набор предметов повторяется и в сросткинских памятниках по всей территории их распространения, но в несколько ином оформлении. Здесь преобладают плоские ромбические наконечники стрел; трехперые с пирамидально оформленной верхней частью также встречаются, но в отличие от кыргызских они не имеют прорезей в лопастях. Стремена с петельчатой дужкой более массивны. Сросткинские удила употреблялись с костяными псалиями, представляющими вариант «S»-образных, но внешние кольца удил здесь чаще расположены в одной плоскости, а не в перпендикулярных, как у енисейских кыргызов. У сросткинских сердцевидных подвесок с колокольчиком-личиной край волнистый, поле вокруг личины гладкое, а орнамент в виде трилистников располагается только по краю. Кыргызские сердцевидные подвески с личинами крупнее, преимущественно с ровным краем и сплошь покрыты растительным орнаментом. Тройники в сросткинских памятниках также «Т»-образные, но в отличие от кыргызских — плоские. Лировидные подвески встречаются редко и имеют не сердцевидные, а круглые прорези. Наряду с растительным орнаментом часто используются мотивы геометрического орнамента и т. д. Приведенных примеров достаточно, чтобы говорить о том, что, несмотря на особенности оформления отдельных предметов сопроводительного инвентаря, материальный комплекс культуры енисейских кыргызов и сросткинской культуры существенно не отличаются друг от друга. Варьируют в основном элементы декоративного порядка, при одинаковом или близком конструктивном решении предметов. В известной степени можно говорить о двух вариантах культуры IX—X вв. в Южной Сибири — кыргызском и сросткинском, развивающихся параллельно и в несомненном взаимодействии (см. табл.).

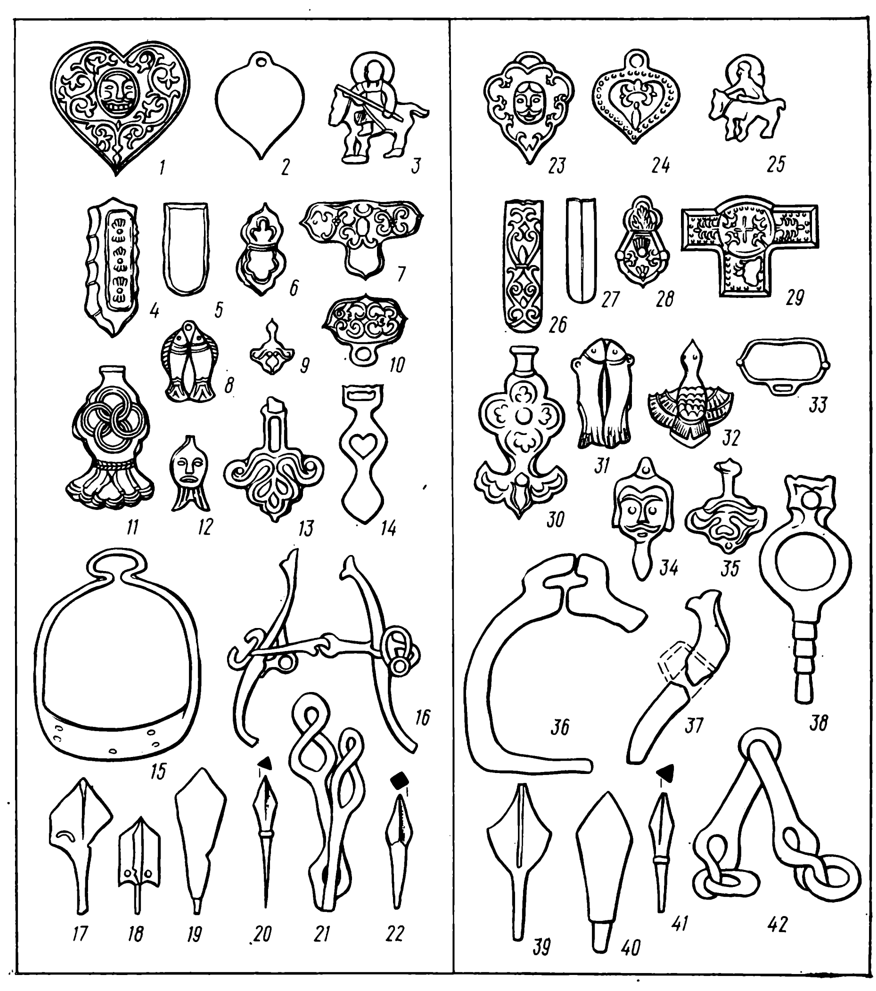


Таблица. Некоторые общие типы предметов культуры IX—X вв. 1—22— кыргызский вариант, 23—42 — сросткинский вариант. 1, 3, 4, 8, 12, 13 — Минусинский Музей (по Д. А. Клеменцу); 9 — Минусинский Музей (по В. П. Левашовой); 2, 5, 16 — Капчалы I (по Л. А. Евтюховой); 6 — Ладейское (Красноярский Музей, колл. 175); 7, 10, 11, 17, 19, 20, 22 — Тора-Тал-Арты (по Л. Г. Нечаевой); 14, 15 — Шанчиг (по Л. Р. Кызласову); 18 — ст. Минусинск (по Р. В. Николаеву); 21 — Элегест (по Л. Р. Кызласову); 24 — Усть-Большая Речка (Бийский Музей, колл. 843); 23, 25—29, 33, 34, 36, 37, 39, 42 — Сросткинский могильник (23, 28, 29, 34 — Бийский Музей, колл. 849; 25 — по А. Захарову и В. Арендту; 26, 27, 33, 36, 37, 39, 42 — по А. А. Гавриловой); 30 — Ур-Бедари (по М. Г. Елькину); 31, 32 — вещи, найденные «между Обью и Иртышом» (по Г. Ф. Миллеру); 35 — Басандайка; 38 — Орловский могильник (по Ф. Х. Арслановой); 40, 41 — Иня (по А. Кузнецовой).

В конце X в. сросткинская культура заканчивает свое существование. Одновременно со страниц письменной истории исчезает имя кимаков как названия государственного объединения. С отпадением кыпчакского ареала кимакский союз распался на несколько самостоятельных областей — Андар аз кыфчак, Йагсун-йасу, Кыркырхан[90]. Из них Андар аз кыфчак — «область кимаков, где жители напоминают гузов некоторыми своими обычаями», а Кыркырхан — «еще одна область, принадлежащая кимакам, и жители ее напоминают по своим обычаям хырхызов»[91]. По мнению Б. Е. Кумекова, Кыркырхан — это район, который «находился гораздо ближе к каким-то группам кыргызов, чем к другим тюркским племенам»[92]. К. И. Петров помещает эту область «на границе с владениями енисейских киргиз — примерно в верховьях Оби, при слиянии Бии и Катуни», а местное население называет приобскими или «периферийными кыргызами»[93]. По Рашид ад-дину, урасуты, теленгуты и куштеми «обитают по лесам в пределах страны киргизов и кэм-кэмджиутов», а затем оказываются «по ту сторону киргизов на расстоянии одного месяца пути»[94], вероятно, от места своего первоначального обитания. О племени кесим (те же куштеми) в другом источнике говорится, что «это один из хырхызских народов, их речь ближе халусской, а по одежде они напоминают кимаков»[95]. Сообщения о том, что жители кимакской области Кыркырхан по своим обычаям близки к енисейским кыргызам, а подчиненные енисейским кыргызам куштеми по одежде напоминают кимаков, можно рассматривать как свидетельство определенных ассимилятивных процессов, происходивших в Южной Сибири на рубеже I и II тысячелетий н. э.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АО — Археологические открытия
ВАУ — Вопросы археологии Урала. Свердловск
Изв. СО АН — Известия Сибирского отделения АН СССР
НКИСДВ — Научная конференция по истории Сибири и Дальнего Востока
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа
Тр. ИИАЭ — Труды Института истории, археологии и этнографии

---

[90] Б. Е. Кумеков. Государство кимаков, с. 65—66.
[91] Материалы по истории киргизов и Киргизии, с. 44.
[92] Б. Е. Кумеков. Государство кимаков, с. 66.
[93] К. И. Петров. Очерк происхождения киргизского народа, с. 50, 64.
[94] Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 1. М.—Л., 1952, с. 123.
[95] Материалы по истории киргизов и Киргизии, с. 42.

И. В. Стеблева

ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ НОРМЫ В ГАЗЕЛИ БАБУРА

В «Бабур-наме» в рассказе о событиях зимы 912 г.х. (1506—1507 гг.) Захираддин Мухаммад Бабур сообщает о сочинении следующего стиха (букв. маṭла‘):

چرخ نینک مین کورماکان جور و جفاسی قالدیمو
خسته کونکلوم چیکماکان درد و بلاسی قالدیمو[1]

«Остались ли [еще] обиды и притеснения судьбы (небосвода),
которых я бы не испытал?
Остались ли [еще] горе и несчастье, которых не перенесло бы
мое измученное сердце?»

Бейт написан метром рамал-и мус̱амман-и маḫз̱ӯф по формуле:

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

— ⌣ — | — — ⌣ — | — — ⌣ — | — — ⌣ —

В бейте рифмуются слова: جفاسی — بلاسی, слово قالدیمو является редифом. Оба полустишия содержат поэтическую фигуру мура̄‘а̄т ан-наз̣ӣр (букв. парная симметрия), т. е. употребление в бейте однородных предметов или понятий, близких по смыслу: جور و جفاسی («обиды и притеснения») в первом полустишии и درد و بلاسی («горе и несчастье») во втором полустишии.

Каждое полустишие бейта представляет собой законченное предложение в форме риторического вопроса. Все смыс-

---

[1] Бабер-намэ или Записки Султана Бабера. Изданы в подлинном тексте Н. И[льминским]. Казань, 1857, с. ٢٤٤.

ловые сегменты обоих полустиший строго параллельны друг другу. Делается это следующим образом. Риторический вопрос помещается в редиф (قالدیمو «остались ли»), который, согласно правилам поэтики, должен иметь одинаковое смысловое значение и одинаковый звуковой состав (при равнозначной ритмической позиции) на протяжении всей поэтической формы. Поставив риторический вопрос в редиф, Бабур сделал его (редиф) важным смысловым элементом, связующим бейт в семантическом и звуковом отношениях. Основная смысловая нагрузка в обоих предложениях лежит на рифмующихся словах, следовательно, в рифме участвуют не случайные подобозвучащие слова, а слова, соотнесенные семантически. Смысловое значение рифмующихся слов усилено употреблением в каждом полустишии в ритмически эквивалентной позиции поэтической фигуры мура̄ʿа̄т ан-наз̣ӣр, т. е. добавлением слов, близких по значению: درد و بلاسی — جور و جفاسی («обиды и притеснения» — «горе и несчастье»). Поскольку оба предложения представляют собой однотипные синтаксические конструкции, им присущ параллелизм грамматических форм между парно соотнесенными частями первого и второго полустиший, обладающими также ритмической эквивалентностью: چیکماکان — کورماکان («которых [я] бы не испытал» — «которых не перенесло бы»). Следовательно, изометрические части полустиший образуют соотнесенные в фонетическом отношении пары слов, причем степень звукового подобия убывает от концов предложений (редиф, рифма) к их началам. Наименьшая фонетическая тождественность характерна для первых смысловых сегментов обоих полустиший, хотя и здесь сохраняется смысловая параллель: مین — خسته کونکلوم («я» — «мое измученное сердце»). Наконец, в самом начале бейта стоит слово چرخ‌نینك («небосвода, судьбы»), которое грамматически является определением к рифмующимся словам с их добавочной нагрузкой (в виде поэтических фигур). Таким образом в коротком бейте Бабур использовал все виды поэтической эквивалентности: синтаксическую, грамматическую, фонологическую, ритмическую, достигнув эвфонической и ритмической соотнесенности обоих полустиший. При этом следует подчеркнуть, что все разнообразные элементы эвфонии подчинены семантике бейта.

На содержательную сторону интересующего нас стиха заставляет обратить внимание и то место, которое уделено ему в «Бабур-наме». Упоминание об этом бейте содержится среди подробного описания перехода Бабура с отрядом из Герата в Кабул зимой 912 г. х. Из Герата Бабур вышел 7 шаʿбана (23 декабря 1506 г.), поход продолжался по рамазан (15 января —

13 февраля 1507 г.). Как сообщает Бабур, переход из Герата в Кабул зимой был вынужденным и связан с большими трудностями из-за обилия снега, бездорожья и малоизвестной местности, по которой продвигался отряд. Снега было так много, что он оказывался выше стремян, а ноги коней зачастую не доставали до земли. По настоянию одного из своих приближенных Бабур решил идти более короткой, но менее известной и трудной дорогой. Проводник сбился с пути, и Бабуру в конце концов пришлось вернуться и ожидать новых проводников, за которыми были посланы его люди. Проводников не оказалось, и тогда, положившись на милость бога, Бабур с войском снова двинулся вперед той же дорогой. «В эти несколько дней,— пишет Бабур,— было испытано много тревог и мучений, столько, сколько не было испытано за всю жизнь»[2]. Далее следует указание: «*По этому поводу* (курсив мой.— *И. С.*) сказан такой стих (матла')»[3] — и приводится уже известный нам бейт. После этого Бабур снова возвращается к описанию похода. Чтобы расчистить дорогу, сам Бабур и около двадцати его приближенных и нукеров по очереди шли впереди отряда и утаптывали снег, проваливаясь в него по пояс или по грудь. Затем вслед за людьми протаскивали одну за другой их лошадей, которые тоже проваливались в снег по стремена или по брюхо. Остальной отряд продвигался вперед по этой расчищенной и утоптанной дороге. Таким способом Бабур с отрядом шел около недели, пока его не остановила сильная метель. После подробного описания борьбы с метелью Бабур рассказывает о том, как они снова двинулись вперед, утаптывая снег, достигли перевала и спустились в долину. Той же ночью ударил сильный мороз, и несколько его людей сильно поморозились. Глубокий снег, затруднявший движение отряда, и жестокий холод были почти на всем протяжении пути до Кабула. «За всю жизнь редко приходилось видеть такой холод»[4],— пишет Бабур.

Эти сведения из «Бабур-наме» со всей очевидностью показывают, что жалобы на «обиды и притеснения судьбы», «горе и несчастье», которые перенесло «измученное сердце», в приведенном бейте вполне обоснованны и реальны. Помимо эпизода перехода из Герата в Кабул через заснеженную местность здесь можно видеть также отражение настроений Бабура, связанных с другими превратностями его судьбы: многолетней борьбой за сохранение власти в отцовском уделе, войнами с Шейбани-ханом, завоевательными походами (бейт написан после покорения Афганистана в 1504 г.).

---

[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Там же, с. ۲۵۰.

Обращает на себя внимание тот факт, что Бабур, упоминая об этом бейте, называет его матла' (начальный бейт газели), хотя не сообщает о написании самой газели. В парижской рукописи Дивана Бабура, изданной А. Н. Самойловичем, обнаруживается газель, имеющая этот начальный бейт[5]:

جرخ‌نینك مین کورماکان جور و جفاسی قالدیمو
خسته کونکلوم جیکماکان درد و بلاسی قالدیمو
مینی خوار ایتی وقیلدی مدّعی‌نی[6] پرورش
دهر دون‌پرورنینك[7] اوزکا مدعاسی[8] قالدیمو
مینی اولتوردی جفا و جور بیرله اول قویاش
ایمدی تیرکوزماك اوجون مهر و وفاسی قالدیمو
عاشق اولغاج کوردوم اولومنی اوزومکا ای رفیق
اوزکا کونکلوم‌نینك بو عالم‌دا هراسی قالدیمو
ای کونکول کر بابر اول عالم‌نی ایستار قیلما عیب
تینکری اوجون دی بو عالم‌نینك صفاسی قالدیمو

(1) Остались ли [еще] обиды и притеснения судьбы (небосвода),
которых я бы не испытал?
Остались ли [еще] горе и несчастье, которых не перенесло бы
мое измученное сердце?
(2) Меня унизила, а соперника (противника) взлелеяла.
Остались ли [еще] другие притязания у покровительствующего
злу времени?
(3) Это солнце меня убило притеснениями и обидами.
Остались ли [еще] у него любовь и верность, чтобы оживить
меня теперь?
(4) О друг, с тех пор как я стал влюбленным, я узрел для себя смерть.
Остались ли [еще] в этом мире другие тревоги для моего сердца?

(5) О сердце, не укоряй, что Бабур жаждет того мира,
[ибо] осталась ли [еще] радость в этом мире, скажи, ради бога!

---

[5] А. Н. Самойлович. Собрание стихотворений императора Бабура. Пг., 1917, с. ٢١, № ٤٧ . Текст газели, приведенный ниже по этому изданию, дается с поправками, учитывающими издание М. Ф. Кёпрюлю по рукописи Стамбульского университета («بابر شاه» لك شعرلری ، — ملی تتبعلر مجموعه‌سی ، استانبول ، ١٣٣١ ، جلد: ١ ، صایی: ٢ ، ص ٢٤٦) и по рукописи «Трактата об арузе» (З а х ӣ р а д - Д ӣ н М у х̣ а м м а д Б а̄ б у р. Трактат об 'арӯзе. Факсимиле рукописи. Издание текста, вступительная статья и указатели И. В. Стеблевой. М., 1972, с. ٢٦٦ л. 130б).

[6] Самойлович: مدّعی‌غا

[7] Самойлович: دون‌پرورنی

[8] Кёпрюлю: ادعاسی.

Как видно из текста, газель состоит из пяти бейтов, написана тем же размером, что и бейт, приведенный в «Бабур-наме», имеет тот же редиф. В рифму в соответствии с рифмующимися словами начального бейта добавлены слова: مدعاسی — صفاسی — هراسی — وفاسی.

Согласно традиции лирического жанра темой газели являются перипетии любовных переживаний лирического героя. Логическая модель текста газели предполагает реализацию основной оппозиции: *я — красавица (возлюбленная)*, которая в той или иной газели может иметь конкретизацию: *я — ты, я — она*. В силу жесткости требований средневековой поэтики данная газель также должна была соответствовать нормативам построения произведения в традиционном жанре. Поэтому смысловое содержание бейта, приведенного в «Бабур-наме», чтобы стать уместным в газели, должно было получить соответствующие развитие и переосмысление. Выявить их представляется интересным как в целях анализа предполагаемого хода художественного творчества автора, так и в более общих целях исследования автоматизированной традицией взаимной связи лирической темы и жанра.

Мотив обиды лирического героя прослеживается во всех пяти бейтах газели и является семантическим инвариантом данного текста. Определение его места в структуре газели не представляет труда, так как Бабур сознательно прибегнул к необходимым приемам поэтической техники и акцентировал этот мотив с помощью риторического вопроса в редифе:

«Остались ли [еще] обиды и притеснения судьбы (небосвода), которых я бы не испытал?» (первое полустишие бейта 1):

«Остались ли [еще] горе и несчастье, которых не перенесло бы мое измученное сердце?» (второе полустишие бейта 1);

«Остались ли [еще] другие притязания у покровительствующего злу времени?» (второе полустишие бейта 2);

«Остались ли [еще] у него любовь и верность, чтобы оживить меня теперь?» (второе полустишие бейта 3);

«Остались ли [еще] в этом мире другие тревоги для моего сердца?» (второе полустишие бейта 4);

«... осталась ли [еще] радость в этом мире, скажи, ради бога!» (второе полустишие бейта 5).

Появившись в матла', мотив обиды в дальнейшем связал весь текст газели в единое целое. Однако если в первом бейте герой обижен жестокостью судьбы, то во втором бейте мы находим вариантное отклонение: герой обижен жестокостью красавицы (возлюбленной), что следует из сказанного в первом полустишии бейта: «Меня унизила, а соперника (противника) взлелеяла». Вместе с тем употребление антитезы «я — соперник

(противник)» без конкретизирующего ситуацию указания на идеал любви делает это полустишие двузначным, так как можно считать, что и здесь речь идет о несправедливой судьбе или о «покровительствующем злу времени» (второе полустишие бейта 2).

Первое упоминание об идеале любви, дающее возможность проявиться в данной газели основной оппозиции: *я — красавица (возлюбленная)*, конкретизированной в противопоставлении: *я — она*, появляется только в третьем бейте: «Это солнце меня убило притеснениями и обидами» (первое полустишие), где اول قویاش («это солнце») — метафорическое обозначение красавицы (поэтическая фигура исти'āра — метафора). Чтобы указать на то, что лирический герой газели озабочен именно взаимоотношениями с возлюбленной, и тем самым нивелировать самостоятельное смысловое значение начального бейта (матла'), Бабур в обоих полустишиях третьего бейта снова употребляет, так же как в матла', поэтическую фигуру мурā'āт анназӣр (парная симметрия). При этом осуществляется двойная параллель между первым полустишием первого бейта: جور و جفا («обиды и притеснения») и первым полустишием третьего бейта: جفا و جور («притеснения и обиды») и вторым полустишием первого бейта: درد و بلاسی («горе и несчастье») и вторым полустишием третьего бейта: مهر و وفاسی («любовь и верность»). Реализовав необходимую по традиции для жанра газели основную оппозицию: *я — красавица (возлюбленная)* и осуществив смысловой скреп третьего бейта с первым в целях указания на ее главенствующее значение в газели, Бабур одновременно с этим добился эффекта обратной связи. Благодаря эквивалентности поэтической структуры обоих полустиший начального бейта второму полустишию третьего бейта риторический вопрос, адресованный «этому солнцу»: «Остались ли [еще] у него любовь и верность, чтобы оживить меня теперь?», воспринимается и как соотнесенный с «покровительствующим злу временем» во втором бейте и с жестокой, несправедливой «судьбой (небосводом)» в первом бейте. Следовательно, смысловое значение начального бейта, не исключая возможности реализации основной оппозиции текста, оказывает подавляющее влияние на восприятие содержания исследуемых бейтов.

Логический ход мысли автора, направленной на последовательное раскрытие темы газели, приводит к необходимости создания высшей точки смыслового напряжения газели в плане реализации основной оппозиции текста. Поэтому в четвертом бейте впервые снимается двузначность смысла, которую мы видели в двух предыдущих бейтах. Сказав о смертельной влюбленности лирического героя в первом полустишии

бейта: «О друг, с тех пор как я стал влюбленным, я узрел для себя смерть», Бабур полностью связал это полустишие со вторым указанием на то, что «другим тревогам» для сердца героя уже нет места: «Остались ли [еще] в этом мире другие тревоги для моего сердца?» Таким образом, четвертый бейт газели целиком подчинен необходимости реализации основной оппозиции жанра газели: *я — красавица (возлюбленная)*.

Пятый, последний бейт газели завершает логический ход мысли автора и показывает невозможность разрешения основной оппозиции текста, выразившуюся в приятии лирическим героем своей участи: «О сердце, не укоряй, что Бабур жаждет того мира...» (первое полустишие), одновременно с этим второе полустишие газели снова возвращает нас к мотиву обиды героя на жестокую судьбу: «...[ибо] осталась ли [еще] радость в этом мире, скажи, ради бога!» Употребив в пятом бейте антитезу «тот мир — этот мир», Бабур поставил его в связь с четвертым бейтом, где говорится о возможности смерти героя от любовных страданий. Вне этой связи содержание бейта воспринимается как соотнесенное с первым, начальным бейтом газели. Таким образом пятому бейту была возвращена двузначность смысла, утраченная в четвертом бейте.

На основании сказанного легко убедиться в том, что мотив обиды героя, являющийся семантическим инвариантом текста, содержится в обоих полустишиях начального бейта (маṭла‘) и затем во всех вторых полустишиях. Первые полустишия второго, третьего, четвертого и пятого бейтов непосредственно посвящены раскрытию темы взаимоотношений лирического героя со своей избранницей, осуществленному последовательно от бейта к бейту: (она) меня унизила (бейт 2) — (она) меня убила притеснениями и обидами (бейт 3) — став влюбленным, я сам увидел свою смерть (бейт 4) — я сам жажду того мира (бейт 5).

Семантический анализ газели Бабура, установление соотношения всех смысловых элементов текста приводят к выводу, что традиционная тема любовных переживаний лирического героя в данной газели Бабура абсолютно условна и подавляется мотивом обиды героя на свою трудную судьбу. Необходимо сказать, что жалобы на этот мир, это время, эту эпоху, судьбу (небосвод) также традиционны для жанра газели, но обычно они подаются сквозь призму взаимоотношений лирического героя со своей возлюбленной и не имеют самостоятельного значения. В данной же газели произошло включение основной оппозиции жанра газели: *я — красавица (возлюбленная)* в более широкую оппозицию: *я — мир*.

Таким образом, на примере анализируемой газели можно увидеть, как поэт, стараясь тематически следовать правилам традиционной поэтики, нарушение которых воспринималось бы

как недостаток произведения, попытался сказать нечто большее, чем требовалось в канонически построенной газели. Конечно, мы не знаем, была ли написана эта газель сразу после начального бейта (маṭла'), упомянутого в «Бабур-наме», содержание которого имело под собой совершенно реальную почву, или по прошествии какого-то времени. В любом случае кажется безусловно очевидным, что при создании данной газели Бабуром владели чувства, пережитые им во время перехода из Герата в Кабул зимой 912 г. х. (1506—1507). Впечатления от этого перехода или память о нем оказались настолько сильны, что подчинили себе раскрытие традиционной темы в газели. Упоминание Бабуром начального бейта (маṭла') в соответствующем месте «Бабур-наме» дало редкую возможность заглянуть в глубины эмоциональных связей канонически построенного произведения с реальной жизнью.

Т. И. Султанов

ПИСЬМА ЗОЛОТООРДЫНСКИХ ХАНОВ

Жалованные грамоты золотоордынских ханов стали известны науке двести с лишним лет назад. В деле их издания, перевода и истолкования трудных для понимания мест особенно много сделано русскими и советскими исследователями[1]. Иначе обстоит дело с изучением их писем (битиков). Из дошедших до нас на языке оригинала четырех писем золотоордынских ханов — письма Токтамыш-хана Ягайле, Улуг-Мухаммада турецкому султану Мураду II, Махмуд-хана турецкому султану Мехмеду Фатиху, Ахмад-хана Мехмеду Фатиху — три последних были введены в научный оборот лишь в конце 30-х годов нынешнего столетия турецкими учеными. В нашей научной литературе эти письма использованы еще недостаточно полно; между тем они представляют собой интерес во многих отношениях.

По своему содержанию письма являются важными историческими источниками, имеющими большое значение для правильного понимания событий политической истории, установления точных дат и т. п. Научная значимость писем определяется и тем, что в них излагается точка зрения хана-адресанта на происшедшие события, и, таким образом, они удачно противопоставляются красочно длинным рассказам средневековых историков.

Несомненный интерес представляют тексты писем с точки зрения языка. Здесь отметим только, что довольно простой, изобилующий архаизмами тюркский язык первых двух писем противостоит вычурной арабо-персидской лексике двух последних, также составленных на тюркском языке.

Наконец, письма являются ценными источниками по золотоордынской дипломатике и сфрагистике — проблеме, во всех

---

[1] Библиографию вопроса см.: А. П. Григорьев. «Вышняя троица» в ярлыке золотоордынского хана Мöнгке-Темюра.— Востоковедение, 1. К 70-летию проф. В. И. Беляева. Изд-во ЛГУ, 1974 (Ученые записки ЛГУ. № 374. Серия востоковедческих наук. Вып. 17), с. 188—200.

ее деталях не исследованной и не освещенной в научной литературе.

Учитывая эти обстоятельства, мы приводим в настоящей работе описание, историю изучения всех четырех документов и перевод на русский язык двух из них с комментариями.

I. ПИСЬМО ТОКТАМЫШ-ХАНА ПОЛЬСКОМУ КОРОЛЮ ЯГАЙЛЕ (сокр. ПТ)

Подлинник; написан уйгурским письмом на так называемом чагатайском языке на двух листах лощеной бумаги, из которых первый длиною 39,6 см, второй — 41,8 см; ширина того и другого — 19,8 см. На обоих листах имеется знак бычьей головы. Текст письма написан чернилами на лицевой стороне каждого листа. Всего в документе 25 строк, из них 13 — на первом листе и 12 — на втором. Первая строка (*Toqtamïš sözüm*) и первое слово шестой строки первого листа (*bizgä*), равно как начало первой (=14-й) (*Täŋri bizni jarlïγap*) и шестой (=18-й) строк (*bizgä*) второго листа, написаны золотом. Три строки (3—5), следующие после упоминания имени адресата, сдвинуты «вниз» (влево). В начале письма, с правой стороны, рядом с третьей, четвертой и пятой строками виден золотой оттиск четырехугольной печати 6×6 см, состоящей из двух квадратов, один внутри другого, с текстом на арабском языке куфическим шрифтом — во внутреннем квадрате: «Султан правосудный Токтамыш»; во внешнем: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад посланник Аллаха. Да благословит его Аллах и да приветствует его»[2]. Написано в год курицы, 8 раджаба 795/20 мая 1393 г.

Письмо было обнаружено в 1834 г. К. М. Оболенским в главном архиве Министерства иностранных дел в числе бумаг, «находившихся некогда в Краковском коронном архиве и бывших в руках польского историка Нарушевича»[3]. Разбором этого документа и его разъяснением с разной степенью участия занимались крупные отечественные и зарубежные востоковеды (Х. М. Френ, В. В. Григорьев, О. М. Ковалевский, А. К. Казем-Бек, И. Н. Березин, Д. Банзаров, Дж. Хаммер-Пургшталь и др.). Существует несколько вариантов перевода письма на русский язык, сделанных разными учеными (О. М. Ковалевским — 1835 г., А. К. Казем-Беком — 1837 г., И. Н. Березиным — 1850 г., В. В. Радловым — 1888 г.), из которых наиболее

[2] И. Н. Березин. Ханские ярлыки. 1. Ярлык хана Золотой Орды Тохтамыша к польскому королю Ягайлу. 1392—1393 г. Издан М. А. Оболенским. Казань, 1850, с. 12.

[3] Там же, с. 5.

точными и часто цитируемыми являются переводы В. В. Радлова [4] и И. Н. Березина [5] с историко-филологическими комментариями. В 1927 г. А. Н. Самойлович опубликовал статью, в которой, «не задаваясь целью произвести полную переработку издания и перевода» письма, сделал несколько частных поправок к переводу И. Н. Березина и В. В. Радлова [6].

В подлиннике место составления письма обозначено выражением: *ordu dan-da ärür-da*, что О. М. Ковалевский, А. К. Казем-Бек, И. Н. Березин переводили как «когда Орда была на Дону» [7]. В русском переводе XIV в. и в переводе письма на польский язык (XVII в.) местом написания названо «устье Дона» [8]. В. Г. Тизенгаузен и В. В. Радлов предпочитали переводить *dan-da* 'в Тане' [9], понимая под Таной город близ устья Дона (Азов) [10]. А. Н. Курат при слове *Tan* ставит знак вопроса [11]. Однако интерпретация, предложенная В. Г. Тизенгаузеном и принятая В. В. Радловым и В. В. Бартольдом [12], представляется убедительной: в тех известных случаях, когда документ составлялся действительно на берегу реки, в тексте употреблены слова *qïnarïnda* (ярлык Тимур-Кутлука) или *jaqasïnda* (письмо Улуг-Мухаммада и Махмуд-хана), которые отсутствуют в письме Токтамыш-хана.

Оригинал письма Токтамыш-хана долгое время находился в архиве Министерства иностранных дел в Москве. В 1921 г. он был передан Польше и ныне хранится в Центральном архиве в Варшаве. В научной литературе кроме воспроизведения факсимиле [13] существует печатное издание текста [14], а также не-

---

[4] В. В. Радлов. Ярлыки Токтамыша и Темир-Кутлуга.— ЗВОРАО. Т. 3. 1889, с. 1—17.

[5] И. Н. Березин. Ханские ярлыки. 1, с. 49—70.

[6] А. Н. Самойлович. Несколько поправок к изданию и переводу ярлыков Тохтамыш-хана.— «Изв. Таврич. о-ва истории, археологии и этнографии». Т. 1. Симферополь, 1927 (отд. отт., с. 1—4). Комментарии Ч. Ч. Валиханова к переводу И. Березина см.: Ч. Ч. Валиханов. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. А.-А., 1961, с. 121—135.

[7] См.: И. Н. Березин. Ханские ярлыки. 1, с. 30, 38, 51.

[8] См. там же, с. 22, 26. Переиздание русского текста письма см.: Е. Ф. Карский. Западнорусский ярлык хана Золотой орды Тохтамыша к польскому королю Ягайлу 1392—1393 г.— Е. Ф. Карский. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. Л., 1962, с. 443—444.

[9] В. В. Радлов. Ярлыки Токтамыша и Темир-Кутлуга, с. 17.

[10] О городе Тана — Азак — Азов см.: В. В. Бартольд. Азак.— Сочинения. Т. 3. М., 1965, с. 313.

[11] A. N. Kurat. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altın Ordu, Kırım ve Türkistan hanlarına ait yarlık ve bitikler. İstanbul, 1940, с. 147 (далее: A. N. Kurat. Yarlık ve bitikler).

[12] В. В. Бартольд. Токтамыш.— Сочинения. Т. 5. М., 1968, с. 566.

[13] И. Н. Березин. Ханские ярлыки. 1, с. 12.

[14] И. Березин. Турецкая хрестоматия. Т. 1. Казань, 1857, с. 10—11; В. В. Радлов. Ярлыки Токтамыша и Темир-Кутлуга, с. 4—5.

сколько публикаций текста письма арабскими буквами[15], монгольскими буквами[16] и латиницей[17].

Письмо использовано в трудах по истории Золотой Орды[18], в хрестоматиях[19] и грамматиках тюркских языков[20], а также в исследованиях, посвященных документам эпистолярного характера[21], и в некоторых литературоведческих работах[22].

II. ПИСЬМО УЛУГ-МУХАММАД-ХАНА ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ МУРАДУ II (сокр. ПУМ)

Подлинник; хранится в архиве музея Топкапы в Стамбуле под № 10202. Письмо написано на чагатайском языке на листе плотной лощеной бумаги из шелка размером 200,3×28 см, склеенным из шести отдельных листков. К верхней части документа приклеен кусок сафьяна темно-вишневого цвета размером 23×28 см; когда лист свернут в трубочку, он полностью

[15] И. Н. Березин. Ханские ярлыки. 1, с. 16, 49—50; он же. Турецкая хрестоматия. Т. 1, с. 11—12; Ч. Ч. Валиханов. Собрание сочинений Т. 1, с. 132—133.

[16] И. Н. Березин. Ханские ярлыки. 1, с. 47—48.

[17] A. N. Kurat. Yarlık ve bitikler, с. 147.

[18] И. Н. Березин. Ханские ярлыки. 3. Внутреннее устройство Золотой Орды (по ханским ярлыкам). СПб., 1850, с. 8; он же. Очерк внутреннего устройства Улуса Джучиева. СПб., 1863, с. 44, 54; В. В. Бартольд. Отец Едигея.— Сочинения. Т. 2. Ч. 1. М., 1963, с. 801—802; он же. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии.— Сочинения. Т. 5, с. 122, 448, 566; Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский. Золотая орда и ее падение. М.—Л., 1950, с. 103, 153—154; М. Г. Сафаргалиев. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960, с. 15, 150—151, 155, 160; Г. А. Федоров-Давыдов. Общественный строй Золотой Орды. Изд-во МГУ, 1973, с. 115—116, 118—119, 142; J. Hammer-Purgstall. Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak, das ist: der Mongolen in Russland. Pesth, 1840, с. 355—356; B. Spuler. Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland. 1223—1502. Lpz., 1943, с. 131—132, 309—310.

[19] И. Н. Березин. Турецкая хрестоматия. Т. 1, с. 10—12.

[20] А. М. Щербак. Грамматика староузбекского языка. М.—Л., 1962, с. 50—51.

[21] А. Н. Самойлович. Несколько поправок к ярлыку Тимур-Кутлуга. (Посвящается памяти В. В. Григорьева).— «Изв. Российской Академии наук». Серия 6. Т. 12. № 11, Пг., 1918, с. 1110—1112; И. Клюкин. О чем писал иль-хан Аргун Филиппу Красивому в 1289 г. Владивосток, 1925, с. 2; С. Закиров. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом (XIII—XIV вв.). М., 1966, с. 126, 135—137, 139, 142; А. П. Григорьев. «Вышняя троица» в ярлыке золотоордынского хана, с. 194; A. N. Kurat. Yarlık ve bitikler, с. 3, 7, 10, 13, 15, 40, 129.

[22] [А. М. Позднеев]. Лекции по истории монгольской литературы, читанные ординарным профессором С.-Петербургского университета А. М. Позднеевым в 1895/96 акад. году. Записал и издал студент Х. П. Кристи. СПб., 1896, с. 50, 145, 146; А. Азиз, А. Рахим. Татар адебиаты тарихы. Джилт 1. Казан, 1923, с. 59—74.

закатывается в сафьян, который служит таким образом предохранительным футляром. Всего в письме 19 строк, написанных арабскими буквами, почерком *дивани кырма*.

Первые две строки, равно как отдельные слова и выражения на третьей (*χan aγalarïmïz*; *atalarïnïz*), четвертой (*aγalarïnïz*), пятой (*χan aγamïz*), шестой (*Toqtamïš χan*; *γazi Bayezid bek*), восьмой (*haq t'ali*: *χan aγalarmïzïn*), десятой (*χudai*; *bize*), тринадцатой (*biz*) строках, вписаны золотом. Три строки (3—5), следующие после упоминания имени адресата, смещены влево. 19-я, последняя строка (дата составления письма) расположена на левой половине листа. Все строки, кроме первых двух, доведены до конца листа, а справа оставлены поля. Расстояние между строками приблизительно равное, лишь 19-я строка написана почти вплотную к предыдущей.

На лицевой стороне в пяти местах (справа, в начале 3-й строки; слева, между 6-й и 7-й строками; слева, между 9-й и 10-й строками; справа, между 12-й и 13-й строками; слева, покрывая предпоследние слова 18-й и начальные слова 19-й строк) приложена четырехугольная печать размером 6×6 см, составленная из трех, вписанных один в другой квадратов, с текстом на арабском языке куфическими буквами, накладным золотом. Во внутреннем квадрате — изображение тамги в виде трезубца; во втором — надпись: «Султан правосудный Мухаммад хан»; во внешнем — надпись: «Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад посланник Аллаха. Кто справедлив, тот царствует, кто притесняет, тот гибнет».

На оборотной стороне листа имеется текст, не относящийся к письму, а представляющий собою копию *фатх-наме* турецкого султана Мурада II (1421—1451) о завоевании крепости «Голубятник», посланного из Египта в Акбуга. Эта «победная реляция», написанная на арабском языке в 831/1427-28 г., в сокращенном варианте опубликована в сборнике А. Феридуна[23].

Письмо Улуг-Мухаммад-хана было опубликовано в 1937 г. турецким ученым А. Н. Куратом[24]. Эта публикация, по собственному признанию издателя, представляла собой спешную, «выполненную в течение короткого, едва ли не трехнедельного срока», работу, и потому в нее неизбежно вкрались досадные ошибки. Принимая во внимание это обстоятельство, он в 1940 г. вторично опубликовал письмо[25].

---

[23] A. Feridun-bek. Mecmua-i münşaat as-Selâtin. Cilt 1. İstanbul, 1274 (1858), c. 201—202.

[24] A. N. Kurat. Kazan hanlığın kuran Uluğ-Muhammed hanın yarlığı.— Edirne ve yöresi eski eserleri sevenler kurumu yayınlarından. 2. İstanbul, 1937.

[25] A. N. Kurat. Yarlık ve bitikler, c. V—VI, 6—15, 161—166.

Русский перевод письма опубликован нами[26]. К сожалению, в тексте письма, опубликованном в «Приложении», допущен ряд неточностей при наборе: вм. يرليغات (стк. 8) должно быть يرليغاب; соответственно вм. تچتنی (стк. 10) — تختنی; вм. بولای (стк. 12) — بولدی; вм. مرك (стк. 13) — برك; вм. عصو (стк. 13) — عصر; вм. فى اليوم السابع عشرين شهر جمادى الاول (стк. 19) — و فى اليوم السبع العشرين شهر جمادى الاولى.

Слово اولاق было прочитано нами «Улак» и интерпретировано как «личное имя или прозвание»[27]. Между тем это слово следует читать как «Авлак-Афлак» (букв. «Валахия»)[28] и понимать под ним господаря Валахии.

III. ПИСЬМО МАХМУД-ХАНА МЕХМЕДУ ФАТИХУ (сокр. ПМ)

Оригинал письма хранится в архиве музея Топкапы в Стамбуле под шифром Е. 10202. Оно написано на не очень хорошей бумаге, размеры листа 141×27 см. Всего в письме 21 строка. Все слова текста написаны черными чернилами. Три строки (7—9), следующие после упоминания имени адресата, смещены влево и составляют в длину 12 см, тогда как остальные строки — по 20 см. Все строки, кроме первых шести, доведены до конца листа, а справа оставлены поля. Первые пять строк написаны близко друг к другу; между 6-й и 7-й строками оставлено чистое место. Расстояние между последующими строками равное.

В трех местах — на правой стороне документа, в начале 9-й, а затем 15—16-й строк и в конце письма, слева, приложена четырехугольная печать размером 6×6 см, составленная из двух квадратов, с текстом на арабском языке куфическими буквами. Во внутреннем квадрате надпись: «Султан Махмуд хан ибн Мухаммад хан ибн Тимур хан, да сделает Аллах вечным его царство и да не погубит его благо»; во внешнем: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад посланник Аллаха. Да будет благоприятным исход!»

В противоположность надписям на печатях Токтамыш-хана и Улуг-Мухаммада надпись на печати этого письма нанесена

[26] Т. И. Султанов. Письмо золотоордынского хана Улуг-Мухаммада турецкому султану Мураду II.— Тюркологический сборник. 1973. М., 1975, с. 53—61.

[27] Там же, с. 54—55, 61.

[28] Л. Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. 1. СПб., 1869, с. 65.

черными чернилами, которые с течением времени приобрели зеленоватый оттенок.

Текст письма написан арабской графикой на литературном тюркском языке, употреблявшемся в канцелярии золотоордынского государства, однако по сравнению с текстами двух упомянутых выше писем (ПТ и ПУМ) число арабизмов и фарсизмов здесь довольно значительно.

Письмо Махмуд-хана впервые было введено в научный оборот турецким ученым А. Н. Куратом, опубликовавшим в 1940 г. фотокопию, транскрипцию, текст и перевод письма на современный турецкий язык с комментариями[29]. В русском переводе письмо еще не публиковалось, хотя оно знакомо советским востоковедам. С. Е. Малов, опубликовавший в своей известной работе «Изучение ярлыков и восточных грамот» русский перевод ярлыка Хаджи-Гирея, отметил ряд особенностей орфографии языка этого письма, выделив как интересную форму *jarlïqavï* 'его милость', 'его соизволение'[30]. М. Г. Сафаргалиев использовал текст письма для освещения спорных вопросов ранней истории Астраханского ханства[31].

Перевод[32]

[1] «Он

[2] мощью (своей) неповторимою и чудодеяниями мухаммадовыми [3] и бесспорностью укрепляющей — [4—5] в [роду] махмудовом, [приписка:] да увековечит Аллах царствование его!

[6] Предводителю султанов,— милостью владыки обоих миров,— величайшему султану Мехмеду Гази.

[7] Много-много приветов. После того как они достигнут [Вас], извещается, что [8] послы-посланники наших давних ханов — предков наших и послы-посланники из лучших прежних людей Ваших [9] друг к другу приходили, купеческие караваны друг к другу ходили, [10] подарками, приветами обменивались, взаимно справлялись о благополучии и здравии; дружбою, братскими отношениями [11] достигли милости всевышнего бога. Благодарение милости Аллаха, когда великое место прежних ханов — предков наших было милостиво [12] даровано нам и в то время, когда мы, по обычаю наших прежних лучших людей, полагали обмениваться послами-посланниками, купеческими караванами, [13] взаимно справляться о благополучии и здравии, случилось много важных дел; так что наши люди [14] не могли прибыть [к Вам] по той причине. Теперь милостью

---

[29] A. N. K u r a t. Yarlık ve bitikler, с. 37—45, 167—170.

[30] С. Е. М а л о в. Изучение ярлыков и восточных грамот.— Академику В. А. Гордлевскому к его 75-летию. Сборник статей. М., 1953, с. 189.

[31] М. Г. С а ф а р г а л и е в. Распад Золотой Орды, с. 265—266.

[32] Перевод выполнен акад. А. Н. Кононовым.

единого и сущего всевышнего бога, [15] если с этого дня, увеличивая дружбу наших давних добрых людей, [16) умножатся добрые между нами отношения, укрепляя еще более в будущем дружбу между нами, наши добрые люди [17] станут ходить друг к другу, дальний [государь] услышит [об этом], ближний — увидит [это]. В преходящем мире, среди друзей [и] врагов [18] не это ли будет [нам] доброй славой.

Полагая так, отправили мы послом [к Вам] [19] с давних лет старого молельщика за нас по имени Хаджи Ахмад для того, чтобы сообщить [Вам] о нашем добром здравии и лицезреть Ваше благополучие, отвезти дорогое (букв. „тяжелое") приветствие и дешевый (букв. „легкий") подарок.

[20] Год курицы, по летосчислению [хиджры] восемьсот семидесятого года, благословенного месяца берата, [21] пятого [дня] по-старому (т. е. 10 апреля 1466 г.), когда Великая Орда была на берегу Азуглы Узен, во вторник написано».

ПРИМЕЧАНИЯ

Стк. 3. В опубликованном А. Н. Куратом тексте письма вместо المديه ошибочно написано المكهية.

Стк. 4. «Да увековечит Аллах царствование его!» — поздняя вставка[33].

Стк. 4—5. Махмуд — сын Кучук-Мухаммад-хана, сына Тимур-хана; хан Золотой Орды. Годы его правления источниками точно не определяются. По всей вероятности, он пришел к власти около 1465 г., отняв на непродолжительное время престол у своего брата Ахмад-хана. В 1466 г., как видно из текста письма (стк. 20—21), он был еще в ханском достоинстве и кочевал на берегах Узена.

Стк. 6. Султан Мехмед Гази — сын турецкого султана Мурада II (1421—1451). При Мехмеде Фатихе (1451—1481) было завершено объединение территории Малой Азии под управлением турецкого султана, сделаны крупные завоевания на Балканском полуострове и на северном побережье Черного моря, которые превратили Турцию в обширную и сильную державу, наводившую страх не только на отдельные страны, но и на коалиции европейских и азиатских государств[34].

Стк. 19. Хаджи Ахмад — посол золотоордынского хана Махмуда к турецкому султану Мехмеду Фатиху.

Стк. 20. Берат — здесь одно из названий восьмого месяца мусульманского лунного года. По народному календарю 15-е число месяца шабана называется «ночью грамоты» *(лейлейи берат)*. В эту ночь, согласно поверьям мусульман, пророк Мухаммад получил «полномочия» *(берат)* на представительство за верующих перед престолом всевышнего[35].

Стк. 21. По-старому — в государствах, образованных монголами, календарный месяц делился на две половины: первая, до полнолуния, называлась *йени* ('новая'), а вторая, после полнолуния, называлась *эски* ('старая').

[33] Примечание издателя: A. N. Kurat. Yarlık ve bitikler, с. 38.

[34] А. Д. Новичев. История Турции. 1. Эпоха феодализма (XI—XVIII вв). Изд-во ЛГУ, 1963, с. 43—80.

[35] В. А. Гордлевский. Материалы для османского народного календаря.— Избранные сочинения. Т. IV. М., 1968, с. 93.

Датировка документа с разделением календарного месяца на «старое» и «новое» встречается и в письме Токтамыш-хана[36], и в письме монгольского султана Улджэйту (1304—1316)[37], и в старинных русских переводах восточных грамот («нова», «ветха»)[38].

Стк. 21. Азуглы (Узуглы) Узен — возможно, так назывался в то время один из двух рукавов (Малый и Большой) р. Узен.

IV. ПИСЬМО АХМАД-ХАНА МЕХМЕДУ ФАТИХУ (сокр. ПА)

Этот документ, хранящийся в архиве музея Топкапы в Стамбуле под шифром Е.6464, написан в мае — июне 1477 г. Место составления не указано. Письмо написано на бумаге размером 69×21 см. К верхней части документа (как и в ПУМ) приклеен кусок сафьяна темно-вишневого цвета размером 14×21 см; когда лист свернут в трубочку, он полностью закатывается в сафьян, служащий футляром. Всего в письме 24 строки; длина строки — 16 см. Первая строка, а также имена адресанта и адресата вписаны золотом. Десятая и одиннадцатая строки, следующие после имени адресата, многочисленных его титулов и слов молитвы, смещены влево. Строки до краев листа не доведены: и справа, и слева оставлены поля. Между 1-й и 2-й, 2-й и 3-й строками оставлено чистое место шириной в несколько строк. Расстояние между остальными строками равное. На правом поле, против 17—18-й строк, золотыми буквами вписано имя адресанта. Каких-либо особых знаков или печати нет.

Письмо написано арабской графикой почерком *дивани* без строгого соблюдения диакритических знаков. Что касается языка, то, хотя текст письма и составлен на литературном тюркском языке, употреблявшемся в канцелярии золотоордынского государства, процент арабизмов и фарсизмов в нем еще более значителен, чем в ПМ: текст 3—10-й строк на арабском и персидском языках, немало арабо-персидских слов и выражений также в основной части письма.

Первая печатная работа с приложением фотокопии письма была опубликована в 1938 г.[39]. В 1940 г. А. Н. Курат собрал и

---

[36] И. Н. Березин. Ханские ярлыки. 1, с. 50, 69; В. В. Радлов. Ярлыки Токтамыша и Темир-Кутлуга, с. 5, 16.

[37] И. А. Клюкин. Письмо Улдзэйту иль-хана к Филиппу Красивому, Эдуарду 1-му и прочим крестоносцам. Владивосток, 1926 (Труды Гос. Дальневосточного ун-та. Серия VI. 2), с. 23, 25.

[38] В. Григорьев. О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству. Историко-филологическое исследование. М., 1842, с. 118, 121, 122, 123, 126, 128, 129; М. Д. Приселков. Ханские ярлыки русским митрополитам. Пг., 1916, с. 45, 46.

[39] F. Kurtoğlu. Son Altun Ordu hükümdarlarının Osmanlı hükümdarı Mehmet II-ye bir mektubu.— Belleten. Cilt 2. 1938, c. 247—250.

опубликовал тексты и фотокопии десяти ярлыков и битиков из Золотой Орды, Крыма и Средней Азии, хранящихся в архиве музея Топкапы в Стамбуле, включив и ПА[40]. В советской исторической литературе текст этого письма по изданию А. Н. Курата использован в монографии К. В. Базилевича[41].

Перевод[42]

[1] «Он.

[2] Великий государь, брат мой, Султан Мехмед Блаженный.

[3] Досточтимый господин получатель, дражайший и благородный брат, господин султанов арабских и персидских, властелин над выями народов, [4] тень Аллаха на земле, повелитель вод и суши, помогающий рабам Аллаха, покровитель стран Аллаха, побеждающий врагов Аллаха, справедливейший [5] из правителей людей и духов, источник, источающий справедливость и благодеяния, помощь этого мира и веры, [6] наставник ученых и многознающих,— да увековечит Аллах его царство и его власть и да вознесет его место и дворец его выше звезд Малой Медведицы! [7] Я славословлю бога славословием, достойным Его, и Он выше всего! Солнце величия и благополучия, сень господства и успеха, и Он действует обдуманно (не спеша) и ночью, и в сумерках (?), и в [8] полдень,— да сделает Всевышний и Всесильный долгой [его] жизнь и продлит [его] власть, и да будут вечно сияющими и великолепными величие и слава [его] до самого [9] дня Страшного суда, и да исчезнет заблуждение навечно, и да распространится слава во имя святости пророка и его семьи!

[10] После изъявления братской любви и глубокого поклона сообщение [11] таково: отправленный посол Карадж Бахатур прибыл; [12] он сообщил нам, что Вы здоровы и благополучны; он привез нам также сведения о завоеванных [Вами] городах. [13] Мы же, услышав эти речи, чрезвычайно и бесконечно обрадовались. Хвала богу всевышнему за благополучное окончание [14] дел. Братские отношения между Вами и нами обнаружились на пути любви. От сих дней и во веки [15] веков пусть не будет недостатка [в дружбе и любви] и послы-посланники наши с дорогими приветами и дешевыми подарками пусть друг к другу ходят. [16] Для того чтобы дружба-братство наше развивалась изо дня в день, к Вам послом [17] я отправил сына брата моего по имени Азиз Ходжа. Одним сыном (потомком) Чингисхана являюсь я, [18] другим его сыном (потомком) яв-

[40] A. N. Kurat. Yarlık ve bitikler, с. 46—60, 171—172.

[41] К. В. Базилевич. Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая половина XV в. Изд-во МГУ. 1952, с. 108, 112.

[42] Перевод выполнен акад. А. Н. Кононовым.

ляется Азиз Ходжа. Впредь милостью бога между Вами и нами [установившаяся] [19] дружба этим путем пусть умножится, так что, если угодно будет богу всевышнему, в последующие времена среди друзей [и] [20] врагов имя этой [дружбы] пусть останется. Далее, в какую сторону Вы направитесь и походом пойдете, мы также с этой стороны [21] готовы усилить Вас. Одним словом, от сего дня впредь любое дело, которое [22] будет иметь отношение к усугублению братских отношений между Вами и нами, [пусть исполнится]; если Вы изволите обратиться к ускоренному совершению того дела, [23] то воля Ваша. В рассуждении этого и отправлен к Его величеству посол с дорогим приветом и дешевым подарком.

[24] по летосчислению [хиджры] восемьсот восемьдесят второго года, в половине благословенного месяца сафара (май — июнь 1477 г.) записано».

[Приписка на полях:]

«С дружеским приветом
Ахмад ибн Мухаммад ибн Тимур-хан».

ПРИМЕЧАНИЯ

На полях (адресант): Ахмад ибн [Кучук]-Мухаммад ибн Тимур-хан — последний хан Золотой Орды[43]. Подробности взаимоотношений Ахмад-хана с правителями Османской империи нам неизвестны. Несомненно одно: давние, по крайней мере со времен Токтамыша, связи золотоордынских ханов с турецкими султанами, выражавшиеся, в частности, в обмене послами и битиками (см. ПУМ), не прерывались и при Ахмад-хане и Мехмеде Фатихе. Так, например, в сборнике А. Феридуна опубликовано письмо, приписываемое Мехмеду Фатиху и адресованное Ахмад-хану[44]. Оно написано на персидском языке не ранее июля 1475 г. (в письме говорится о завоевании города Кафы и походе на Молдавию) и не позднее мая 1477 г. (см. ПА, стк. 12, 24). Как полагает А. Н. Курат, это письмо могло быть написано по личной просьбе Менгли-Гирея для того, чтобы предупредить возможные враждебные действия Ахмад-хана, направленные против Менгли-Гирея, незадолго перед тем принявшего османское подданство[45]. Это предположение основано на содержании письма Мехмеда Фатиха, основная цель которого — оповестить золотоордынского хана о завоевании Кафы, покорении ряда городов в Молдавии и в особенности о принятии Менгли-Гиреем османского подданства.

В своем (ответном?) письме Ахмад-хан, как видим, выражает желание продолжить «традиционную дружбу» с турецким султаном и даже готовность в случае военных действий «усилить» со своей стороны Мехмеда Фатиха, если султан благосклонно примет подобную услугу. Примечательно, что в этом письме употреблен стиль, применявшийся при переписке с более могущественным лицом, чем сам адресант; стиль, отражающий в известной

---

[43] Подробно о нем см.: Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский. Золотая Орда, с. 419—428; К. В. Базилевич. Внешняя политика Русского централизованного государства, с. 54 и сл.; М. Г. Сафаргалиев. Распад Золотой Орды, с. 264—272.

[44] A. Feridun-bek. Mecmua-i münşaat. Cilt 1, c. 289.

[45] A. N. Kurat. Yarlık ve bitikler, c. 57.

мере реальное соотношение сил между усилившимся к тому времени османским султаном и ханом клонившегося к упадку золотоордынского государства.

Стк. 2. Султан Мехмед (Блаженный) — турецкий султан, правил с 1451 по 1481 г. (см. Примечания к ПМ, стк. 6).

Стк. 11. Қарадж (Қарач) Бахатур — лицо, упомянутое в письме в качестве посла. Из контекста письма неясно, являлся ли Қарадж Бахатур послом Мехмеда Фатиха или золотоордынского хана.

Стк. 17 и 18. Азиз Ходжа — брат золотоордынского хана Ахмада.

* * *

Изучение внешней формы рассматриваемых здесь документов и структуры их текста показывает, что они содержат целый ряд индивидуальных особенностей и формул, которые и образуют саму основу построения этой группы документов, т. е. их условный формуляр. Условные формуляры этой разновидности дипломатических документов в целом еще не изучены[46] с такой же тщательностью, как это сделано в западной и советской дипломатике применительно к средневековым актовым материалам[47] и отчасти жалованным грамотам[48], хотя на сегодняшний день в научной печати помимо отдельных документов эпистолярного характера опубликовано несколько сборников, содержащих материалы дипломатической переписки в средние века[49], и в частности турецких и мамлюкских султанов с золотоордынскими ханами в XIV—XV вв.

Ниже мы приводим таблицу, включающую компоненты условного формуляра, т. е. общую схему построения текстов всех четырех писем, вместе взятых, и описательные характеристики особенностей внешней формы каждого из документов. Отсутствие каких-либо компонентов условного формуляра в отдельном документе указано прочерком в графе, озаглавленной «стк.». Графа с надписью «стк.» показывает схему построения текста отдельного документа. В основу членения индивидуаль-

---

[46] Из трудов, специально посвященных этой теме, здесь можно указать следующие: W. K o t w i c z. Formules initiales des documents mongols aux XIIIe et XIV ss.— RO. T. 10. 1934; Л. С. П у ч к о в с к и й. Заключительная формула в письмах иль-ханов Аргуна (1289 г.) и Ульдзэйту (1305 г.). — Советское востоковедение. Т. 6. М.—Л., 1949, с. 396—422. Другая работа Л. С. Пучковского, «Монгольские документы эпистолярного характера», объемом в 10 авт. л. (см.: Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 г. АН СССР, ОЛЯ. М.—Л., 1945, с. 31) не была опубликована; не числится она и в фонде Архива востоковедов.

[47] С. М. К а ш т а н о в. Очерки русской дипломатики. М., 1970, гл. II.

[48] А. П. Г р и г о р ь е в. «Вышняя троица» в ярлыке золотоордынского хана, с. 189—196.

[49] В. Г. Т и з е н г а у з е н. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. СПб., 1884; A. F e r i d u n - b e k. Mecmua-i münşaat as-Selâtin. Cilt 1—2. Istanbul, 1274—1275 [1858—1859]; A. N. K u r a t. Yarlık ve bitikler.

Компоненты условного формуляра	Письмо Токтамыш-хана (ПТ)	
	стк.	особые приметы
I. Начальный протокол:	1—2	
1) invocatio (богословие)	—	
2) intitulatio (адресант)	1	золотом
3) inscriptio (адресат)	2	
4) salutatio (приветствие)	—	
II. Основная часть:	3—23	три строки (3—5) сдвинуты «вниз» (влево); напротив них с правой стороны печать
1) notificatio (извещение)	3—17	
2) narratio (повествование)	3—17	
3) dispositio (определение)	17—22	
4) corroboratio (удостоверение)	22—23	
III. Конечный протокол: datum (выходные данные):	23—25	
а) время написания	23—24	летосчисление по животному циклу и календарное время (число, месяц, год)
б) место написания	24—25	в Тане

ТАБЛИЦА

Письмо Улуг-Мухаммад-хана (ПУМ)		Письмо Махмуд-хана (ПМ)		Письмо Ахмад-хан а (ПА)	
стк.	особые приметы	стк.	особые приметы	стк.	особые приметы
1—3		1—7		1—10	
1	золотом	1—3		1	золотом
2	золотом	4—5		17—18	золотом на полях листа
2	золотом	6		2—9	имя золотом
3	с красной строки	7	с красной строки	10	с красной строки
3—18	три строки (3—5) смещены влево; напротив стк. 3 с правой стороны печать	7—20	три строки (7—9) смещены влево; напротив стк. 9 с правой стороны печать	10—23	две строки (10—11) смещены влево
—		7—14		10—18	
3—13		7—14		10—18	
13—18		14—20		18—23	
—		—		—	
18—19		20—21		24	
18—19	летосчисление по животному циклу и календарное время (число, месяц, год)	20—21	летосчисление по животному циклу и календарное время (число, месяц, год)	24	календарное время (месяц, год)
18	на берегу Озю	21	на берегу Азуглы Озен (Узен)	—	

ного формуляра положен принцип выделения логически законченных по мысли выражений — «статей», образующих одну тематическую группу, хотя принцип этот, в силу условности схемы вообще и трудности безусловного отнесения «статьи» к одному лишь компоненту формуляра, выдержан не везде одинаково строго. Параллельно латинским обозначениям составляющих условный формуляр компонентов приводятся русские наименования, предложенные С. М. Каштановым[50].

КОММЕНТАРИЙ К ТАБЛИЦЕ

1. Invocatio. В ПТ мы не видим инвокативной формулы, имеющейся в остальных трех письмах. Формула инвокации в ПУМ представляет собой трехчленное тюркское предложение, составленное из арабских и персидских религиозных терминов и выражений. ПМ начинается арабским словом *хуua,* т. е. «Он» — нарицательное имя бога, часто употреблявшееся в мусульманских странах в начале писем[51] и деловых документов[52] как благоприятное предзнаменование. Начальная формула в целом гласит: [1] «Он [2] мощью (своей) неповторимою и чудодеяниями мухаммадовыми [3] и бесспорностью укрепляющей — [4—5] в [роду] махмудовом». Здесь прилагательное «махмудовом», несомненно, указывает на обозначение адресанта: рядом со словами *фи ал-махмудийе* имеется приписка «Да увековечит Аллах царствование его», которая может относиться только к имени «Махмудийе» или «Махмуду» и только к живому еще лицу, т. е. в данном случае к адресанту. Таким образом, похоже, что в ПМ мы имеем случай слияния в одной статье текста начальной формулы двух компонентов условного формуляра: инвокация и адресант. Такое слияние служит здесь, видимо, божественному обоснованию царской власти. Это, кстати сказать, сближает в какой-то мере начальную формулу ПМ с начальной формулой некоторых жалованных грамот[53], хотя наблюдаются и существенные различия: в жалованных грамотах сочетаются, как правило, адресант и «богословская преамбула», и формула имеет значение обоснования «божественным промыслом» права адресанта на составление документа; здесь же — формулировка мотива божественного покровительства царствующему лицу и его роду(?). Вопрос о том, являются ли строки, предшествующие адресанту, собственно «богословием» или «богословской преамбулой», требует специального рассмотрения, как, впрочем, и вся начальная формула ПМ в целом.

В начале ПА стоит только одно слово *хуua*, за которым следуют строки с именем и титулами адресата.

---

[50] С. М. Каштанов. Очерки русской дипломатики, с. 27—28.

[51] A. Feridun-bek. Mecmua-i münşaat. 1, с. 116, 260, 285, 314; A. N. Kurat. Yarlık ve bitikler, с. 48, 92, 101, 108; M. Ivanics. Formal and Linguistic Peculiarities of 17th Century Crimean Tatar Letters Adressed to Princes of Transylvania.— AOH. T. 29 (2), с. 214.

[52] Самаркандские документы XV—XVI вв. (О владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане). Факсимиле, критический текст, перевод, введение, примечания и указатели О. Д. Чехович. М., 1974, с. 51, 56, 85, 88, 90 и др.

[53] С. М. Каштанов. Очерки русской дипломатики, с. 36—41; А. П. Григорьев. «Вышняя троица» в ярлыке золотоордынского хана, с. 190—191.

2. Intitulatio. Как известно, ПТ начинается формулой «Мое, Токтамыша, слово» [54], где имя собственное Токтамыш указывает адресанта. Помещение имени адресанта в начале текста, не характерное для остальных писем, сближает начальный протокол ПТ с индивидуальным формуляром некоторых жалованных грамот, да и сам документ в тексте назван «Ярлыком с золотым знаком», хотя по своему содержанию перед нами, несомненно, письмо. Случаи употребления формулы «Мое (наше) [имя адресанта] слово» в начальном тексте писем монгольских правителей известны, и это, как правило, письма, адресованные лицам, рассматриваемым как вассалы (письмо Ахмад-хана Ивану III) [55], или немусульманским деятелям (письмо Гуюка римскому папе, письмо Аргуна и Улджэйту Филиппу Красивому) [56].

Такая же формула в письмах крымских ханов, адресованных трансильванским князьям [57].

В ПУМ и ПМ обозначение лица, от которого исходит документ, следует после мусульманской инвокативной формулы. Имя адресанта в ПА вписано на полях текста.

3. Inscriptio. Обращение в ПТ состоит из одного слова: «Ягайле». Формула обращения в ПУМ также предельно короткая и состоит из титула *гази* и имени адресата в форме дательного падежа. Перед именем адресата в ПМ приведены эпитеты султана, а именно: «предводитель султанов, величайший султан», а после имени титул *гази* в форме дательного падежа. В ПА формула обращения начинается словами: «Великий государь, брат мой, Султан Мехмед Блаженный». Здесь бросается в глаза употребление слова *худавендигяр* 'государь', 'повелитель'; этот титул османские султаны носили начиная с Мурада I Худавендигяра (1359—1389). Новыми в тексте обращения являются слова *кардешим* 'брат мой' и *камкâр* 'счастливый', 'блаженный' 'могущественный'.

Последующие строки ПА, продолжающие «статью»-обращение, начинаются трудным для понимания и перевода выражением *бе дженаб-и истисал*, где *бе* — персидский предлог, присоединяемый к началу слова для обозначения дательного и творительного падежей; *дженаб* — почетный титул, соответствующий русскому «величество», а *истисал* — X порода от арабского корня *асл* и означает «истребление, искоренение», что весьма затрудняет понимание текста и делает невозможным перевод выражения в целом. Грамматически возможно возводить *истисал* к корню *всл*, т. е. «прибывать, достигать, доходить до», и переводить форму *бе дженаб-и истисал* как «Его величеству получателю сего» или «Досточтимому господину получателю».

За именем адресата, его титулами и пышными эпитетами в ПА, в соответствии с существовавшими тогда правилами для писем такого рода [58], идут молитвенные слова, написанные, однако, не на арабском языке, как того требовала инструкция [59], а на персидском.

---

[54] В переводе В. В. Радлова (Ярлыки Токтамыша и Темир-Кутлуга, с. 6): «Я, Токтамыш, говорю».

[55] К. В. Базилевич. Внешняя политика Русского централизованного государства, с. 164.

[56] См.: Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. Редакция, вступительная статья и примечания Н. П. Шастиной. М., 1957, с. 220, прим. 217; И. Клюкин. О чем писал иль-хан Аргун, с. 3; он же. Письмо Улдзэйту, с. 23.

[57] M. Ivanics. Formal and Linguistic Peculiarities, с. 214—215.

[58] Образцы писем см.: Мухаммад ибн Хиндӯшāх Нахчивāнӣ. Дастӯр ал-кāтиб фӣ та'йӣн ал-марāтиб (Руководство для писца при определении степеней). Критический текст, предисловие и указатели А. А. Али-заде. Т. 1. Ч. 1. М., 1962 (ПЛНВ. Тексты. Большая серия. 9), с. 125 и сл.

[59] Там же, с. 131, 140.

4. Salutatio. Отсутствующее в ПТ приветствие — компонент начального протокола — в остальных трех письмах слито с текстом первого компонента основной части. В ПА на полях листа, перед именем адресанта, вписаны дополнительные слова приветствия: «С дружеским приветом».

5. Основная часть. Основной текст во всех четырех документах начинают «статьи» уведомительно-описательного характера, образующие notificatio и narratio. При этом три письма начинаются словами «для извещения о том, как» (ПТ); «извещается, что» (ПМ); «сообщение таково» (ПА), которые являются формулами notificatio; далее в тексте следует narratio, составляющее в письмах, как правило, главный компонент основной части формуляра. Иной переход от начального протокола (приветствие) к основному тексту мы видим в ПУМ: со слов «наши прежние братья-ханы и ваши отцы» (стк. 3) и до слов «теперь... нам двоим...» (стк. 13) текст письма носит черты narratio, так как в нем рассказывается о взаимоотношениях прежних золотоордынских ханов и предков турецкого султана Мурада II, а также описываются конкретные события.

Следующая «статья» основной части текста во всех четырех письмах носит условно-договорный характер и по своей функции относится, таким образом, к dispositio. В этой части текста формулируются взаимоотношения адресанта и адресата, причем обычно употребляются выражение «теперь (или: впредь) милостью бога» с небольшими вариациями и устойчивый оборот с вводным словом «пусть». Характерна также настойчиво проводимая мысль, что в этом бренном мире «все преходяще» и лишь добрые между людьми отношения и дела, усугубляющие их, останутся во веки веков (ПУМ, стк. 15; ПМ, стк. 17—18; ПА, стк. 19—20).

Corroboratio — сведения об удостоверительных знаках документа, чаще всего встречающиеся в тексте актов, в рассматриваемых здесь письмах есть только в ПТ: «Такой ярлык с золотым знаком мы издали» (стк. 22—23).

6. Конечный протокол. В ПА вместо обычной для золотоордынских документов формы *битилди*, т. е. «написано» (ПТ, ярлык Тимур-Кутлука, ПУМ, ПМ), употреблено выражение *истиктаб кылынды*, т. е. «написано под чью-либо диктовку, велено написать».

Datum — во всех четырех документах указано прописью календарное время написания письма. В ПУМ после числа, месяца и года хиджры, написанных на арабском языке, стоит дата «831» индийскими цифрами. В ПМ указан день недели по-персидски. В трех письмах — ПТ, ПУМ, ПМ — приведено тюркское летосчисление по двенадцатилетнему животному циклу.

Место написания документов не обозначено лишь в одном случае (ПА).

Таким образом, анализ внутренней формы писем золотоордынских ханов дает следующий результат. В условном формуляре этой разновидности документов можно выделить три главные его части (начальный протокол, основная часть, конечный протокол) и девять их компонентов. При этом в ПТ отсутствуют два компонента (инвокация, приветствие), входящие в состав начального протокола. В остальных трех письмах присутствуют все четыре компонента этой части формуляра. Центральное место в основном тексте занимают уведомительно-описательные и условно-договорные «статьи», и лишь в одном случае (ПТ) присутствует удостоверительная статья.

Предварительный анализ условного формуляра позволяет сделать вывод, что структура этих писем является весьма устойчивой и в целом общей для золотоордынских документов эпистолярного характера конца XIV — второй половины XV в.

Сравнение индивидуальных формуляров четырех писем золотоордынских ханов, первое и последнее из которых отдалены по времени их написания друг от друга на 84 года, позволяет заключить, что из компонентов, составляющих части условного формуляра, лишь один компонент начального протокола (адресат) претерпел заметные изменения. Развитие этого компонента условного формуляра в сторону усложнения стиля и удлинения текста «статьи» обращения объясняется, по всей вероятности, мотивами политического характера и отражает в известной мере степень могущества адресанта и адресата.

Л. Ю. Тугушева

ДВА КОЛОФОНА ИЗ СОБРАНИЯ ДРЕВНЕУЙГУРСКИХ РУКОПИСЕЙ ЛО ИВАН СССР

Колофоны (послесловия или предисловия) к древнеуйгурским сочинениям, оригинальным и переводным, являются не только основным источником для установления автора или переводчика, места, времени, повода для создания того или иного произведения. Переписчик или тот, по чьему заказу переписано сочинение, с помощью такого рода «добрых деяний» надеется помимо всего прочего обеспечить благоденствие своему роду и нередко приводит в колофоне перечень имен тех лиц, о которых он радеет. Благодаря этому колофоны могут служить также немаловажным источником для изучения ономастики и титулатуры.

Ниже публикуются два колофона. Представленный в них ономастический материал, быть может, позволит в некотором отношении дополнить сведения, известные ранее. Публикуемые колофоны сохранились в виде отдельных фрагментов (I и II). Один из них (SI 2 Kr 86) — обрывок свитка, содержащий 27 строк текста, выписан мелким, убористым почерком на плотной глянцевой бумаге, подкрашенной в желтый цвет, с отчетливо просматриваемым верже (пять линий в 1 см). Ширина рамки равна 24 см при ширине листа в 28 см. От второго колофона (SI Kr II 32/1) сохранились 20 строк текста на двух сторонах листа тонкой, желтоватой, глянцевой бумаги без верже. Первоначальные размеры листа и ширина рамки не устанавливаются.

В перечне имен и титулов, приводимом в фрагменте I, фигурируют несколько матерей и необычно большое число старших братьев — обстоятельство, указывающее на то, что в колофоне перечислены имена представителей не одного семейства. Но, с другой стороны, фамильные звания, титулы упоминаемых лиц по большей части совпадают (ynal — при мужских именах

собственных, täŋrim — при женских), и нет сомнения в том, что они, во всяком случае, принадлежат к одному сословию.

Тексты снабжены диакритическими знаками в виде одной или двух точек при графемах *Q, S, N, Z*. Две точки справа (внизу) от графемы *S* ставятся для передачи звука *š* в позициях, в которых допустимы разночтения (šilavanti — II, 5b, vapšintu — II, 6b). По тому же принципу знак, используемый для передачи звука *n*, в ряде случаев отмечен одной точкой слева (вверху). Знак *Z* с двумя точками справа (внизу) служит для передачи звука *ž*.

Графема *Q* представлена в текстах в трех вариантах: с одной точкой слева (вверху), с двумя точками слева (вверху) и без диакритических знаков. Предположительно они должны передавать смычные и щелевые, глухие и звонкие, сильные и слабые увулярные согласные, отображаемые в транскрипции с помощью знаков *q, g* и *x*[1]. Но в данном случае в их употреблении нет явно выраженной последовательности. В отдельных случаях использование разных вариантов знака в одних и тех же основах объяснимо различиями в их графической позиции (ср.: tutq̈ — I, 17 и tutuġ-q̈a — I, 20). Но это объяснение не охватывает случаи употребления разных вариантов знака в идентичной позиции (ср.: sumaq̈ — I, 12, sumağ — I, 7). Однозначного соответствия между звуковыми различиями по признакам смычности, щелинности, глухости, звонкости, силы, слабости и тремя указанными вариантами графемы *Q* провести здесь не удается. Для передачи последних в транскрипции использованы пять знаков в следующем соответствии: *q̇, ġ=Q̇; q, ğ=Q; q̈=Q̈*.

I — SI 2 Kr 86 (транскрипция)

[...] [no]m bitig [...]
[...] [na]mo d(a)rm:
1. [...] bäk qātyġ süz-ük kirtg[...]
2. [...]u-laryn öp saqynyp a[...] -lmiš
3. [...] tägindim(i)z : bu nom bititmägd(i)n turmyš bujanyġ ävirä ötünü täginür
4. [...]tyn jaq̈yz tağy alq̈ynčsyz tālim tiši irkäk q̈ut v(a)xšik ajaz
5. [...]lar-nyŋ t(ä)ŋridām yduq küč-läri kösün-läri ašylyp üsdālip
6. [...] bodunuġ q̈raġ abamuq̈adäki adasyz-yn tudasyz-yn küjü küz-ädü
7. ičim adsyz-q̈a : ičim jäm ynal-q̈a: jäŋām sumağ t(ä)ŋrim-kä

[1] A. von Gabain. Alttürkische Grammatik. 2. verbesserte Auflage. Lpz., 1950, c. 51.

SI 2 Kr 86

8. [...]myš bujanyġ nomluġ dintarym(y)z äsän ačari bäg-kä : ičim ädgü toġryl
9. [...] : jäŋgäm ičkälmiš t(ä)ŋrim-kä : ičim äsän ynal-q̈a jäŋäm il
10. [...] ynal-q̈a : jäŋäm basana t(ä)ŋrim-kä : ičim bägičük ynal-q̈a
11. [...] ičim q̇an q̈uly-q̈a : jäŋgäm adaj q̈unčuj-q̈a : ič kädičük-kä
12. [...] qaja säli-kä : sumaq̈ t(ä)ŋrim-kä : q̈adyn atam kädik tutuġ bägkä
13. [...] ičim basana ynal-q̈a : inim käräksiz-kä : kälinim tilik saryġ
14. [...] il almyš t(ä)ŋrim-kä : adaš-ym bolmyš-q̈a : ičim saryġ tojyn ynal-qa :
15. [...]kä : q̈yz-ym adaj q̈yz-q̈a q̈yz-larym kičik-kjä-kä : taġyna(?) ynal-q̈a:
16. [...]b ädgülüg kösüš-läri qanyp äŋ kinintä burxan qutyn bulmaq̈-lary bolz-un
17. [...]myš adyn až-un-q̈a sanlyġ bolmyš : uluġ adam syŋq̈ur tutuq̈ bägkä uluġ anam
18. [...]u tutuq̈ bägkä : ičim tuda ačari-q̈a : jäŋgäm q̇utuq̇ täŋrimkä : toġmyš adam
19. [...] ynal [...] anam oq̈ul jitmiš t(ä)ŋrim-kä : ičim taq̈aj ynal-q̈a : jäŋgäm sävinč t(ä)ŋrim-kä
20. anam üsdäk t(ä)ŋrim-kä : anam ana q̇atun t(ä)ŋrim-kä : bägümiš tutuġ-q̈a : adam q̈aramuq̈ ynal-q̈a :
21. anam aryġ q̈unčuj t(ä)ŋrim-kä : adam ödüš ynal-q̈a : adaq̈ tutuq̈ ynal-q̈a : anam täz küŋ t(ä)ŋrim-kä
22. anam bujančuq̈ t(ä)ŋrim-kä : äkäm tarym q̈unčuj t(ä)ŋrim-kä : jäŋgäm tadarčyn t(ä)ŋrim-kä : ičim ädsiz ynal-q̈a
23. ičim sansyz yn(a)l-q̈a : ada[š]ym q̈utluġ-q̈a : q̈arna säli-kä : ana qadun t(ä)ŋrim-kä adašym ilig-kä :
24. jyġmyš t(ä)ŋrim-kä : kä[s]ik t(ä)ŋrim-kä :
25. ülgäšük öd-lärintä ög-lärin köŋül-lärin jyq̇ynu umädyn ärmäz jaramaz orun-larta toġmyš ärsär
26. ol ol orun-laryntyn oz-up q̈utrulup üstün tuž-it t(ä)ŋri jirintä burxan-lar uluš-ynta toq̈maq̈-l(a)ry bolz-un :
27. sadu sadu ädgü ädgü

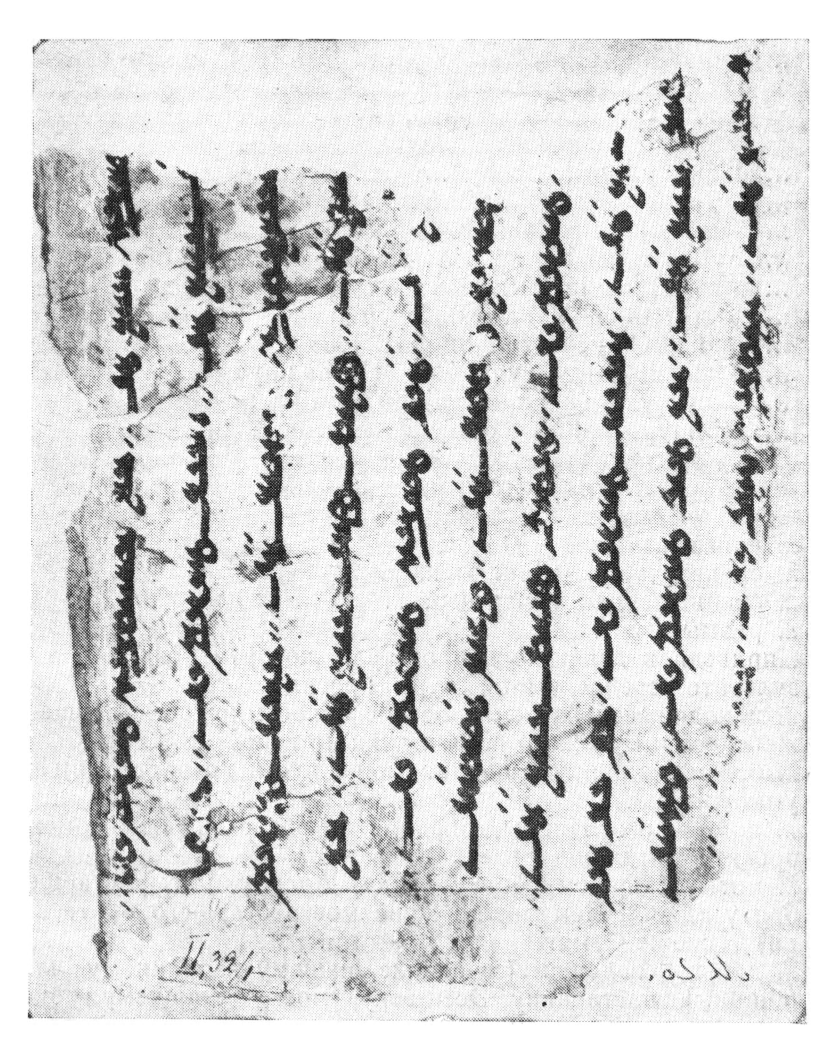
II — SI Kr II 32/1 (транскрипция)

recto (a)

1. [...]urmyš ynal-q̈a : il ornatmyš t(ä)ŋrim-kä :
2. [...] ynal-q̈a : sävik t(ä)ŋrim-kä : j(a)rp
3. [...] öklitmiš tutuŋ-q̈a : ilig t(ä)ŋrim
4. [...] [y]nal-q̈a : bolat buqa ynal-q̈a : il
5. [...]l-q̈a : q̈yz turmyš t(ä)ŋrim-kä :
6. [...] toġryl-tutuŋ-q̈a : bačaġ q̈urtq̈a



SI Kr II 32/1 (recto)



SI Kr II 32/1 (verso)

7. [...] t(ä)ŋrim-kä : q̈ytaj bört ynal-q̈a :
8. [...yn]al-q̈a : sävik t(ä)ŋrim-kä : vž-ir qyz
9. [...]ğar ynal-q̈a : il tyny t(ä)ŋrim-kä : basana
10. [...]s ynal-q̈a : altmyš säli-kä [...]

verso (b)

1. [...]alq̈an-myš y[d]uq il-ig [...]
2. [...]iliglär-ig bäg-lärig abamu suradi-q̈a
3. [...] tägingäj ärti : jana ävirärbiz bu bujan
4. [...] q̈yjtso tutuŋ bäg-kä : il jyğmyš
5. [...]m-kä bögi šilavanti t(ä)ŋrim-kä :
6. [...] toğryl tutuŋ-q̈a : vapšintu tutuŋ-q̈a
7. [...]rim-kä : jaryčuq̈ t(ä)ŋrim-kä : :
8. [...]m-kä : bujan-lyğ ynal-q̈a : il ornadmyš (?)
9. [...]turmyš ynal-q̈a : q̈utačuq̈ t(ä)ŋrim-kä :
10. [...]i turmyš ynal-q̈a : ornačuq̈ t(ä)ŋrim-kä :

I — SI2 Kr 86 (перевод)

... книга ...
... слава дхарме (учению) ...
1. ... очень твердая, ясная вера ...
2. ... размышляя ...
3. ...приведя в действие добродетель, которая возникла в результате переписки этой сутры, просим
4. ... находящееся на земле бесчисленное множество [существ] женского и мужского рода и духи на небе
5. ... божественная, священная мощь пусть возрастет [и] приумножится
6. ... до вечного Индры, охраняя и оберегая, без помех и препятствий народ
7. ... моему старшему брату (дяде) Адсызу, моему старшему брату (дяде) Йем-ыналу, жене моего старшего брата (дяди) госпоже Сумаг
8. ... добро, [сведущему] в законе, нашему избранному [члену общины], наставнику Эсен-беку, моему старшему брату (дяде) Эдгю Тогрылу
9. ... жене моего старшего брата (дяди) госпоже Ичкельмиш, моему старшему брату (дяде) Эсен-ыналу, жене моего старшего брата (дяди) Иль...
10. ... ыналу, жене моего старшего брата (дяди) госпоже Басана, моему старшему брату (дяде) Бегичюк-ыналу
11. ... моему старшему брату (дяде) Кан Кулы, жене моего старшего брата Адай-кунчуй, Ич Кедичюку
12. ... Кая Сели, госпоже Сумак, моему тестю Кедик Тутуг-беку

13. ... моему старшему брату (дяде) Басана-ыналу, моему младшему брату Керексизу, моей невестке Тилик Сарыг
14. ... госпоже Иль Алмыш, моему другу (приятелю, тезке) Болмышу, моему старшему брату (дяде) Сарыг Тойын-ыналу
15. ... моей дочери Адай-кыз, моим младшеньким дочерям, Тагына-ыналу
16. ... пусть исполнятся их благопожелания и в самом конце они обретут благодать будды
17. ... принадлежащему [ныне] иному миру моему дедушке Сынгкур Тутук-беку, моей бабушке
18. ... Тутук-беку, моему старшему брату (дяде) наставнику Туда, жене моего старшего брата (дяди) госпоже Кутук, моему родному отцу
19. ... ыналу ... моей матери госпоже Огул Йетмиш, моему старшему брату (дяде) Тагай-ыналу, жене моего старшего брата (дяди) госпоже Севинч,
20. моей матери госпоже Усдек, моей матери госпоже Ана Катун, Бегюмиш Тутуку, моему отцу Карамук-ыналу,
21. моей матери госпоже Арыг-кунчуй, моему отцу Одюш-ыналу, Адак Тутук-ыналу, моей матери госпоже Тез Кюнг,
22. моей матери госпоже Буянчук, моей старшей сестре (тете) госпоже Тарым-кунчуй, жене моего старшего брата (дяди) госпоже Тадарчын, моему старшему брату (дяде) Эдсиз-ыналу
23. моему старшему брату (дяде) Сансыз-ыналу, моим друзьям (приятелям, тезкам) Кутлугу и Карна Сели, госпоже Ана Катун, моему другу (приятелю, тезке) Илигу,
24. госпоже Йыгмыш, госпоже Кесик.
25. Если они в момент распределения (?), не имея возможности сосредоточить свои помыслы, возродятся в неподходящих местах,
26. пусть они освободятся из этих мест и возродятся на верхнем небе блаженства в стране богов, в краю будд. Хорошо, хорошо.

II — SI Kr II 32/1 (перевод)

recto (a)

1. ... урмыш-ыналу, госпоже Иль Орнатмыш
2. ... ыналу, госпоже Севик, Ярп
3. ... Оклитмиш Тутунгу, госпоже Илиг
4. ... ыналу, Болат Бука-ыналу, Иль
5. ... госпоже Кыз Турмыш
6. ... Тогрыл Тутунгу, Бачаг Куртка

7. ... госпоже ... Кытай Бёрт-ыналу
8. ... ыналу, госпоже Севик, Важир Кыз
9. ... ыналу, госпоже Иль Тыны, Басана
10. ... ыналу, Алтмыш Сели ...

verso (b)

1. ... прославленный, священный правитель ...
2. ... правителей и князей ... к [сонму] бессмертных, благородных
3. ... пусть примкнут. Мы приводим в действие добродетель
4. ... Кыйтсо Тутунг беку, Иль Йыгмыш
5. ... госпоже Бёги Шилаванти
6. ... Тогрыл Тутунгу, Вапшинту Тутунгу
7. ... госпоже Ярычук
8. ...Буянлыт-ыналу, Иль Орнатмыш
9. ... турмыш-ыналу, госпоже Кутачук
10. ... турмыш-ыналу, госпоже Орначук ...

ПРИМЕЧАНИЯ

I, 4 ajaz 'небо' [ср. ajaz-qa jağyz-qa tajaqlyğ arqa qamağ qut vaxšik 'все прочие духи, опирающиеся на небо и землю' (R. Rahmeti Arat. Eski türk şiiri. Ankara, 1965, с. 220—221)].

I, 6 q̈rağ [скр. Grah] 'Индра' (W. E. Soothill, L. Hodous. A Dictionary of Chinese Buddhist Terms. L., 1937, с. 345).

I, 6 abamu 'бессмертный, вечный' (A. von Gabain. Alttürkische Grammatik, с. 292).

I, 8 Имя собственное ädgü toğryl встречается в одном из древнеуйгурских деловых документов, опубликованном В. В. Радловым (W. Radloff. Uigurische Sprachdenkmäler. Leningrad, 1928, № 114, 14, 17).

I, 10 basana (возможный вариант чтения bašana). Используется в качестве как женского, так и мужского имени собственного. Ср. basana-ynal I, 13.

I, 11 Адай-кунчуй или принцесса Адай.

I, 14 Некий bolmyš упоминается в одном из деловых документов (см.: W. Radloff. Uigurische Sprachdenkmäler, № 47, 2, 8).

I, 14 adaš 'друг', 'приятель', 'товарищ', 'тезка' (ср. Татарско-русский словарь. М., 1966, с. 25; ДТС, с. 9; Э. В. Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. М., 1974, с. 203—204).

I, 22 bujančuq̈ упоминается в документе, опубликованном В. В. Радловым (W. Radloff. Uigurische Sprachdenkmäler, № 108, 20).

II, 2б suradi [скр. sorata] 'великодушный', 'знатный', 'любезный', 'смиренный', 'скромный', 'воздержанный' (T. W. Rhys Davids, W. Stede. The Pali Text Society's Pali-English Dictionary. P. 8. L., 1925, с. 185).

II, 4б qyjtso tutuŋ или qajtso tutuŋ упоминается в деловых документах, опубликованных С. Е. Маловым (Уйгурские рукописные документы экспедиции С. Ф. Ольденбурга.— ЗИВ. Т. 1. 1932, с. 130, 1; с. 135, 2).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДОВ С. Е. МАЛОВА И ЛИТЕРАТУРЫ О НЕМ*

(составила Л. Я. Медведева)

I. ТРУДЫ С. Е. МАЛОВА

1. Из поездки к мишарям. (О наречии мишарей Чистопольского уезда).— Прил. к УЗКУ. Год 71. Кн. 4. 1904, апр., 24 с.

2. Несколько слов о шаманстве у турецкого населения Кузнецкого уезда Томской губернии.— ЖС. Год 18. Вып. 2—3. 1909, с. 38—41.

3. Отчет о командировке студента Восточного факультета С. Е. Малова.— ИРКСА. № 9. 1909, с. 35—46.

4. Изложение сообщений в ВОРАО: а) Уйгурские рукописи XVII—XVIII вв.; б) Система счисления в уйгурском наречии древнем и новом.— ЗВОРАО. Т. 21. Вып. 1. 1911, Протоколы, с. XV.

5. Отчет о путешествии к уйгурам и саларам.— ИРКСА. Сер. 2. № 11. 1912, с. 94—99.

6. Юбилей академика В. В. Радлова.— «Камско-Волжская речь». Казань, 5.I.1912, № 4, с. 3.

7. Остатки шаманства у желтых уйгуров.— ЖС. Год 21. Вып. 1. 1914, с. 61—74.

8. Изложение доклада: Остатки шаманства у желтых уйгуров.— ЖС. Год 21. Вып. 1. 1914, Протоколы, с. IX—X.

9. Отчет о втором путешествии к уйгурам.— ИРКСА. Сер. 2. № 3, 1914, с. 85—88.

10. Сказки желтых уйгуров.— ЖС. Год 21. Вып. 2—4. 1914, с. 467—476.

---

* В основу данной библиографии положены ранее опубликованные библиографии трудов С. Е. Малова, составленные Е. И. Убрятовой (см.: Тюркологический сборник, 1, М.—Л., 1951, с. 22—30; ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 14. Вып. 1. 1955, с. 93—98; Т. 16. Вып. 6. 1957, с. 576—578. Работы, помеченные знаком *, проверить de visu не удалось.

11. Рец. на: C. G Mannerheim. A visit to the Sarö and Shera Yögurs.— JSFOu. T. 27, 1911.— ЖС. Год 21. Вып. 1. 1914, с. 214—220.

12. Рассказы, песни, пословицы и загадки желтых уйгуров.— ЖС. Год 23. Вып. 3—4. 1915, с. 305—316.

13. Шаманство у сартов Восточного Туркестана.— ЖС. Год. 25. Вып. 1. 1916. Прил. № 6. Журнал заседания Отделения этнографии 13.II.1916 г., с. 28—32.

14. Ред.: С. Майнагашев. Сказка о купеческом сыне и боярском сыне (на сагайском наречии с русским переводом под ред. С. Е. Малова).— ЖС. Год 24. Вып. 3. 1916, с. 045—050.

15. Новые кафедры Восточных отделений.— Неотложные задачи земств Поволжья. Казань, 1917, с. 21—26.

16. Об учреждении Восточных (турецкого и финского) отделений на Историко-филологическом факультете Казанского университета.— Неотложные задачи земств Поволжья. Казань, 1917, с. 13—20.

17. Предисловие и издание текста (совместно с В. В. Радловым): Suvarṇaprabhāsa (Сутра Золотого Блеска). Текст уйгурской редакции. Издали В. В. Радлов и С. Е. Малов. Вып. 1—8. СПб.— Пг., 1913—1917 (Bibliotheca Buddhica. 17), XV, 723 с. [Предисловие С. Е. Малова — Вып. 1. 1913, с. I—XIII.]

18. Шаманство у сартов Восточного Туркестана (К пояснению коллекции Музея антропологии и этнографии по восточно-туркестанскому шаманству).— Ко дню 80-летия акад. В. В. Радлова (1837—1917 гг.). Пг., 1918 (СМАЭ. Т. 5, Вып. 1), с. 1—16.

19. Заметка о Кашане.— ИОАИЭК. Т. 30. Вып. 1. 1919, с. 74.

20. Содержание выступления С. Е. Малова по докладу Н. В. Никольского на тему: «Половцы и татары».— ИОАИЭК. Т. 30. Вып. 2. 1919. Протоколы общих собраний и заседаний Совета, с. 8.

21. Рец. на: Н. И. Ашмарин. Основы чувашской мифологии (О подражательных словах в чувашском языке). Казань, 1918, 10 с.— ИОАИЭК. Т. 30. Вып. 1. 1919, с. 96.

22. Рец. на: Н. Ф. Катанов. Чувашские слова в болгарских и татарских памятниках. Казань, 1920, 15 с.— ИСВАЭИ. Т. 2. 1920, с. 129—133.

23. Рец. на: Н. В. Никольский. Сборник исторических материалов о народностях Поволжья. Казань, 1920, 480 с.— ИСВАЭИ. Т. 2. 1920, с. 138—143.

24. Рец. на: Н. Н. Фирсов. Чтения по истории Среднего и Нижнего Поволжья. Казань, 1919, вып. 1, 61 с.— ИСВАЭИ. Т. 2. 1920, с. 134—137.

25. Болгарская золотая чаша с турецкой надписью.— КМВ. 1921, № 1—2, с. 67—72.

26. Рец. на: [1.] Абдулла Тукаев. Коза и баран (Сказка). Перевод с татарского П. Радимова. Казань, 1921, 15 с. [2.] Он же. Шурале (Сказка). Перевод с татарского П. Радимова. Казань, 1921, 15 с.— КБ. 1921, № 2, с. 166.

27. Рец. на: Абдулла Тукаев. Узюльган Умид. (Разбитая надежда). Избранные стихотворения в переводе П. Радимова. Казань, 1921, 31 с.— ВП. 1921, № 2, стб. 49—50.

28. Рец. на: Азиатский сборник. Mélanges Asiatiques. Новая серия. Пг., 1918.— КБ. 1921, № 2, с. 89—90.

29. Рец. на: Белемнек. Общественно-политический, историко-этнографический, литературный журнал на кряшенском языке... Казань, 1921, сент., № 1, 16 с.— ВП. 1921, № 6—7, стб. 217—219.

30. Рец. на: Выставка культуры народов Востока. (Путеводитель по выставке). Казань, 1920, 138 с.— КБ. 1921, № 1, с. 81—82.

31. Рец. на: Казанский музейный вестник. Казань, 1921, № 1—2, 150 с.— КБ. 1921, № 2, с. 87—88.

32. Рец. на: 1. «Маариф». (Просвещение). Социальный, научный и педагогический журнал. Казань, 1921, апр.— май, № 1—2. 2. Ресимли татар әлифбаси (Татарская азбука с картинками). Казань, 1921, 8, 48 с. 3. Кызыл Шарк. (Красный Восток). Казань, 1920, № 1—2, 3—4, 5—6; Казань, 1921, № 7—8, 9—10. 4. Карта Татарской и Башкирской Советских Республик. Казань, 1920.— ВП. 1921, № 4—5, стб. 133—136.

33. Рец. на: Н. В. Никольский. Краткий чувашско-русский словарь. Казань, 1919, 336 с.— ИОАИЭК. Т. 31. Вып. 4. 1921, с. 40.

34. Заметка по поводу выхода в свет: Протоколы Первого Всероссийского рабоче-крестьянского и красноармейского съезда кряшен, состоявшегося с 1—7 июля 1920 г. в г. Казани. Казань, 1921, 59 с.— КБ. 1921, № 2, с. 122—123.

35. Рец. на: Азиатский музей Российской Академии наук. 1818—1918. Краткая памятка. Пг., 1920, 11, 115 с.— КМВ. 1922, № 1, с. 196—198.

36. Рец. на: 1. В. Ф. Смолин. К вопросу о происхождении народности камско-волжских болгар (Разбор главнейших теорий). Казань, 1921, 11, 56 с.; 2. С. Порфирьев. К истории сборника болгарских надписей. Отд. отт. из ИОАИЭК. Казань, 1922, с. 41—44; 3. «Новый Восток». Журнал Всероссийской Научной ассоциации востоковедов при НКН. Кн. 1. М., 1922, 494 с.; 4. «Восток». Журнал литературы, науки и искусства. Пг. 1922. Кн. 1. 126 с.— КМВ. 1922, № 2, с. 302—304.

37. Рец. на: Новый Восток. Кн. 1. М., 1922, 494 с.— «Из-

вестия ЦИК Советов РК и КД Обкома РКП(б) АТ ССР и Казанского Совета Р и К депутатов», 23.IX.1922 г., № 217, с. 5.

38. Предисловие к: А. В. Анохин. Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествий по Алтаю в 1910—1912 гг. по поручению РКИСВА.— СМАЭ. Т. 4. Вып. 2(3). 1924, VII, 148, III с. [Предисловие: с. I—VII.]

39. Рец. на: М. С. Андреев. Вещие сны, несколько примет и детская игра «сорока-ворона» среди некоторых народов, главным образом Средней Азии. Изв. Гос. Ср.-Аз. музея. Таш., 1923, вып. 2, 34 с.— «Восток». Кн. 5. М.— Л., 1925, с. 256.

40. Рец. на: 1-е издание Археологического атласа А. Ф. Лихачева. Казань, 1923.— «Восток». Кн. 5. М.—Л., 1925, с. 269.

41. Рец. на: A. von Le Coq. Handschriftliche uigurische Urkunden aus Turfan. Turan. T. VIII. Budapest, 1918, okt., с. 449--460.— ЗКВ. Т. 1. 1925, с. 552—556.

42. Замок из Билярска с арабской надписью.— ЗКВ. Т. 2. Вып. 1. 1926, с. 155—162.

43. Изучение древних турецких языков.— I Всесоюзный тюркологический съезд. 26.II — 5.III.1926 г. Стенографический отчет. Баку, 1926, с. 139—142.

44. Образцы древне-турецкой письменности, с предисловием и словарем. Стеклогр. изд. Вост. фак-та САГУ. Таш., 1926, 84 с.

45. Современное положение и перспективы изучения древних турецких языков.— «Бюллетень Оргкомиссии по созыву I Всесоюзного тюркологического съезда». № 2. Баку, 1926, с. 17.

46. Два уйгурских документа. (Из работ Востфака САГУ).— «عقد الجمان. В. В. Бартольду туркестанские друзья, ученики и почитатели». Таш., 1927, с. 387—394.

47. Изучение живых турецких наречий Западного Китая.— ВЗ. Т. 1. 1927, с. 163—172.

Рец.: H. Ritter. — Der Islam. Bd 17. H. 3—4. 1929, с. 311—313.

48. Рец. на: 1) A. von Le Coq. Das Lī-Kitābī. KCsA. T. 1. 1925, с. 439—480. 2) A. von Le Coq. Osttürkische Gedichte und Erzählungen. KSz. XVIII. 1918—1919, с. 50—118.— ЗКВ. Т. 2. Вып. 2. 1927, с. 398—400.

49. Рец. на: Dr. R. Pelissier. Mischär-tatarische Sprachproben... APAW. 1919, Jahrgang 1918, Phil.-hist. Kl., № 18, LXII, 47.— ЗКВ. Т. 2. Вып. 2. 1927, с. 400—404.

50. Ибн-Муханна о турецком языке.— ЗКВ. Т. 3. Вып. 2. 1928, с. 221—248.

51. Совместно с Ф. Фиельструпом: К изучению турецких абаканских наречий.—ЗКВ. Т. 3. Вып. 2. 1928, с. 289—304.

52. Культивируй мозг.— «Студенческая правда». Л. 19.IV. 1928, с. 4*.

53. Характеристика жителей Восточного Туркестана.— ДАН-В. 1928, № 7, с. 131—136.

54. Предисловие к: E. Piekarski. Zagadki jakuckie.— RO. Т. 4. 1928, с. 1—59. [Предисл.: с. 1—5.]

55. Предисловие, дополнения и словарь к кн.: W. Radloff. Uigurische Sprachdenkmäler. Materialien nach dem Tode des Verfassers mit Ergänzungen von S. Malov hrsg. Л., 1928, (4), VIII, 305 с. [Предисловие: с. III—VIII; словарь: с. 217—305.]

56. Рец. на: Сборник научного (студенческого) кружка при Востфаке САГУ. Таш., 1928, вып. 1, 95 с.— «Студенческая правда». Л., 1928, № 11, с. 3*.

57. Рец. на: فترەت ، ئېڭ ئیسکی تۇرک ئەدەبیاتی نەمۇنەلەری (I—VIII, 11—124, I—II) (Фитрат. Образцы древне-тюркской литературы. На узбекском языке). Самарканд — Ташкент, 1927.— ЗКВ. Т. 3. Вып. 1. 1928, с. 213—217.

58. Ред.: Фонетическая классификация турецкой семьи языков. Составил Ю. Соколов. Стеклогр. изд. Востфака САГУ. Таш., 1928.

59. Древнетурецкие надгробия с надписями бассейна р. Талас.— ИАН СССР, ОГН. 1929, № 10, с. 799—806.

60. Из третьей рукописи «Кутадгу билиг».— ИАН СССР, ОГН. 1929, № 9, с. 737—754.

61. Несколько замечаний к статье А. В. Анохина «Душа и ее свойства по представлению телеутов».— СМАЭ. Т. 8. 1929, с. 330—333.

62. Предисловие, указатели имен и предметный в кн.: С. В. Ястремский. Образцы народной литературы якутов. Л., 1929 (Труды комиссии по изучению ЯАССР. Т. 7), 226 с. [Предисл.: с. I—VI; указатели: с. 219—226.]

63. К истории и критике «Codex Cumanicus».— ИАН СССР, ОГН. 1930, № 5, с. 347—375.

64. Мусульманские сказания о пророках по Рабгузи.— ЗКВ. Т. 5. 1930, с. 507—525.

65. Открылась уйгурская конференция по лингвистике.— «Советская степь». А.-А., 14.V.1930, № 106 (1888), с. 3.

66. Seriq ujqurlar.— «Kəmbəgəllər avazi». Almuta, 18.IV.1930, № 20 (327), с. 2.

67. Sitātapatrā-dhāranī в уйгурской редакции.— ДАН-В. 1930, № 5, с. 88—94.

68. Предисловие к кн.: Suvarṇaprabhāsa (Das Goldglanz-Sūtra). Aus dem Uigurischen ins Deutsche übersetzt von Dr. W. Rad-

loff. 1—3. Л., 1930 (Bibliotheca Buddhica, 27), 11, 256 с. [Предисл.: с. I—II.]

69. Ujoqur ədəbij tili toqruluq.— «Kəmbəgəllər avazi». Almuta, 9.V.1930*.

70. Ujoqur ilmij kənpirinsisi aldida.— «Kəmbəgəllər avazi». Almuta, 6.IV.1930, № 18 (325), с. 3.

71. Ujoqurlarniŋ ədəbij tili.— «Kəmbəgəllər avazi». Almuta, 12.IV.1930, № 19 (326), с. 2.

72. Чтение корректур и сопоставление якутских слов с другими тюркскими (особенно с древними) языками в кн.: Э. К. Пекарский. Словарь якутского языка. Л., 1907—1930. [См.: вып. VII (Л., 1925), предисл. Э. К. Пекарского, а также вып. XIII (Л., 1930), с. 1, предисл. С. Ф. Ольденбурга и приложение «Источники и пособия», с. V.]

73. Уйгурские рукописные документы экспедиции С. Ф. Ольденбурга.— ЗИВАН. Т. 1. 1932, с. 129—149.

74. Seriq ujoqurlar.— 2 ujoqur til-imla kənpirinsijsiniŋ toxtamliri, 13—18. V. 1930. Qzil-Orda, 1932, с. 19—20*.

75. Til-imla toqruluq.— 2 ujoqur til-imla kənpirinsijsiniŋ toxtamliri, 13—18.V.1930. Qzil-Orda, 1932*.

76. Ujoqurlarniŋ ədəbij tili.— 2 ujoqur til-imla kənpirinsijsiniŋ toxtamliri, 13—18.V.1930. Qzil-Orda, 1932*.

77. Рец. на: G. R. Rachmati. Zur Heilkunde der Uiguren von... Berlin, 1930 (SPAW, Phil.-hist. Kl., XXIV), с. 451—473.— БВ. 1932, вып. 1, с. 100—102.

78. Рец. на: G. Raquette. Eine Kaschgarische Wakf-Urkunde aus der Khodscha-Zeit Ost-Turkestans. Lund — Leipzig, 1930 (LUA, N. F. Avd. 1, Bd 26, № 2), 1—24 с.— БВ. 1932, вып. 1, с. 99—100.

79. Каракалпакский язык и его изучение.— «Каракалпакия». Труды I Конференции по изучению производительных сил Каракалпакской АССР. Т. 2. Нукус, 1934, с. 200—207.

80. Материалы по уйгурским наречиям Син-Дзяна.— Сергею Федоровичу Ольденбургу к 50-летию научно-общественной деятельности. 1882—1932. Сборник статей. Л., 1934, с. 307—322.

Рец.: G. Jarring.— Le monde oriental. T. 28. 1934, с. 190—192.

81. Совместно с Г. Ф. Турчаниновым: Biz konferentsijada qojulgan meselelerni dogrь ve ilmij suretde cezivge jardьm etermiz. (Til konferentsijasi işlaarcisi professor S. E. Malov ve dotsent G. F. Turcaninov arqadaşlar ile muşahabe).— «Jaŋi dynja». Simferopol, 1934, № 240 (3841), с. 1.

82. Men qazanilgan muvaffaqijetlerni selamlajьm.— «Jaŋi dynja». Simferopol, 1934, № 245 (3816), с. 3.

83. Рец. на: G. Jarring. Studien zu einer osttürkischen Laut-

lehre. Lund — Leipzig, 1933, XV, 126, 53, I с.— БВ. 1934, вып. 5—6, с. 102—104.

84. Рец. на: G. Weil. Tatarische Texte... Berlin — Leipzig, 1930, VI, 185 с.— БВ. 1934, вып. 2—4, с. 148.

85. К изучению турецких числительных.— «Академия наук СССР — академику Н. Я. Марру. XLV». М.—Л., 1935, с. 271—277.

86. Предисловие и редактирование: А. К. Боровков. Учебник уйгурского языка. Л., 1935. [Предисл.: с. V—VI.]

87. Новые памятники с турецкими рунами.— ЯМ. Вып. 6—7. 1936, с. 251—279.

88. Таласские эпиграфические памятники.— Материалы Узкомстариса. Вып. 6—7. М.— Л., 1936, с. 17—38.

89. Изложение беседы: Язык уйгурского народа.— «Социалистическая Алма-Ата», 9.III.1937, с. 3.

90. Professor Malov sözi (35-jil ujƣur tilini təkşyrgən ataqliq rus alim).— «Şarq haqiqati», 12.IV.1937, с. 2.

91. Рец. на: J. Németh. Die Inschriften des Schatzes von Nagy-Szent-Mikłos... Bibliotheka Orientalis Hungarica, II, Budapest — Leipzig, 1932.— БВ. 1937, вып. 10 (1936), с. 168—169.

92. Рец. на: L. P. Potapov und Dr. K. Menges. Materialien zur Volkskunde der Türkvölker des Altaj. Berlin, 1934.— БВ. 1937, вып. 10 (1936), с. 165—168.

93. К реформе [якутского] алфавита.— «Социалистическая Якутия», 22.XI.1938, № 250, с. 3.

94. Njuucca noruotun kitta iksa dogordohuu ihin (Saqa alpabitin repuomalaahinna).— «Belem buol». Jakutsk, 17.XI.1938, № 57 (122), с. 2. То же: «Eder bassabььk». Jakutsk, 20.XI.1938, № 123 (1111), с. 1.

95. Памяти Э. К. Пекарского.— «Социалистическая Якутия», 11.VII.1939, № 156 (4777), с. 3.

96. Рец. на: G. Jarring. The Contest of the Fruits. An Eastern Turki Allegory. LUA, N. F., Avd. 1, Bd 32, № 4, 1936, 45 с.— ЯМ. Вып. 9. 1940, с. 184—186.

97. Рец. на: H. N. Orkun. Eski türk yazıtları. İstanbul, 1936, I, 192 с.— ЯМ. Вып. 9. 1940, с. 186.

98. Предисловие и редактирование: Н. П. Дыренкова. Грамматика ойротского языка. М.— Л., 1940. [Предисл.: с. 9—10.]

99. Ред.: В. М. Насилов. Грамматика уйгурского языка. М., 1940.

100. Ред.: К. К. Юдахин. Киргизско-русский словарь, М., 1940.

101. К истории казахского языка.— ИАН СССР, ОЛЯ. 1941, № 3, с. 97—101.

102. Памяти Н. И. Ашмарина (1870—1933). (Исследователь

чувашского языка).— ЗНИИЯЛИ ЧувАССР. 1941, вып. 1, с. 136—140.

103. Изложение доклада: Якутский язык и его отношение к другим тюркским языкам.— ВАН СССР. 1941, № 5—6, с. 63—64.

104. Самостоятельное исследование.— «Ленинградский университет», 14.VI.1941, № 23 [Отзыв о сочинении студента В. М. Наделяева «Якутский аффикс *-быт*».]

105. Рец. на: Н. А. Баскаков. Ногайский язык и его диалекты. М., 1940.— ИАН СССР, ОЛЯ. 1941, № 2, с. 114—116.

106. Рец. на: K. Menges. Volkskundliche Texte aus Ost-Turkestan. Aus dem Nachlass von N. Th. Katanov hrsg. von... SPAW, Phil.-hist. Kl. XXXII, 1933—1934, с. 1173—1293; отд. отт. с. 1—123.— СВ. Т. 2. 1941, с. 305—306.

107. Ред.: Н. П. Дыренкова. Грамматика шорского языка. М.— Л., 1941.

108. Ред.: А. Н. Кононов. Грамматика турецкого языка. М.— Л., 1941.

109. Памяти проф. В. А. Богородицкого.— НЖ. 1942, № 2—3, с. 56.

110. Тюркские языки в науке и жизни, прежде и теперь.— НЖ. 1942, № 2—3, с. 13—15.

111. История изучения уйгурского языка.— «Қазак эли». А.-А., 1944, № 1 (на уйг. яз.) *.

112. Уйғурлар вә уларниң тили.— «Шәрқ һәқиқати». Таш., 1944, № 6—7 (9—10), с. 9.

113. Автореферат: Древнетюркская письменность. (Тексты и исследования).— Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 г., ОЛЯ. М., 1945, с. 4.

114. Изложение выступления на сессии Отделения истории и философии АН СССР 25—26.IV.1946: Е. К. Вопросы этногенеза татар Поволжья.— СЭ. 1946, № 3, с. 152—153.

115. Тюркизмы в языке «Слова о полку Игореве».— ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 5. Вып. 2. 1946, с. 129—139.

116. Рец. на: Русско-киргизский словарь. Составили Х. Карасаев, Ж. Шукуров, проф. К. Юдахин. Под ред. проф. К. Юдахина. М., 1944, 984 с.— ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 5. Вып. 5. 1946, с. 441—444.

117. Булгарские и татарские эпиграфические памятники.— ЭВ. Т. 1. 1947, с. 38—45.

118. Мир Алишер Навои в истории тюркских литератур и языков Средней и Центральной Азии.— ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 6. Вып. 6. 1947, с. 475—480.

119. Труды по древнетюркской лексике.— ТМИВ. № 4, 1947, с. 94—96.

120. Шаманский камень «яда» у тюрков Западного Китая. 1. Вводные замечания.—СЭ. 1947, № 1, с. 151—160.

121. Рец. на: Манас. Киргизский эпос. Великий поход. М., 1946, 371 с.— ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 6. Вып. 2. 1947, с. 171—172.

122. Булгарская и татарская эпиграфика.— ЭВ. Т. 2. 1948, с. 41—48.

123. Выступление на сессии Отделения истории и философии АН СССР, организованной совместно с Институтом языка, литературы и истории КазФАН СССР 25—26 апреля 1946 г. в Москве (по стенограмме).— Происхождение казанских татар. Казань, 1948, с. 116—119.

124. Уйғурлар вә уларниң тили.— Тил, әдәбият вә тарих мәсилилири. Алмута, 1948, с. 3—5.

125. Кутадгу билиг — факсимиле.— СВ. Т. 5. 1948, с. 327—328. [Рец. на: Kutadgu Bilig (tıpkıbasım). I—III. İstanbul, 1942—1943 (I — Viyana nüshası, II — Fergana nüshası, III — Mısır nüshası.]

126. Рец. на: 1. G. Jarring. The Uzbek Dialect of Qilich (Russian Turkestan) with Texts and Glossary... Lund, 1937 (LUA. N. F. Avd. 1. Bd 33, № 3); 2. G. Jarring. Uzbek Texts from Afghan Turkestan with Glossary. Lund, 1938 [там же, Bd 34. № 2].— СВ, Т. 5. 1948, с. 325—326.

127. Рец. на: H. N. Orkun. Eski türk yazıtları. I—IV. İstanbul, 1936—1941 (I — 1936, II — 1939, III — 1940, IV — 1941).— ВДИ. 1948, № 2, с. 123—124.

128. Ред.: Алишер Навои. Возлюбленный сердец. Сводный текст подготовил А. Н. Кононов. М.— Л., 1948.

129. Ред.: Словарь современного русского литературного языка. Т. 1. А — Б. М.— Л., 1948. [С. Е. Малов — член редколлегии.]

130. Совместно с А. Н. Кононовым: Памяти тюрколога профессора А. П. Поцелуевского.— ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 8. Вып. 1. 1949, янв.— февр., с. 83—84.

131. Советская тюркология за 30 лет (1917—1947).— ВАН КазССР. 1949, № 5 (50), май, с. 93—97.

132. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.— Л., 1951, 451 (1) с.

Рец.: Э. Тенишев. Совет уйғуршунасиниң йеңи китави.— «Йеңи һаят». 1951, № 12; А. Н. Бернштам.— ЭВ. Т. 6. 1952, с. 113—115; К. К. Юдахин.— ТИЯЛИ АН КиргССР. 1952, вып. 3, с. 231—234; A. Zajączkowski. Pomniki psmiennictwa tureckiego.— RO. T. 19. 1954, с. 189—192.

133. Тюркизмы в старорусском языке. 1. Хожение за три моря Афанасия Никитина, 1466—1472, ... Литературные памятники. М.— Л., 1948. 2. А. А. Шахматов. 1864—1920, Сборник статей и материалов... М.— Л., 1947, Труды Комиссии по истории АН СССР,... вып. 3.— ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 10. Вып. 2

1951, с. 201—203. [Замечания по поводу географического и исторического комментариев И. П. Петрушевского к «Хожению за три моря» Афанасия Никитина и статьи Д. И. Зеленина «Терминология старого русского бурлачества».]

134. Рец. на: G. Jarring. Materials to the knowledge of Eastern Turki... with translation and notes: I. Texts from Khotan and Yarkand, Lund (LUA. N. F., Avd. 1, Bd 43, № 4), 1946; II. Texts from Kashghar, Tashmaliq and Kucha. Lund (Bd 44, № 7), 1948.— ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 10. Вып. 2. 1951, с. 206—207.

135. Древние и новые тюркские языки.— ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 11. Вып. 2. 1952, с. 135—143.

136. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. М.— Л., 1952, 116 с.

137. Изучение ярлыков и восточных грамот.— Академику Владимиру Александровичу Гордлевскому к его 75-летию. Сборник статей. М., 1953, с. 187 — 195. [Рец. на: A. N. Kurat. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altın Ordu, Kırım ve Türkistan hanlarına ait yarlık ve bitikler. İstanbul, 1940. Dil ve Tarih-coğrafya Fakültesi yayınlardan. Tarih serisi.]

138. Уйгурский торговый обрядник (рисале) из Западного Китая.— Сборник статей по истории и филологии народов Средней Азии, посвященный 80-летию со дня рождения А. А. Семенова. Сталинабад, 1953 (Труды АН ТаджССР. Т. 17), с. 139—144.

139. Рец. на: Н. А. Баскаков. Каракалпакский язык. 1. Материалы по диалектологии (тексты и словарь). М., 1951, 411 с.— ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 12. Вып. 2. 1953, с. 180—182.

140. Рец. на: G. Jarring. Materials to the knowledge of Eastern Turki... III. Folk-lore from Guma. Lund, 1951; IV. Ethnological and historical texts from Guma. Lund, 1951 (LUA, N. F., Avd. 1, Bd 47, № 3, 4).— ИАН СССР. ОЛЯ. Т. 12. Вып. 3. 1953, с. 294—295.

141. Уйгурский язык. Хамийское наречие. Тексты, переводы и словарь. М.— Л., 1954, 203 с.

142. Рец. на: [1.] Э. Р. Рыгдылон. Новые рунические надписи Минусинского края, АН СССР, ЛО ИИМК, сектор Средней Азии. «Эпиграфика Востока»... 4. М.— Л., 1951, с. 87—93; [2.] А. Н. Бернштам. Древнетюркский документ из Согда. Там же. 5, с. 65—75.— ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 13. Вып. 2. 1954, с. 197—198.

143. Рец. на: Уйгурско-китайско-русский словарь и другие учебники Синьцзяна. (К пятилетию образования Китайской Народной Республики, 1949—1954 гг.).— ВАН КазССР. 1955, № 1 (118), с. 82—83.

144. Лобнорский язык. Тексты, переводы, словарь. Фрунзе, 1956, 198 с.

145. Сочинения по уйгурике.— ВАН КазССР. 1956, № 11 (140), ноябрь, с. 103—104. [Рец. на: 1. Э. Н. Наджип. Уйгурский язык. Под ред. проф. В. М. Насилова. М., 1954; 2. A. M. Gabain. Türkische Turfan Texte. 8. B., 1954; 3. Сочинения проф. Фын Цзя-шеня. «Лишияньцзю» (Исторические исследования). 1954, № 1, Пекин).]

146. Язык желтых уйгуров. (Словарь и грамматика). А.-А., 1957, 197 с.

Рец.: Э. Р. Тенишев.— ВЯ. 1959, № 2, с. 136—138.

147. Совместно с Н. А. Баскаковым: Вопросы классификации тюркских языков. Пекин, 1958 (на кит. яз.) *.

148. Н. Ф. Катанов, проф. Казанского университета (1862—1922). К 95-летию со дня рождения.— ВАН КазССР. 1958, № 5 (158), с. 88—94.

149. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.— Л., 1959, 111 с.

150. Уйгурские наречия Синьцзяна. Тексты, переводы, словарь. М., 1961, 183 с.

Рец.: Э. Р. Тенишев.— ВЯ. 1962, № 3, с. 145—147.

151. Заметки о каракалпакском языке. Нукус, 1966, 46 с.

152. Язык желтых уйгуров. Тексты и переводы. М., 1967, 219 с.

Рец.: G. Glaeser.— Book reviews from «East and West». New Series. Vol. 19. № 3/4. 1969, с. 536—538.

II. КРАТКИЙ ОБЗОР АРХИВА С. Е. МАЛОВА

Архив С. Е. Малова был передан в Архив Института востоковедения Академии наук СССР в ноябре 1969 г. его вдовой А. М. Маловой. В фонд вошли как опубликованные, так и неопубликованные материалы.

Из неопубликованных работ С. Е. Малова отметим наиболее значительные.

1. Музыка и песни тюрков Западного Китая. Тексты, нотные записи, примечания к ним композитора И. А. Козлова (100 л.): записи песен из Ганьсу, сделанные в 1909—1915 гг. (10 уйгурских, 5 тангутских, 1 хотанская, 1 сартская и 1 монгольская песня); 13 лобнорских песен из Чархлыка и 32 песни из Хамийского оазиса, записанные в 1909—1911 и 1913—1915 гг.

2. Фольклорные материалы из Восточного Туркестана (1909—1915 гг.) (250 л.).

3. Материалы по грамматике языка татар-кряшен (190 л.).

4. Словарь новоуйгурского языка (Алма-Ата, 1945). Автограф, сбр. листы (202 л.).

5. Дневники и материалы по туркменскому языку и его диалектам, собранные С. Е. Маловым во время Туркменской лингвистической экспедиции в 1935 г. (206 л.).

6. Дневники, фольклорные и этнографические материалы, собранные С. Е. Маловым во время его поездок к татарам Поволжья за период 1901, 1919, 1920 гг. (178 л.).

7. Дневники, фольклорные и этнографические материалы по экспедиции в Томскую губернию 1908 г., сбр. листы (346 л.).

8. Дневники путешествия в Восточный Туркестан (1909—1911 гг. и 1913—1915 гг.), сбр. листы (940 л.).

9. Дневники, фольклорные материалы и саларско-русский словарь с библиографическими пометками, 1913 г., сбр. листы (44 л.).

10. Словарная картотека, содержащая материалы по древнетюркским памятникам и материалы по современным тюркским языкам.

11. Лекции учебного характера: а) Лекции по древнетюркским памятникам и восточной палеографии (105 л.); б) Общий обзор турецких племен и наречий, классификация тюркских наречий и заметки к лекциям, сбр. листы (200 л.); в) Обзор турецких наречий, сбр. листы (73 л.); г) Лекции по языкам Средней Азии, по языкам народов Поволжья, турецким наречиям Западного Китая и заметки к ним и др. (233 л.); д) Лекции по народной словесности тюркских племен (в том числе материалы по татарской народной песне и пословицам) (103 л.); е) Лекции по истории, этнографии и антропологии народов Средней Азии, Казахстана и Восточного Туркестана (164 л.).

12. В фонде имеется иллюстративный материал по путешествию С. Е. Малова в Синьцзян: фотографии отдельных населенных пунктов, фотографии уйгуров и китайцев, фотографии этнографического характера, карты, маршрутные кроки, чертежи, топографические планы и др.

Значительное место в фонде занимают биографические материалы, а также письма к С. Е. Малову: 1250 ед. от 325 лиц за 1905—1957 гг.

III. ЛИТЕРАТУРА О С. Е. МАЛОВЕ

1. Отчет о деятельности Отделения этнографии и состоящих при нем постоянных комиссий за 1912 г.— ЖС. Год 22. Вып. 1—2. 1913, с. XXIV. [О присуждении С. Е. Малову Серебряной медали Русского географического общества.]

2. Б. Шахидуллин. Статья о втором путешествии С. Е. Малова к уйгурам по Хамийскому и Турфанскому оазисам во время пребывания в Урумчи.— «Вакыт». Оренбург, 1914, № 1600 (на тат. яз.) *.

3. Л. А. Зимин. Сообщение о путешествии С. Е. Малова в Восточный Туркестан на заседании 17 марта 1914 г. в помещении Туркестанской учительской семинарии.— Протоколы заседаний и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии. Год 18. Таш., 1914.

4. Н. Ф. Катанов. Несколько слов о казанских коллекционерах.— КМВ. 1920, № 7—8, с. 41—42.

5. Ataqliq professor Malov ujƣurlar icidə.— «Ⱪəmbəƣəllər avazi». Almuta, 31.III.1930.

6. На уйгурской конференции. Чествование проф. С. Е. Малова.— «Социалистическая Алма-Ата», 8.III.1937, № 54.

7. К. А. Ушаров. Член-корреспондент С. Е. Малов.— «За большевистскую науку». Л., 20.II.1939, № 1 (11).

8. Выборы в Академию наук. Избрание членов-корреспондентов.— «Известия», 21.I.1939; «Правда», 21.I.1939 и 29.I.1939.

9. Награждение орденом Трудового Красного Знамени. За выдающиеся заслуги в развитии науки и техники в связи с 220-летием Академии наук СССР.— «Известия», 14.VI.1945; «Правда», 14.VI.1945; «Ведомости Верховного Совета СССР», 11.VIII.1945.

10. Н. Т. Сауранбаев. Туркология ғылымының ірі қайраткері.— ВКФАН СССР. 1945, № 1 (14), с. 43—45.

11. Профессор Маловтың юбилейі.— «Социалистік Қазақстан». Алматы, 20.I.1945, № 14 (6777), с. 2.

12. 40-летие научной деятельности доктора филологических наук С. Е. Малова.— «Казахстанская правда». А.-А., 21.I.1945, № 15 (5138), с. 4.

13. К. К. Юдахин. О С. Е. Малове.— Белек С. Е. Малову. Фрунзе, 1946, с. 3—4.

14. Н. Т. Сауранбаев. О тюркологических работах советских ученых.— ВАН КазССР. 1948, 6, с. 71—76.

15. А. Н. Бернштам. Русская и советская уйгуристика.— ИАН КазССР. № 85. Серия уйг.-дунг. культуры. Вып. 1. 1950. с. 73—84.

16. Е. И. Убрятова. О научной и общественной деятельности Сергея Ефимовича Малова.— Тюркологический сборник. 1. М.— Л., 1951, с. 5—30.

17. Малов, Сергей Ефимович.— БСЭ. Изд. 2. Т. 26, с. 152.

18. Е. И. Убрятова. Сергей Ефимович Малов. (К 75-летию со дня рождения).— ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 14. Вып. 1. 1955, янв.— февр., с. 93—98.

19. К. Сатпаев и др. Малов Сергей Ефимович.— ВАН КазССР. 1957, № 9, с. 116—117.

20. Э. Р. Тенишев. Памяти С. Е. Малова.— «Китайский язык». Пекин, 1957, № 12, с. 37—39 (на кит. яз.) *.

21. С. Аманжолов и др. Профессор С. Е. Маловниң хатириси.— «Коммунизм туғи». А.-А., 22.IX.1957.

22. С. Е. Малов (Некролог).— СВ. 1957, № 6, с. 200.

23. Е. И. Убрятова. Сергей Ефимович Малов. Некролог.— ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 16. Вып. 6. 1957, с. 574—578.

24. Сообщение о смерти члена-корреспондента АН СССР С. Е. Малова.— «Ленинградская правда», 7.IX.1957.

25. Abdulkadir Inan. S. E. Malov.— «Türk Dili», № 75. Ankara, 1957, c. 144—145.

26. А. Н. Кононов. Памяти Сергея Ефимовича Малова (1880—1957).— Научные доклады высшей школы. Филологические науки. М., 1958, 1, с. 172—174.

27. Г. А. Никифоров, Н. Е. Петров. Памяти проф. С. Е. Малова.— ТИЯЛИ ЯкФАН СО АН СССР. 1959, вып. 1 (6), с. 112—114.

28. Малов Сергей Ефимович.— МСЭ. Изд. 3. Т. 5, с. 848.

29. Э. Тенишев. Воспоминания желтых уйгуров о С. Е. Малове. (К биографии ученого-тюрколога).— ИАН КазССР, СФИ. 1960, вып. 1, с. 63—65 (есть резюме на каз. яз.).

30. А. Һэйдаров. Совет уйғуршунаслиғиниң атиси.— «Коммунизм туғи». А.-А., 17.I.1960.

31. А. Т. Кайдаров. С. Е. Малов — глава советского уйгуроведения. (К 81-й годовщине со дня рождения).— ИАН КазССР, СФИ, 1961, вып. 1 (17), с. 91—96.

32. С. К. Кенесбаев. О Малове Сергее Ефимовиче. (Воспоминания).— ИАН КазССР, СФИ. 1961, вып. 1 (17), с. 97—100.

33. Е. И. Убрятова. С. Е. Малов. (К 80-летию со дня рождения).— Проблемы тюркологии и истории востоковедения. Казань, 1964, с. 43—55.

34. И. В. Кормушин. Памяти члена-корреспондента АН СССР С. Е. Малова (16.I.1880 — 7.IX.1957). К 10-летию со дня смерти.— ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 27. Вып. 4. 1968, с. 381—383.

35. Е. И. Убрятова. С. Е. Малов — крупнейший исследователь тюркских языков.— ИСОАН, СОН. 1968, № 1, вып. 1, с. 108—111.

36. В. Г. Гузев. Сергей Ефимович Малов. 1880—1957. К 90-летию со дня рождения.— СТ. 1970, № 2, с. 140—141.

37. А. Н. Кононов. Тюркология.— Азиатский музей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР. М., 1972, с. 412—415.

38. А. Т. Кайдаров. С. Е. Малов и его роль в решении научно-практических вопросов литературного языка уйгуров СССР.— МЧ. 1973, с. 150—153.

39. М. Алиева. С. Е. Малов и уйгурская фольклористика.— МЧ. 1973, с. 161—163.

40. Д. А. Исиев. Некоторые исторические сведения о работах С. Е. Малова.— МЧ. 1973, с. 176—179.

41. Малов, Сергей Ефимович.— ББСОТ. М., 1974, с. 211—222.

42. Малов Сергей Ефимович.— ББС. М., 1975, с. 327—328.

43. Н. А. Баскаков. С. Е. Малов и изучение каракалпакского языка.— СТ. 1975, № 5, с. 53—59.

44. У. Доспанов. Ценный вклад в каракалпакское языкознание. (О работе С. Е. Малова «Заметки о каракалпакском языке»).— СТ. 1975, № 5, с. 74—77.

45. Е. И. Убрятова. С. Е. Малов и его труды.— СТ. 1975, № 5, с. 44—52.

46. Э. И. Фазылов. С. Е. Малов — исследователь истории тюркских языков СССР.— СТ. 1975, № 5, с. 60—68.

47. А. М. Щербак. С. Е. Малов — исследователь древнетюркских и древнеуйгурских памятников.— СТ. 1975, № 5, с. 69—73.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ААН СССР — Архив Академии наук СССР.
ББС — С. Д. Милибанд. Биобиблиографический словарь советских востоковедов. М., 1975.
ББСОТ — Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. Под редакцией и с введением А. Н. Кононова. М., 1974.
БВ — Библиография Востока. Л.
БСЭ — Большая Советская Энциклопедия. М.
ВАН СССР — «Вестник Академии наук СССР». М.
ВАН КазССР — «Вестник Академии наук Казахской ССР». А.-А.
ВГО — Всесоюзное Географическое общество.
ВДИ — «Вестник древней истории». М.
ВЗ — «Восточные записки». Л.
ВКФАН — «Вестник Казахского филиала Академии наук СССР». А.-А.
ВЛГУ — «Вестник Ленинградского государственного университета».
Востфак САГУ — Восточный факультет Среднеазиатского государственного университета (Ташкент).
ВОРАО — Восточное отделение имп. Русского археологического общества (С.-Петербург).
ВП — «Вестник просвещения (орган Наркомпроса ТССР)». Казань.
ВЯ — «Вопросы языкознания». М.
ГИМ — Государственный Исторический музей (Москва).
ГПБ — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
ДАН-В — «Доклады Академии наук СССР». Серия В.
ДТС — Древнетюркский словарь. Л., 1969.
ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения». СПб.
ЖС — «Живая старина». СПб.—Пг.
ЗВОРАО — «Записки Восточного отделения (имп.) Русского археологического общества». СПб., Пг.
ЗИАН — «Записки имп. Академии наук». СПб.
ЗИВАН — «Записки Института востоковедения АН СССР». Л.
ЗКВ — «Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Российской Академии наук (Академии наук СССР)». Л.
ЗНИИЯЛИ ЧувАССР — «Записки Научно-исследовательского института языка, литературы и истории Чувашской АССР». Чебоксары.
ЗООИД — «Записки имп. Одесского общества истории и древностей».
ИАН — «Известия имп. Академии наук». СПб.
ИАН КазССР — «Известия Академии наук Казахской ССР». А.-А.
ИАН КиргССР — «Известия Академии наук Киргизской ССР». Фрунзе.
ИАН СССР — «Известия Академии наук СССР». М.
ИАН ТаджССР — «Известия Академии наук Таджикской ССР». Сталинабад (Душанбе).

ИВСОРГО — «Известия Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества». Иркутск.
ИГАИМК — «Известия Государственной Академии истории материальной культуры». М.—Л.
ИОАИЭК — «Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете».
ИОРЯС — «Известия имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности». СПб.
ИРГО — «Известия (имп.) Русского географического общества». СПб., Пг.
ИРКСА — «Известия Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, лингвистическом и этнографическом отношениях». СПб.
ИСВАЭИ — «Известия Северо-Восточного археологического и этнографического института». Казань.
ИСОАН — «Известия Сибирского отделения АН СССР». Новосибирск.
КБ — «Казанский библиофил».
КМВ — «Казанский музейный вестник».
КСИИМК — «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры АН СССР». М.—Л., М.
КСИЭ — «Краткие сообщения Института этнографии АН СССР». М.—Л., М.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет.
ЛО ИВАН — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР.
ЛО ИЯ — Ленинградское отделение Института языкознания АН СССР.
МАЭ — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого.
МГУ — Московский государственный университет.
МГПИ — Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР.
МЧ — VII региональная конференция по диалектологии тюркских языков. Маловские чтения. Тезисы докладов и сообщения. А.-А., 1973.
НЖ — «Наука и жизнь». Казань.
ОГН — Отделение гуманитарных наук.
ОЛЯ — Отделение литературы и языка.
ПЛНВ — Памятники литературы народов Востока.
РГО — Русское географическое общество.
СА — «Советская археология». М.
СВ — «Советское востоковедение». М.—Л.
СМАЭ — «Сборник Музея антропологии и этнографии при (имп.) Академии наук». М., Л.
СОН — Серия общественных наук.
СТ — «Советская тюркология». Баку.
СФИ — Серия филологии и искусствоведения.
СЭ — «Советская этнография». М.—Л., М.
ТВОРАО — «Труды Восточного отделения имп. Русского археологического общества». СПб.
ТИЭ — Труды Института этнографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая.
ТИЯЛИ АН КиргССР — «Труды Института языка, литературы и истории АН Киргизской ССР». Фрунзе.
ТИЯЛИ ЯкФАН АН СССР — «Труды института языка, литературы и истории Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР». Якутск.
ТМИВ — «Труды Московского института востоковедения».
УЗИАН — «Ученые записки имп. Академии наук по первому и третьему отделениям». СПб.
УЗИВАН — «Ученые записки Института востоковедения АН СССР». М.—Л.,
УЗКУ — «Ученые записки имп. Казанского университета».
УЗ ЛГУ — «Ученые записки Ленинградского государственного университета».
ЭВ — «Эпиграфика Востока». М.—Л.

ЭСБЕ — Энциклопедический словарь. Издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб.
ЯМ — «Язык и мышление». М.—Л.
ABAW — «Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Abteilung». München.
AOH — «Acta orientalia Academiae scientiarum hungaricae». Budapest.
APAW — «Abhandlungen der Preussichen Akademie der Wissenschaften». Phil.-hist. Kl. B.
EI — «Enzyklopaedie des Islām. Geographisches, ethnographisches und biographisches Wörterbuch der muhammedanischen Völker». Bd 1—4. Leiden—Leipzig, 1913—1936.
JA — «Journal asiatique». P.
JRAS — «The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland». L.
JSFOu — «Journal de la Société Finno-ougrienne». Helsinki.
KCsA — «Körösi Csoma-Archivum». Budapest.
KSz — «Kéleti Szemle (Revue orientale)». Budapest.
LUA — Lund Universitets Årsskrift.
MSFOu — «Mémoires de la Société Finno-ougrienne». Helsinki.
N. F.— Neue Folge.
PhTF — Philologiae Turcicae Fundamenta. Wiesbaden.
PO — «Przegląd Orientalistyczny». Warszawa.
RO — «Rocznik Orientalistyczny». Lwów, Kraków.
SPAW — «Sitzungsberichte der Königlichen Preussischen Akademie der Wissenschaften». Phil-hist. Klasse. B.
StO — «Studia orientalia». Helsinki.
TDAY — «Türk dili araştırmaları yıllığı. Belleten». Ankara.
UAJ — «Ural-altaische Jahrbücher». Wiesbaden.
ZDMG — «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft». Lpz.

ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК
1975

Утверждено к печати
Институтом востоковедения
Академии наук СССР

Редактор *Л. С. Ефимова*
Младший редактор *Р. Г. Стороженко*
Художественный редактор *Э. Л. Эрман*
Технический редактор *Л. Ш. Береславская*
Корректор *Л. Ф. Орлова*

ИБ 13196

Сдано в набор 13/VII 1977 г. Подписано к печати 22/XII 1977 г. А-03020. Формат 60×90 1/16. Бум. № 2. Печ. л. 17,5+0,125 п. л. Уч.-изд. л. 19,8. Тираж 1700 экз. Изд. № 4118. Зак. № 517. Цена 2 р. 40 к.

Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука»
Москва К-45, ул. Жданова, 12/1

3-я типография издательства «Наука»
Москва Б-143, Открытое шоссе, 28

2 р. 40 к.